

Михаил БАКУНИН.

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

ТОМ III.

ФЕДЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛИЗМ
И
АНТИТЕОЛОГИЗМ.

С предисловием Дж. Гильома.



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „ГОЛОС ТРУДА“.
ПЕТЕРБУРГ—МОСКВА.

1920.

Книгоиздательство
СОЮЗА АНАРХО-СИНДИКАЛИСТОВ
„ГОЛОС ТРУДА“.

Петербург. Пр. Володарского, 56. Москва. Тверская, 70.

Выпущены в свет следующие книги и брошюры;

- М. Бакунин.**—Избран. соч. т. I. Государственность и Анархия, с биографич. очерком В. Черкезова Ц. 80 р. — к.
- Его-же.**—Т. П. Кнута-Германская Империя и Социальная Революция, с предисловием и примечаниями Дж. Гильома. Ц. 90 „ — „
- Его-же.**—Т. Ш. Бернские Медведи и Петербургский Медведь; Речи и Статьи по Славянскому Вопросу; Народное Дело; Речи на Конгрессах Лиги Мира и Свободы; Федерализм, Социализм и Антитеологизм Ц. 150 „ — „
- Его-же.**—Бог и Государство (разошлось) Ц. — „ — „
- Дж. Баррэт.**—Анархическая Революция Ц. 20 „ — „
- А. Боровой.**—Личность и Общество в Анархистском Мироззрении Ц. 30 „ — „
- Ж. Грав.**—Будущее Общество Ц. 60 „ — „
- Его-же.**—Синдикализм в общественном развитии. Ц. 12 „ — „
- С. Заяц.**—Как мужики остались без начальства Ц. 6 „ — „
- Ж. Ивто.**—Азбука Синдикализма Ц. 5 „ — „
- М. Корн.**—Революционный Синдикализм и Анархизм; Борьба с Капиталом и Властью; и др. Ц. 50 „ — „
- П. Кропоткин.**—Записки Революционера Ц. — „ — „
- Его-же.**—Хлеб и Воля, с предисловием автора к новому изданию Ц. 90 „ — „
- Его-же.**—К чему и как прилагать труд ручной и умственный (сокращенное изложение книги „Поля, фабрики и мастерския“) Ц. 12 „ — „
- Его-же.**—Анархия Ц. 18 „ — „
- Его-же.**—Анархическая работа во время Революции Ц. 8 „ — „

Михаил БАКУНИН.

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

ТОМ III.

**Бернские Медведи и Петербургский Медведь.—
Речи и Статьи по Славянскому Вопросу.—
Народное Дело.—Речи на конгрессах Лиги
Мира и Свободы.—Федерализм, Со-
циализм и Антитеологизм.**

С предисловием Дж. Гильома.



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „ГОЛОС ТРУДА“.
ПЕТЕРБУРГ—МОСКВА.

1920.

Типография „ГОЛОС ТРУДА“. Петербург.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

В начале 1870 г. швейцарская полиция разыскивала молодого революционера Нечаева, русского эмигранта, жившего в Швейцарии: царское правительство обвиняло его в убийстве и мошенничестве и требовало его выдачи. Бакунин прислал мне из Локарно по этому поводу статью, которая появилась в газете Progres (издававшейся в Локле), 19 февраля 1870 г. и которую я воспроизвожу здесь:

„Повидимому, вся европейская полиция отдала себя теперь в распоряжение русского правительства. Говорят, ведутся очень энергичные розыски в Германии, Швейцарии, Франции и даже в Англии. Кого ищут? Политических заговорщиков? Разумеется, нет, это было бы слишком неблагоприятно, ибо, за исключением германского правительства, которое никогда не переставало открыто оказывать услуги жандармам русского царя, все другие европейские правительства не рискнули бы до такой степени скомпрометировать себя перед своей публикой. Поэтому, русское правительство, уверенное в их добрых намерениях, но понимая трудность их положения, внушило им очень простой способ оказать ему почетным образом требуемую от них услугу.

„Дело идет не о преследовании и выдачи поляков или русских, виновных в политических преступлениях, заявляют вам. О, нет! дело идет о простых убийцах, о мошенниках.—Но кто эти убийцы, эти мошенники? Конечно, все те, кто больше других имел несчастье не понравиться русскому правительству и кто в то же время имел счастье ускользнуть от его отечественных розысков. Они не убийцы и не мошенники, русское правительство это знает лучше, чем кто либо другой, и правительства других стран знают это так же хорошо, как и оно. Но внешность соблюдена и услуга оказана.

„Таким образом, приблизительно шесть или семь месяцев тому назад, вюртембергское правительство выдало русским властям молодого студента,

учившегося в университете в г. Тюбинге, по простому требованию петербургского кабинета. Таким образом, также на днях арестовали в Вене другого русского студента университета этого города, и если он уже не выдан московским властям, то это будет скоро сделано.

„И заметьте, что это либеральное, патриотическое, ультра-германское министерство¹⁾ оказывает эту услугу русскому правительству. Известно что прусское правительство всегда было поставщиком своего соседа друга, петербургского медведя. Оно никогда не отказывало ему в жертвах и, еслибы это хищное животное выразило желание поесть мяса свободных немцев, оно с большим удовольствием, без сомнения, доставило бы ему их несколько дюжин.

„Этому не нужно удивляться. Германия во все времена была настоящей родиной культа власти, классической страной бюрократии, полиции и правительственных измен; страной полу-добровольного рабства, скрашенного песнями, речами и мечтами. Идеал всех германских правительств — петербургский трон.

„Больше следует удивляться тому, что сама швейцарская республика, нынче исполняет требования русской полиции. Мы видели несколько месяцев тому назад скандальную историю с княгиней Оболенской²⁾. Достоточно было петербургскому правительству выразить желание, чтобы федеральные власти поспешили приказать, а кантональные власти привести в исполнение самое возмутительное, самое жестокое нарушение священных прав матери, и это без всякого суда, не потрудившись даже соблюсти ни одной из юридических форм, которые в свободных странах рассматриваются, как необходимая гарантия правосудия и свободы граждан, и при этом проявило такую грубость, какой могла бы позавидовать сама русская полиция.

„В настоящий момент, продолжая оказывать те же любезные услуги петербургскому правительству, либеральные и демократические власти Швейцарии преследуют, говорят, с таким же рвением, какое заставило их так грубо обойтись с княгиней Оболенской и выслать знаменитого Мадзини, польских и русских „разбойников“, как их назвал им их всесильный петербургский друг. Недавно женеvская полиция пришла с обыском к г. Людовику Бюлевскому, эмигранту, одному из главарей польской демократии, другу Мадзини, и бесспорно одному из наиболее почтенных и уважаемых членов эмиграции, под предлогом посмотреть, не спрятаны-ли у него русские фальшивые кредитки. Но особенно упорно и энергично она ищет и

¹⁾ Министерство г-на де Брест.—Дж. Г.

²⁾ История похищения детей княгини Оболенской рассказана в брошюре *Бернские Медведи и петербургский Медведь*, на страницах 5—8 первого издания (на стр. 10—12 настоящего издания). Подробности об этой деле можно также найти в I-м томе *Интернационал, Документы и Воспоминания*, Джэms Гильом, стр. 174—175 и стр. 179.

все для того, чтобы угодить петербургскому властелину, некоего Нечаева, повидимому, главу всех этих польских и русских „разбойников“.

„Этот Нечаев—реальное или вымышленное существо—является каким то чудовищным мифом. Приблизительно месяц уже, как все газеты Европы говорят о нем. Если верить петербургским и московским газетам, он был главой ужасного заговора, который только что раскрыли в России и который, повидимому, не перестает интересоваться и очень беспокоить царское правительство. Говорили, что он умер. Но вот он теперь воскрес. Должно быть, он воскрес, раз его ищут. Разве только что русское правительство ищет кого нибудь другого под фантастическим именем Нечаева. Но предположим, что Нечаев жив; это—заговорщик, стало быть ни разбойник, ни вор: преступление его,—если он преступник—политическое. Почему же его ищут, как убийцу и вора?—Но, говорят, что он совершил убийство.—Кто это говорит?—Русское правительство.—Но нужно быть действительно очень наивным, чтобы поверить тому, что говорит русское правительство, или очень испорченным человеком, чтобы делать вид, что веришь ему.

„Таким образом, стоит только русскому правительству указать либеральным правительствам Европы на того или другого русского или польского эмигранта, как на убийцу, мошенника или вора, чтобы его ему выдали! Это, слишком удобно, но и слишком опасно, в особенности, потому что это лучший способ применить ко всей либеральной и цивилизованной Европе варварскую систему московского правительства, которое никогда не останавливалось ни перед клеветой, ни перед ложью“.

В марте, Бакунин приехал из Локарно в Женеву, чтобы заняться там, со своим старым другом Огаревым, новой организацией русской революционной пропаганды и начать вновь издавать газету *Колокол* (Александр Герцен только что умер). Во время этого то короткого пребывания в Женеве он и написал, чтобы попытаться поднять общественное мнение Швейцарии против полицейских и правительственных деяний, брошюру, в которой он развил идеи, выраженные в выше приведенной статье. В этой статье он говорит о „петербургском медведе“; брошюру он озаглавил: *Бернские Медведи и Петербургский Медведь* и вложил в уста швейцарского гражданина свои сетования и требования, придумав подзаголовок: *Патриотическая слезница униженного и отчаявшегося швейцарца*.

Когда он возвращался в Локарно, 18 апреля, он остановился у меня в Невшателе и вручил мне свою рукопись, попросив меня, если я не ошибаюсь, напечатать ее в тысяче экземпляров¹⁾; в то же время он представил мне полную свободу исправить ее и сократить.—Не страдая автор-

¹⁾ Я должен был в августе 1669 т. оставить свои учительские обязанности и в то время заведовал маленькой типографией г. Гильома сына, в Невшателе.

ским самолюбием, Бакунин говорил о себе, что „у него совершенно не было таланта архитектора в литературной области" и что когда он построил дом", нужно чтобы какой нибудь друг оказал ему услугу „разместив в нем окна и двери" (письмо Герцену, 26 октября 1869 г.)

Брошюра появилась в мае месяце. Письмо Бакунина „к женеvским друзьям", напечатанное в *Письмах*, выпущенным Михаилом Драгоманоvвым и помеченное: „Четверг, 1870 г., Берн", (как показывает его содержание, оно написано 26 мая 1870 г.), и письмо к Огареву, написанное из Локарно 30 мая, повествуют об усилиях автора оказать давление на швейцарский Федеральный Совет, при посредстве своих друзей Адольфа Рейхеля, Эмиля и Густава Фогт и в особенности Адольфа Фогт, которому он советует послать „двадцать экземпляров своих *Медведей*" и который „берется распространить их среди влиятельных лиц". Бакунин указывает в то же время, какие нужно принять меры для быстрого распространения брошюры в Швейцарии¹⁾ и дает список книжных магазинов в Берне, Цюрихе, Базеле, Аарау, Солере, Люцерне, Фрибурге, Невшателе, Лозанне, Женеве, Лугано и Беллинцоне. Нечаев, который скрывался, ускользнул от полиции. Вместо него арестовали молодого русского эмигранта Семена Серебренникова, которого приняли за него, но которого женевская полиция должна была освободить, когда ошибка была обнаружена.

Известно, каким образом „ультра-революционные" приемы Нечаева, заставили Бакунина и Огарева порвать с этим молодым фанатиком (июль 1870 г.), когда они заметили, что Нечаев думал пользоваться ими, как простым орудием. Известно также, что два года спустя, Нечаев, выданный польским шпионом Стемпковским, был арестован в Цюрихе (34 августа 1872 г.) и выдан России (27 октября 1872 г.). Приговоренный к вечной каторге, он умер в 1883 г. в Петропавловской крепости в Петербурге.

Рукопись брошюры *Бернские Медведи и Петербургский Медведь* не сохранилась.

Дж. Г.

¹⁾ „Все наши друзья (в Берне) единодушно требуют, чтобы было объявлено в газетах о выходе моей брошюры, которую они находят очень удачно составленной, и чтобы она была как можно скорее распространена".

Бернские Медведи и Петербургский Медведь.

Перевод с французского Л. Гогеля.

Бернские Медведи и Петербургский Медведь.

Русское правительство правильно судило о нашем Федеральном Совете, осмелившись потребовать у него выдачи русского патриота Нечаева. Все знают, что был дан приказ полиции всех кантонов розыскать и арестовать этого неустрашимого и неутомимого революционера, который, дважды ускользнув от царских когтей, т. е. избежав смерти и предшествующих ей ужасных пыток, вероятно, думал, что, раз он нашел себе убежище в швейцарской республике, он был в безопасности от всяких императорских посягательств.

Он ошибся. Родина Вильгельма Телля, этого героя политического убийства, которого мы и поныне прославляем на наших федеральных празднествах именно за то, что традиция приписывает ему убийство Гесслера, эта республика, не побоявшаяся опасности войны с Францией, чтобы защищать свое „право убежища" против Людовика-Филиппа, требовавшего выдачи принца Людовика-Наполеона, теперешнего императора Франции, и после последнего польского восстания осмелившаяся потребовать от австрийского императора не ареста, а *освобождения* г. Ланггевича, которому она дала право поселиться на ее территории; эта Гельвеция, когда то столь независимая и гордая, теперь управляется Федеральным Советом, который, повидимому, ищет свою честь лишь в жандармских и шпионских услугах, оказываемым им всем деспотам.

Он положил начало своей новой системе политических услуг ярким фактом, который беспощадная история отметит, как образец швейцарского „гостеприимства". Это было изгнание великого итальянского патриота Мадзини, вина которого заключалось в том, что он создал Италию и посвятил всю свою жизнь, сорок лет неутомимой деятельности, служению человечеству. Прогнать Мадзини, значило изгнать из пределов республиканской территории Швейцарии самого гения свободы. Это значило дать попечину самой чести нашего отечества.

Федеральный Совет не остановился перед этим соображением. Это, правда, *республиканское* правительство, но всетаки *правительство*, а всякая политическая власть, как бы она ни называлась и какая бы ни была ее внешняя форма, обладает естественной, инстинктивной ненавистью по отношению к свободе. Ее повседневная практика приводит её силою вещей к необходимости ограничить, сократить и уничтожить, медленно и постепенно или грубо, с размаху, смотря по обстоятельствам и времени, самостоятельность управляемых ею масс; и это отрицание свободы простирается, везде и всегда, так далеко, как позволяют это политические и социальные условия среды и дух народа.

В этом изгнании Мадзини Федеральным Советом поражает то, что этого даже не требовало итальянское правительство. Это был произвольный акт и как бы букет, преподнесенный итальянскому правительству галантными членами Федерального Совета, которым г. Мелегари, бывший раньше патриотом и итальянским эмигрантом, а теперь являющийся представителем монархии и итальянского общества при федеральном правительстве, внушил, что такое доказательство добрых намерений ускорит заключение крупного дела о проведении железной дороги через Сан-Готард.

Если когданибудь историк вздумает рассказать все общественные и частные дела, которые заключались, велись и решались по поводу проведения железных дорог в Европе, одновременно раззорительных и полезных, перед нами встанет гора мерзостей, выше Мон-Блана.

Федеральный Совет, захотел, без сомнения, способствовать возвышению этой горы, послушав г. Мелегари. Впрочем, изгоняя Мадзини, Федеральный Совет делал, что называется верное дело: он приобретал расположение и заслуживал благородность, всегда столь полезную, крупной соседней монархии, хорошо зная, что общественное мнение и демократическое чувство Швейцарии были так глубоко усыплены или так поглощены обыденными мелкими материальными заботами, что они даже не заметят той пощечины, какую они получают прямо в лицо. Увы! Федеральный Совет показал себя глубоким знатоком состояния наших чувств и нынешних наших нравов. За исключением нескольких редких протестов, республиканцы Швейцарии оставались равнодушными к такому акту, совершенному от их имени.

Это равнодушие общественного мнения придало бодрости Федеральному Совету, который, желая все больше и больше быть приятным деспотическим державам, ничего большего не просит, как продолжать в том же духе. Он это слишком хорошо доказал в деле княгини Оболенской.

Мать семейства, имеющая несчастье быть рожденной в русской аристократической среде и еще большее несчастье быть выданной за русского князя, ханжу, становящегося на колени перед всеми православными попами Москвы и Петербурга и разумеется, падающего ниц перед своим императором, словом, человека с самой что ни на есть рабской душой в этом

официальном рабском мире; — эта мать хочет воспитать своих детей в любви к свободе, в уважении к труду и человечеству. С этой целью она поселяется в Швейцарии, в Веве. Конечно, это сильно не нравится петербургскому двору. Говорят с возмущением, с негодованием о демократической простоте, в какой она воспитывает своих детей; их одевают, как буржуазных детей; никакой роскоши ни в квартирной обстановке ни в столе, нет экипажей, нет лакеев, две служанки для всего дома и стол очень простой. Наконец, дети должны учиться с утра до вечера, и учителей просят обращаться с ними, как с простыми смертными. Рассказывают, что великая княгиня Мария Лихтенберг, сестра императора и бывшая приятельница княгини Оболенской, плакала от ярости, когда говорила об этом. Сам император заволновался. Несколько раз он приказывал княгине Оболенской вернуться немедленно в Россию. Она отказывалась. Что же тогда делает Его Величество? Он приказывает князю Оболенскому, который — все это знали,—давно уже не жил со своей женой, воспользоваться своими правами мужа и отца и силою притащить если не мать, то по крайней мере, детей.

Русский князь охотно повиновался Его Величеству. Все состояние семьи принадлежало княгине, а не ему: если она будет заперта в какойнибудь русский монастырь или объявлена эмигранткой, не повинующейся воли Его Величества, имущество ее будет конфисковано и, как естественный опекун ее детей, он становится администратором всего ее состояния. Дело было превосходное. Но как совершить этот акт грубого насилия в среде свободного и гордого народа, в одном из кантонов швейцарской Республики? Ему отвечают, что нет ни свободы, ни республики, ни гордости, ни швейцарской независимости, которые устояли бы против воли Его Величества, императора всероссийского.

Было это дерзким высокомерием? Увы! нет. Была лишь дана справедливая оценка печальной истине. Император приказывает своему великому канцлеру князю Горчакову, этот приказывает русскому уполномоченному в Берне, этот последний приказывает,—впрочем, нет, надо говорить вежливо—он рекомендует, он просит Федеральный Совет швейцарской республики. Федеральный Совет посылает князя Оболенского с наилучшими рекомендациями к лозанскому кантональному правительству; это правительство отправляет его, снабдив своими приказами, к префекту города Веве; а в Веве все республиканские власти давно уже ждали князя Оболенского, горя нетерпением принять его, как подобает принимать русского князя, когда он является командовать именем своего царя. Действительно, все уже было приготовлено *давно*, благодаря заботам, разумеется бескорыстным, адвоката Серезоль, в настоящий момент члена Федерального Совета.

Будем справедливы, адвокат Серезоль проявил в этом деле большое рвение, громадную энергию и поразительную ловкость. Благодаря ему,

неслыханный акт бюрократического насилия мог совершиться в республиканской Швейцарии тихо и без всяких препятствий. В одно прекрасное утро, извещенные накануне о приезде князя Оболенского префект, мировой судья и жандармы, с г. Серезоль во главе, ждали на вокзале прибытия августейшего поезда. Они простерли так далеко свою любезность, что приготовили даже необходимые экипажи для проектируемого похищения и, как только князь приехал, все отправились в жилище княгини Оболенской, несчастной женщины, совершенно не подозревавшей о грозе, которая собиралась обрушиться на ее голову.

Тут произошла сцена, которую мы отказываемся описывать. Швейцарские жандармы, очевидно, желая отличиться перед русским князем, оттолкнули кулаками княгиню, которая хотела проститься со своими детьми. Князь Оболенский был в восторге, он видел себя в России. Г. Серезоль командовал. Дети, больные, были в отчаянии. Жандармы схватили их и бросили в экипажи, которые увезли их.

Таково было дело княгини Оболенской. За несколько месяцев до этого события, столь печального для чести нашей республики, княгиня советовалась, говорят, с несколькими швейцарскими юристами и все ответили ей, что ей нечего было бояться в этой стране, где свобода каждого гарантирована законом и где никакая власть ничего не может предпринять против кого бы то ни было, швейцарца или иностранца, без суда и без предварительного разрешения швейцарского трибунала. Так и должно было быть в стране, которая называется республикой и которая принимает в серьез свободу. Однако, в деле княгини Оболенской произошло нечто совершенно обратное. Рассказывают даже, что когда княгиня, при виде этого совсем казачьего вторжения в свое жилище республиканских жандармов, хотела было потребовать защиты у швейцарского правосудия, адвокат Серезоль ответил ей грубыми шутками, вслед за которыми жандармы сейчас же принялись действовать кулаками... и да здравствует швейцарская свобода!

Дело г-жи Лимузэн служит новым образчиком этой свободы. Известно, что императорское правительство Франции заключило договор с нашим федеративным правительством о выдаче уголовных преступников. Ясно, что со стороны правительства Наполеона III, этот договор есть ничто иное, как возмутительная западня, а со стороны Федеративного Совета, заключившего его, и Федеративного Собрания, утвердившего его, акт непростительной слабости. Ибо под предлогом преследования уголовных преступников, министры Наполеона III могут требовать теперь выдачи всех врагов своего господина.

Революция—не детская игра, не академические дебаты, где наносятся смертельные удары лишь тщеславию, и не литературное состязание, где проливаются лишь чернила. Революция, это—война, а когда идет война, происходит разрушение людей и вещей. Конечно, очень печально для человечества, что оно не избрело более мирного способа прогресса, но до

сих пор каждый новый шаг в истории рождался лишь в крови. Впрочем, реакция не может упрекать в этом отношении революцию. Она всегда пролила крови больше, чем эта последняя. Доказательством служат парижское избиение в июне 1848 г. и в декабре 1851 г., дикие репрессии деспотических правительств других стран в эту же эпоху и позднее, не говоря уже о десятках, сотнях тысяч жертв, которыми сопровождаются войны, являющиеся неизбежным следствием и как бы периодической лихорадкой политического и социального состояния данных стран, называемого реакцией.

Невозможно, стало быть, быть истинным революционером или реакционером, не совершая актов, которые с точки зрения уголовного или гражданского кодекса законов, являются проступками или даже преступлениями, но которые, с точки зрения реальной и серьезной практики реакции или революции, лишь неизбежное зло.

В таком случае, за исключением безобидных говорунов, произносящих речи, и писателей, лишь пишущих книги, кто из политических борцов не подпадает под этот договор о выдаче, недавно заключенный между Францией и Швейцарией?

Если бы преступный декабрьский переворот не удался и если бы принц Людовик-Наполеон, в сопровождении своих достойных сподвижников, этих Морни, Флери, Сэнт-Арно, Барош, Персиньи, Пьетри и многих других, убежал в Швейцарию, залив кровью Париж и всю Францию, и, если бы победоносная Республика потребовала у своей сестры Швейцарской Республики выдачи всех этих господ, выдала ли бы их Швейцария? Разумеется, нет. Однако, если когданибудь ктонибудь так нарушил все человеческие и божеские законы, совершил столько преступлений против всевозможных кодексов законов, так это они: банда жуликов и разбойников, дюжина Робертов Макэр из эlegantного общества, ставших солидарными, благодаря общим порокам и общему несчастью, разорившиеся, с погибшей репутацией, запутывшиеся в долгах, люди которые, чтобы вернуть себе прежнее положение и состояние, не отступили перед одним из самых ужасных преступлений, известных в истории. Вот, в нескольких словах, вся истина о декабрьском государственном перевороте.

Разбойники одержали победу. Уже восемнадцать лет они царствуют безраздельно и бесконтрольно над самой прекрасной страной в Европе, и которую Европа с большим основанием считает центром цивилизованного мира. Они создали официальную Францию по своему образу и подобию. Они оставили почти нетронутыми с внешней стороны все учреждения, но изменили совершенно их суть, переделав все под стать своим нравам, согласно своему собственному духу. Все старые слова остались. Попрежнему говорят о свободе, справедливости, достоинстве, праве, цивилизации и человечестве; но смысл этих слов совершенно изменился в их устах, каждое слово означает в действительности совершенно обратное тому, что оно должно было бы выражать: совсем как шайка бандитов, употребляю-

щих самые пристойные выражения для обсуждения самых преступных планов и актов. Не правда ли, таков еще и теперь характер Французской империи.

Есть ли, например, чтонибудь более мерзкое, более гнусное, чем императорский Совет, состоящий, как сказано в конституции, *из всех знаменитостей страны?* Ведь, все знают, что это дом инвалидов, всех участников преступления, всех усталых и насыщенных декабристов. Есть ли чтонибудь позорнее правосудия империи, всех этих трибуналов и этих судей, которые считает своим единственным долгом поддерживать во чтобы то ни стало государственную несправедливость?

Так вот, в интересах одного из этих сенаторов декабрьского преступления, единственно на основании приговора, вынесенного одним из этих трибуналов, правительство Наполеона III, имея в руках надувательский договор, заключенный им с Швейцарией, требует теперь выдачи г-жи Лимузн. Официальный предлог, а всегда нужен предлог, — лицемерие, как говорит пословица, есть дань уважения порока добродетели — официальный предлог, выставляемый французским министром, чтобы поддержать свое требование, приговор, произнесенный трибуналом города Бордо против г-жи Лимузн за нарушение тайны корреспонденции.

Восхитительно, не правда ли? Империя, эта наивысшая нарушительница всего, что считается ненарушимым, правительство Наполеона III преследует бедную женщину, которая якобы нарушила тайну корреспонденции! Как будто бы оно когданибудь делало что либо другое!

Но, что позволено государству, запрещено личности. Таков государственный догмат. Это сказал Макиавелли и история и практика всех правительств, доказывают, что он был прав. Преступление есть необходимое условие самого существования государства, оно составляет, стало быть, его исключительную монополию, откуда вытекает, что личность, дерзнувшая совершить преступление, вдвойне виновна: во-первых она виновна против человеческой совести, во-вторых, и в особенности, она виновна против государства, присвоив себе одну из его самых драгоценных привилегий.

Мы не будем спорить здесь о ценности этого прекрасного принципа, основы всей государственной политики. Мы лучше спросим, действительно ли доказано, что г-жа Лимузн нарушила тайну корреспонденции? Кто это утверждает? Императорский трибунал. И вы действительно думаете, что можно поверить приговору, произнесенному императорским трибуналом? Да, скажут, всякий раз, когда у этого трибунала не будет никакого интереса лгать. Прекрасно, но в данном случае существует этот интерес и *императорское правительство само взялось поведать об этом федеральному правительству.*

Это—интерес г-на Туранжэн, сенатора империи и крупного аристократа, без сомнения, раз он поднимает на ноги все силы неба и земли,

епископов, министра Франции, Федеральный Совет нашей республики, вплоть до жандармов Ваттского кантона, чтобы помешать своему племяннику жениться на г-же Лимузэн.

При старом строе, во Франции, когда нужно было защитить *честь* какой нибудь знатной семьи, министр давал в ее распоряжение бланк с тайным приказом об аресте. Снабженный этим ужасным орудием, судебный пристав хватал виновных, мужчину и женщину, любовника и любовницу, мужа и жену, и запирает их, отдельно друг от друга, в подземелье Бастилии. Ныне у нас строй официальной свободы, строй лицемерия, приказ об аресте называется дипломатической нотой и роль судебного пристава выполняется Федеральным Советом швейцарской республики.

Племянник сенатора империи, недостойный член этого могучего и знатного рода Туранжэн, женится на г-же Лимузэн! Какой ужасный скандал! Тут есть чем возмутиться честным сердцам наших честных членов Федерального Совета. Впрочем, разве все сенаторы мира не солидарны между собой? Таковую же услугу, какую оказывает теперь Швейцария сенатору империи, Франция может оказать в один прекрасный день члену швейцарского Федерального Совета. Таким образом, честь громких фамилий всех стран будет спасена и неравные браки, эта проказа, которая раз'едает теперь аристократический мир, станут всюду невозможными.

Императорское правительство настолько не сомневалось в добрых чувствах нашего республиканского правительства, что для того, чтобы ускорить его административное вмешательство, оно ему откровенно созналось, *мы это знаем из верного источника*, что в этом деле суть была вовсе не в нарушении тайны корреспонденции, что это было только предлогом, а суть заключалась в нечто гораздо более важном; дело шло о чести семьи императорского сенатора Туранжэн.

Поэтому, мы видели, как охотно Федеральный Совет и те же самые жандармы, которые вызвали восхищение русского князя, отдали себя в распоряжение г-на Туранжэн, чтобы помочь ему удовлетворить свою аристократическую месть. Не вина властей, всегда столь *исполнительных*, Ваттского кантона, если молодая пара, без сомнения уведомленная кем нибудь, сбежала во Фрибургский кантон и не вина федерального Совета, если кантональное правительство Фрибурга, больше дорожа достоинством и независимостью Швейцарии, чем он, еще не выдало виновных императорскому и сенаторскому правосудию.

Особенно нас поражает роль некоторых швейцарских газет в этом постыдном деле. Наши так называемые либеральные газеты, которые взяли на себя миссию защищать свободу против посягательств на нее демократии, не считают себя обязанными защищать ее против грубого нарушения ее деспотизмом. Они боятся силы снизу и проклинают ее, но они благославляют и призывают всей душой силу сверху. Все проявления народной свободы им ненавистны; наоборот, они любят свободное проявление власти,

у них культ власти, потому что, происходя от бога или дьявола, всякая власть, силою присущей ей необходимости, становится естественной покровительницей исключительных свобод привилегированного мира. Толкаемые этим странным либерализмом, во всех возникающих вопросах они всегда принимают сторону угнетателей против угнетенных.

Таким образом, мы видели, что *Journal de Geneve*, этот главный оруженосец либеральной партии у нас, горячо одобрил изгнание Мадзини, похвалил рабскую услужливость Федерального Совета и казацкую грубость властей Ваттского кантона в деле княгини Оболенской. Теперь эта газета готовится доказать, что сенатор Туранжэн и Федеральный Совет правы, первый требовать, а второй приказать выдачу этой бедной г-жи Лимузэн.

Она готовится к этому, как всегда, путем клеветы. Это превосходное оружие, более верное, чем ружье, любимое оружие католических и протестантских иезуитов. Однако, повидимому, г-жа Лимузэн дает мало поводов к клевете, так как эта газета, всегда очень хорошо осведомленная, благодаря своим связям с полицией и правительствами всех стран, сумела найти против нее только одно обвинение: г-жа Лимузэн старше своего мужа, племянника сенатора Туранжэн!

Не правда ли, ясное доказательство большой развращенности? Женщина, выходящая замуж за человека, моложе себя и даже не являясь выгодной партией, не приносит ему с собой крупного состояния! Ведь, это почти что развращение несовершеннолетнего! И подумайте при этом, какого несовершеннолетнего! Племянника сенатора Наполеона III. Ясно, что, это очень безнравственная женщина, очень опасная, и Швейцарская Республика не должна терпеть у себя подобного чудовища.

И большинство наших газет повторяет глупо, подло: „Эта женщина не заслуживает симпатии общества!“ А почему вы знаете, милостивые государи? Вы ее знаете, вы часто встречали ее, о редакторы, столь же правдивые, как и добродетельные? Кто ее обвинители? Правительство, дипломатия, один сенатор и трибунал Наполеона III, т. е. квинтэссенция торжествующей и циничной безнравственности. И это основываясь на подобных свидетельских показаниях, вы, республиканцы и представители свободного народа, бросаете грязь в бедную женщину, преследуемую французским деспотизмом и всеми господами Серезоль нашего Федерального Совета! Разве вы не чувствуете, о, безмозглые и бесстыдные сплетники, что эта грязь останется на вас, любезничающих со всеми правительствами, изменниках свободе, жалких могильщиках независимости и достоинства нашего отечества?

Но вернемся к делу русского патриота Нечаева.

По распоряжению федерального правительства, полиция разыскивает его во всех кантонах. Дан приказ арестовать его. Но если его арестуют, что с ним сделают? Неужели правительство в самом деле решится его выдать русскому царю? Мы дадим ему совет: пусть оно лучше бросит его

в медвежью яму в Берне. Это будет откровеннее, честнее, короче и, главное, человечнее.

К тому же, это будет вполне заслуженным наказанием для Нечаева. Он поверил в швейцарское гостеприимство, швейцарские справедливость и свободу. Он думал, что раз Швейцария является республикой, она может испытывать только чувство негодования и отвращения к царской политике. Он принял в серьез басню о Вильгельме Телле. Он был обманут республиканской гордостью наших речей, которые мы произносим на наших федеральных и кантональных празднествах, и он не понял, неосторожный молодой человек, что у нас республика чисто буржуазная и что в натуре современной буржуазии любить прекрасные вещи только в прошлом, а в настоящем преклоняться лишь перед тем, что выгодно и полезно.

Республиканская добродетель обходится очень дорого. Практика независимости и национальной гордости, принятая в серьез, может стать очень опасной. Рабская услужливость по отношению к великим деспотическим державам бесконечно выгоднее. Впрочем, великие державы действуют так, что им невозможно противостоять. Если вы не повинуетесь им, они начинают угрожать вам, и угрозы их серьезны. Чорт возьми! У каждой из них более полу-миллиона солдат, которые могут нас раздавить. Но если только вы уступите им и докажете свое доброе расположение, они расточают перед вами самые нежные комплименты, и больше, чем комплименты: благодаря финансовой системе, разоряющей их народы, великие державы очень богаты. Жандармы Ваттского кантона знают кое что об этом, и кошелек князя Оболенского тоже.

Очувшившись перед такой дилеммой, Федеральный Совет не мог колебаться. Его практический и осторожный патриотизм склонил его на сторону услужливой политики. Какое ему дело, впрочем, до этого Нечаева! Станет он рисковать, ради его прекрасных глаз, вызвать царский гнев и подвергнуть бедную крошечную Швейцарию мести императора всей России! Он не может колебаться между этим неизвестным молодым человеком и самым могущественным монархом земли. Он не вмешивается в их дело. Моварх требует его голову, нужно выдать его. Впрочем, ясно, что Нечаев крупный преступник. Разве он не восстал против своего законного императора и, не признался в своем письме¹⁾ что он революционер?

Федеральный Совет является правительством; как таковое, он должен иметь естественные симпатии ко всякому правительству, какова бы ни была его форма, и столь же естественную ненависть к революционерам всех стран. Если бы это зависело только от него, он живо бы очистил швейцарскую территорию от всех этих авантюристов, которые, к сожалению

¹⁾ Это письмо было напечатано в феврале 1870 г. в следующих газетах: *Marseillaise*, в Париже, *Internationale*, в Брюсселе, *Volksstaat*, в Лейпциге и *Progres*, в Локле. — Дж. Г.

наполняют ее в настоящий момент. Но тут есть серьезное препятствие: чувство швейцарского достоинства, которое еще живо, великие исторические традиции и естественные и глубокие симпатии нашего республиканского народа к героям и мученикам за свободу. Наконец, швейцарский закон, который гарантирует гостеприимство всем политическим эмигрантам и защищает их против преследований деспотов.

Федеральный Совет еще не чувствует себя достаточно сильным, чтобы сломить это препятствие, но он умеет ловко обойти его. Договор о выдаче за уголовные преступления и проступки, каковой почти все европейские правительства спешат заключить между собою, в виду близкой международной войны, реакции, против революции, представляет для него великолепное средство в этом отношении. Сначала распускается клевета, а потом действует карательная сила закона. Власти делают вид, что верят лживым обвинениям, подымаемым против какого нибудь политического эмигранта правительством, которое всегда лгало, потом заявляют швейцарскому республиканскому обществу, что они преследуют этого человека не за какое нибудь политическое преступление, а за преступление уголовного характера. Таким способом, Нечаева превратили в убийцу и мошенника.

Кто утверждает, что Нечаев уголовный преступник? Русское правительство. И наш милый честный Федеральный Совет настолько верит всем утверждениям русского правительства, что он не требует от него даже судебных доказательств, одного его слова достаточно. Впрочем, он прекрасно знает, что, в случае, если бы судебные доказательства стали необходимы, достаточно царю сделать знак и русские суды выставят против этого несчастного Нечаева самые фантастичные обвинения и произнесут самые невозможные приговоры. Он, стало быть, хотел избавить царское правительство от этого бесполезного труда и, довольствуясь простым его словом, дал приказ арестовать русского патриота, как убийцу и как мошенника, фабриковавшего, фальшивые кредитные билеты.

Эти несчастные русские фальшивые кредитки служили предлогом для производства обысков у некоторых эмигрантов в Женеве. Известно было, что у них не найдут даже и следа хотя бы одной такой кредитки, но без сомнения, таким способом надеялись напасть на какую нибудь переписку политического характера, которая, неизбежно, скомпрометировала бы массу лиц в России и Польше и раскрыли бы революционные планы этого ужасного Нечаева. Не нашли ничего и покрыли себя позором, вот и все. Но нечего было с таким экстра-республиканским рвением искать следов переписки, бумаги и письма, которые никоим образом не могли интересовать швейцарскую республику? Хотели таким образом обогатить библиотеку Федерального Совета? Это мало вероятно. Значит, их искали для того, чтобы передать потом русскому правительству; откуда ясно следует, что женевская кантональная полиция, следуя примеру полиции Ваттского кан-

тона и повинаясь приказу того же Федерального Совета, превратилась в жандармерию всероссийского царя.

Утверждают даже, что г. Камперо, умный государственный деятель женеvского кантона, умыл себе руки в этом деле, как Пилат. Он был в отчаянии, что ему пришлось исполнять функции, которые ему были противны, но он должен был подчиниться точным предписаниям Федерального Совета. Я спрашиваю себя, поступил ли бы, мог ли бы поступить иначе на его месте г. Джэms Фази, также умный человек и к тому же, как известно, крупный революционер? Я убежден, что нет. Бывший одним из главных сторонников системы политической централизации, которая с 1848 г. подчиняет автономную деятельность кантонов центральной власти Федерального Совета, он не мог бы избежать последствий этой системы. Достаточно было бы, чтобы Федеральный Совет приказал, чтобы он, так же, как и г. Камперо, исполнил, *nolens volens*, роль русского жандарма.

Таков наиболее очевидный результат нашей крупной победы 1848 г. Эта политическая централизация, созданная радикальной партией во имя свободы, убивает свободу. Достаточно, чтобы Федеральный Совет уступил угрозе или поддался подкупу какой нибудь иностранной державы, чтобы все кантоны изменили свободе. Достаточно, чтобы Федеральный Совет приказал, и все кантональные власти превратятся в жандармов деспотов. Отсюда следует, что старый режим независимости кантонов гораздо лучше, гарантировал свободу и национальную независимость Швейцарии, чем современная система централизации.

Если в некоторых прежде очень реакционных кантонах свобода сделала значительный прогресс за последнее время, то это вовсе не благодаря новым полномочиям, какими конституция 1848 г. облекла федеральные власти, а единственно благодаря умственному развитию, благодаря ходу времени. Весь прогресс, совершенный с 1848 г. в федеральной области — прогресс экономического порядка, как напр., введение единой монеты, единого веса и меры, крупные общественные работы, торговые договоры и т. д.

Нам скажут, что экономическая централизация может быть достигнута только путем политической централизации, что одна включает в себе другую, что обе необходимы и благотворны в одинаковой степени. Нисколько. Экономическая централизация,—существенное условие цивилизации, сознает свободу. Политическая же централизация убивает ее, уничтожая, в пользу правительства и правящих классов, собственную жизнь и самостоятельность населения. Концентрация политической власти может дать только рабство, ибо свобода и власть абсолютно исключают друг друга. Всякое правительство, даже самое демократическое — естественный враг свободы и, чем более оно централизовано, чем сильнее, тем оно становится более угнетающим. Впрочем, это истины, столь простые и ясные, что стыдно их повторять.

Если бы швейцарские кантоны были еще автономны, Федеральный Совет ни имел бы ни права ни силы превратить их в жандармов иностранных держав. Разумеется, были бы кантоны очень реакционные. А разве таких не существует теперь? Есть и кантоны, в которых приговаривают к наказанию плетью людей, дерзающих отрицать божественность Иисуса Христа, и федеральная власть не вмешивается¹⁾. Но наряду с этими реакционными кантонами были бы другие кантоны, широко проникнутые духом свободы, и Федеральный Совет не в силах был бы остановить их прогресс. Эти кантоны не только не были бы парализованы в своем развитии реакционными кантонами, но, наоборот, увлекли бы и их вслед за собой. Ибо свобода заразительна, и лишь одна свобода, а не правительства — творит свободу.

Современное общество настолько убеждено в той истине, что всякая политическая власть, каковы бы ни были ее происхождение и форма, стремится неизбежно к десиотизму, что во всех странах, где оно немного освободилось, оно поспешило подчинить правительства, даже выдвинутые революцией и выбранные народом, насколько возможно строгому контролю. Все спасение свободы оно поставило в зависимость от реальной и серьезной организации контроля народного мнения и народной воли над всеми людьми, облеченными политической властью. Во всех странах, где существует представительный образ правления, а Швейцария является одной из таких стран, свобода, стало быть, может быть реальной лишь при условии, если этот контроль действительный. Наоборот, если этот контроль только фиктивный, народная свобода становится неизбежно также простой фикцией.

Было бы нетрудно доказать, что нигде в Европе нет действительного народного контроля. На этот раз мы ограничимся Швейцарией и посмотрим, как он применяется в этой стране. Во-первых, потому что Швейцария нам ближе, а во-вторых потому, что, будучи в настоящее время единственной демократической республикой в Европе, она осуществила, в некотором роде, идеал верховной народной власти, так что то, что верно для нее, должно быть с гораздо большим основанием верно для всех других стран.

Наиболее передовые кантоны Швейцарии, в период 1830 г., искали гарантию свободы в введении всеобщего избирательного права. Это было вполне законное домогательство пока наши Законодательные Советы были назначаемы только классом привилегированных граждан, пока существовало различие в отношении избирательного права между городом и деревней, между патрициями и народом, исполнительная власть, выбранная этими

¹⁾ Один рабочий, типограф Риникер, был приговорен в 1865 г. исправительный трибуналом кантона Ури к наказанию плетью за то, что он написал и выпустил брошюру, в которой он отрицал догмат о божественности Христа. — Дж. Г.

Советами, также как и законы, выработанные в них, не могли иметь иной цели, как обеспечить и регламентировать господство аристократии над страной. Нужно было, следовательно, в интересах народной свободы, свергнуть этот строй и заменить его строем, в котором верховная власть принадлежала бы народу.

Когда было введено всеобщее избирательное право, подумали, что свобода народа теперь обеспечена. Но это была большая иллюзия, и, можно сказать, что сознание этой иллюзии и привело, в некоторых кантонах — к падению и во всех — к деморализации, в настоящей момент столь очевидной, радикальную партию. Радикалы вовсе не хотели обмануть народ, как это утверждает наша так называемая либеральная пресса, но они обманулись сами. Они были действительно убеждены, когда обещали народу свободу путем всеобщего избирательного права, что это будет так и, сильные этим убеждением, они подняли народные массы и свергли аристократические правительства. Теперь, наученные опытом и практикой власти, они потеряли эту веру в самих себя и в свой собственный принцип и поэтому, они побеждены и так низко пали.

И действительно, дело казалось так просто и так естественно: раз законодательная и исполнительная власть будут избираться непосредственно народом, они должны стать выражением народной воли, а что же может дать эта воля, как не свободу и народное благоденствие?

Вся ложь системы представительного правительства покоится на той фикции, что власть и законодательная палата, выбранные народом, непременно должны, или даже только могут, представлять действительную волю народа. Народ, как в Швейцарии, так и везде, хочет инстинктивно, неизбежно две вещи: наивозможно большую сумму материальных благ и наибольшую свободу в своей жизни и деятельности, т. е. наилучшую организацию своих экономических интересов и полное отсутствие всякой власти, всякой политической организации, — т. к. всякая политическая организация приводит фатально к отрицанию его свободы. Такова сущность всех народных инстинктивных стремлений.

Стремления же всех, кто управляет, как тех, кто составляет законы, так и тех, в чьих руках находится исполнительная власть, по самой причине их исключительного положения, диаметрально противоположны. Каковы бы ни были их чувства и демократические намерения, они не могут смотреть на общество с высоты своего положения иначе, чем опекун смотрит на опекаемого. Но между опекуном и опекаемым равенства не может быть. На одной стороне чувство превосходства, необходимо появляющееся, благодаря занимаемому более высокому положению, на другой — сознание своего более низкого положения, вытекающее из превосходства опекуна, обладающего исполнительной или законодательной властью. Когда есть политическая власть, есть господство. А там, где существует господство, более или менее значительная часть общества необходимо находится в подчиненном поло-

жении, те же, кто находится в подчиненном положении, естественно ненавидят тех, кто господствует, тогда как те, кто господствует, должны необходимо подавлять и, следовательно, угнетать тех, над кем они господствуют.

Такова вечная история политической власти с тех пор, как эта власть появилась в мире. Этим и объясняется, каким образом люди, которые были самыми красными демократами, самыми яркими бунтарями, когда они были в массе управляемых, становятся чрезвычайно умеренными консерваторами, как только попадают в ряды правительства. Обыкновенно такую перемену приписывают измене. Это ошибка; главной причиной ее является перемена перспективы и положения. Не будем забывать, что положение и предъявляемые им требования всегда сильнее ненависти или злой воли человека.

Проникнутый этой истиной, я без боязни могу высказать убеждение, что если завтра будут установлены правительство и законодательный совет, парламент, состоящие исключительно из рабочих, эти рабочие, которые в настоящий момент являются такими убежденными социальными демократами, после завтра станут определенными аристократами, поклонниками, смелыми и откровенными или скромными, принципа власти, угнетателями и эксплуататорами. Мой вывод таков: *Нужно совершенно уничтожить, в принципе и фактически, все, что называется политической властью; потому что пока будет существовать политическая власть, будут всегда господствующие и подчиненные, господа и рабы, эксплуататоры и эксплуатируемые. По уничтожении политической власти нужно ее заменить организацией производительных сил и хозяйственной жизни страны.*

Вернемся к Швейцарии. У нас, как и везде, правящий класс совершенно отличный от управляемых масс, стоит в стороне от них. В Швейцарии, как и в других странах, как бы широко не проводился принцип равенства в наших конституциях, правит буржуазия, а рабочий народ, включая сюда крестьян, подчиняется ее законам. У народа нет ни свободного времени ни необходимого образования, чтобы заниматься делами управления. Буржуазия, имея то и другое, обладает, не по праву, а фактически, исключительной привилегией управлять страной. Политическое равенство, стало быть, как в Швейцарии, так и в других странах, лишь наивная фикция, ложь.

Но разединенная с народом условиями своей экономической и общественной жизни, каким образом буржуазия может осуществить в управлении и в наших законах чувства, идеи и волю народа? Это невозможно, и повседневный опыт показывает нам, действительно, что как в законодательной деятельности, так и в управлении, буржуазия руководствуется своими собственными интересами и стремлениями, мало заботясь об инте-

ресах и стремлениях народа. Правда, все ваши законодатели, также как и все члены наших кантональных правительств, выбраны, прямо или косвенно, народом. Правда, в дни выборов наиболее гордые буржуа, если только они честолюбивы, принуждены ухаживать за Его Величеством верховным народом. Они являются к нему с низким поклоном и как будто не имеют другой воли, кроме воли народа. Но это только кратковременная неприятность. Когда выборы закончены, каждый возвращается к своим обыденным занятиям: народ к своему труду, а буржуазия к своим доходным делам и политическим интригам. Они почти не встречаются больше, не знают друг с другом. Каким образом народ, обремененный работой и не имея понятия о большей части поднимаемых вокруг него вопросов, будет контролировать политические акты своих выборных? И разве не ясно, что контроль избирателей над своими представителями лишь простая фикция? А так как народный контроль в системе представительного правительства является единственной гарантией народной свободы, то ясно,

Чтобы устранить это неудобство, радикалы-демократы цюрихского кантона провели новую политическую систему, *референдум*, или прямое народное законодательство. Но и *референдум* только паллиатив, новая иллюзия, ложь. Чтобы вотировать, с полным знанием дела и вполне свободно, законы, которые ему предлагаются или которые его толкают предложить самому, нужно, чтобы народ обладал достаточным количеством времени и необходимым образованием, чтобы изучить их, обдумать, обсудить; он должен будет превратиться в громадный парламент в открытом поле. Это редко возможно и только в тех случаях, когда предлагаемый закон вызывает всеобщее внимание, затрагивает интересы всех граждан. Эти случаи чрезвычайно редки. Большею частью предлагаемые законы имеют специальный характер и нужно иметь привычку к политическим и юридическим отвлеченностям, чтобы уловить их настоящий смысл. Они не вызывают внимательного отношения к себе народа, который их не понимает и голосует наобум, доверяя своим любимым ораторам. Взятые каждый в отдельности, эти законы кажутся слишком незначительными, чтобы очень интересовать народ, но все вместе они образуют сеть, которая его опутывает. Таким образом, несмотря на *референдум*, он остается, называясь верховным народом, орудием и скромным служителем буржуазии.

Мы видим, что в системе представительного правительства, даже исправленной *референдумом*, народный контроль не существует; а так как без этого контроля не может быть серьезной свободы для народа, то мы заключаем, что наша политическая свобода, наше народное самоуправление—ложь.

То, что происходит ежедневно во всех швейцарских кантонах, подтверждает эту печальную истину. В каком кантоне народ принимает действительное и прямое участие в составлении законов, которые фабрику-

ются в его Большом Совете и в выработке постановлений его Малого Совета¹⁾? В каком кантоне этот якобы верховный народ не третируется своими собственными выборными, как вечный несовершеннолетний? Где он не принужден повиноваться приказам исходящим сверху, причины и цели которых он по большей части не знает?

Большая часть дел и законов, и много важных дел и законов, находящихся в прямом отношении к благосостоянию и материальным интересам Коммуны, проходят через голову народа, он не замечает их, не интересуется ими, не вмешивается в них. Его компрометируют, связывают, иногда разоряют, он не замечает этого. У него нет ни привычки ни необходимого времени, чтобы изучить всю систему, и он дает полную свободу действий своим выборным, которые, разумеется, служат интересам своего класса, своего мира, а не его, и самое большое искусство которых состоит в том, чтобы представить народу свои мероприятия и законы в самом безобидном и наиболее популярном виде. Система демократического представительства—система вечного лицемерия и вечной лжи. Она нуждается в народной тупости и основывает все свои победы на этой тупости.

Но каким бы равнодушным и терпеливым не проявляло себя население наших кантонов, у него есть, однако, некоторые идеи, некоторый инстинкт свободы, независимости и справедливости, которых нельзя касаться и которые ловкое правительство остерегается затрагивать. Когда народное чувство задето в этих пунктах, составляющих так сказать, *святая святых* и все политическое сознание швейцарского народа, он пробуждается от своей обычной спячки и поднимает бунт, а когда он бунтует, он сметает все: конституцию и правительство, Малые и Большие Советы. Все прогрессивное движение Швейцарии, до 1848 г., происходило путем кантональных революций. Революции, всегда существующая возможность этих народных восстаний, спасительный страх, внушаемый ими, такова еще и теперь единственная форма контроля, которая существует действительно в Швейцарии, единственная граница, останавливающая разгул честолюбивых и корыстных чувств наших правителей.

Это было также великим оружием, которым пользовалась радикальная партия для того, чтобы свергнуть наши конституции и наши аристократические правительства. Но после того, как она так счастливо использовала его, она сломала его, чтобы какаянибудь новая партия не могла воспользоваться им, в свою очередь, против нее. Как она его сломала? Уничтожив автономию кантонов, подчинив кантональные правительства федеральной власти. Отныне, кантональные революции—*это единственное средство, каким население кантонов располагало, чтобы производить действительный и серьезный контроль над сво-*

¹⁾ Малый Совет или Государственный Совет—кантональная исполнительная власть; кантональная законодательная власть называется Большим Советом.—Дж. Г.

ими правительствами и чтобы давать отпор деспотическим стремлениям, присущим всякому правительству, этот спасительный бунт народного чувства—стали невозможны. Они бессилены против федерального вмешательства.

Предположим, что население какогонибудь кантона, потерявшее терпение, восстает против своего правительства, что тогда случится? По конституции 1849 г., Федеральный Совет не только имеет право, он обязан послать в этот кантон столько войск, взятых в других кантонах, сколько понадобится, для восстановления общественного порядка и чтобы вернуть силу законам и конституции данного кантона. Войска не выйдут из кантона, пока конституционный и законный порядок не будет вполне восстановлен, т. е., называя откровенно вещи своими именами, пока режим, идеи и люди, пользующиеся симпатиями Федерального Совета, не восторжествуют окончательно. Таков был конец последнего восстания Женевского Кантона в 1864 г.

В этот раз радикалы на себе могли оценить последствия системы политической централизации, введенной ими самими в 1848 г. Благодаря этой системе, республиканское население кантонов имеет всесильного верховного властелина: федеральную власть и для защиты свободы эту то власть оно и должно контролировать и в случае необходимости свергнуть ее. Мне легко будет доказать, что за исключением совсем необычайных обстоятельств, ни этот контроль ни это свержение никогда не будут возможны, если только весь швейцарский народ, все кантоны не восстанут одновременно, движимые одной общей могучей страстью.

Посмотрим, каким образом составлена федеральная власть? Она состоит из Федерального Собрания—законодательной власти и Федерального Совета—исполнительной власти. Федеральное Собрание состоит из двух палат: Национальная Палата, выбранная населением кантонов, и Государственная Палата, в состав которой входят по два представителя от каждого кантона, выбранные почти везде кантональными Большими Советами ¹⁾. Федеральное Собрание избирает из своей среды семь членов исполнительного федерального Совета, Из всех этих выборных учреждений самым демократическим и наиболее народным является, конечно, национальный Совет, так как он избирается непосредственно народом. Однако, надеюсь, никто не будет оспаривать, что он не является и не должен быть значительно более демократическим, чем кантональные Большие Советы или законодательные палаты кантонов. И это по очень простой причине.

Народ, невежественный и индифферентный, благодаря экономическому положению, в каком он находится еще и теперь, знает хорошо только то, что его очень близко касается. Он хорошо понимает свои повседневные

¹⁾ Точное наименование обеих палат, которые вместе составляют—Швейцарское Федеральное Собрание, *Национальный Совет и Государственный Совет.*—Дж. Г.

интересы, свои обыденные дела. Дальше для него начинается неизвестное, неопределенное и опасность политических мистификаций. Так как он обладает значительной дозой практического инстинкта, он редко ошибается, например, в коммунальных выборах. Он более или менее хорошо знает дела своей коммуны, очень ими интересуется и умеет выбрать из своей среды людей, способных вести их. В этих делах контроль возможен, ибо они происходят на глазах у избирателей и касаются самых близких интересов их повседневного существования. Поэтому, коммунальные выборы всегда и везде самые лучшие, наиболее действительным образом отвечают чувствам, интересам и воли народа.

Выборы в Большие Советы, а также и в Малые Советы, там где они производятся непосредственно самим народом¹⁾, уже гораздо менее совершенны. Политические, юридические и административные вопросы, разрешение и хорошая постановка которых составляют главную задачу этих Советов, большею частью неизвестны народу, переходят за предел его повседневной практики, почти всегда и везде ускользают от его контроля; и он должен поручать его людям, которые, живя в сфере, почти совершенно отличной от его, ему почти неизвестны. Если он и знает их, то только по речам, которые они произносят, но не в их личной жизни. Но речи обманчивы, в особенности, когда они имеют целью завербовать народное расположение и когда, предметом их являются вопросы, которые народ знает очень плохо и часто совсем их не понимает.

Отсюда следует, что кантональные Большие Советы уже гораздо дальше—и это неизбежно должно быть так,—от народного чувства, чем коммунальные Советы. Однако нельзя, сказать, что они совершенно чужды ему. Благодаря долгой практики свободы и привычке швейцарского народа читать газеты, наше швейцарское население знает, по крайней мере, в общих чертах свои кантональные дела и более или менее интересуется ими.

Наоборот, оно совершенно незнакомо с федеральными делами и не придает им никакого значения, откуда следует, что его совершенно не интересует знать, кто его представляет и что его делегаты²⁾ найдут нужным делать в Федеральном Собрании.

¹⁾ В 1870 г. Государственный Совет (кантональная исполнительная власть) был выбран непосредственно народом в Женевском кантоне и в сельских коммунах Базельского кантона; в других кантонах—за исключением нескольких кантонов, в которых существует прямое народное законодательство и в которых народ сам собирается в кантональные собрания или *Landsgemeinde*—он был выбран Большим Советом. В настоящее время избрание Государственного Совета народом в большинстве кантонов является правилом. И в результате, исполнительная власть приобрела еще большую силу и коммуны и граждане еще больше подвергаются правительственному произволу, чем раньше.—Дж. Г.

²⁾ Под словами „его делегаты“ Бакунин подразумевает членов Национального Совета, т. е. Палаты, избранной народом, в которой кантоны представлены пропорционально количеству их населения.—Дж. Г.

Государственный Совет, состоящий из членов, избранных советами кантонов ¹⁾, еще дальше от народа, чем эта первая Палата, которая избрана, по крайней мере, непосредственно народом.

Он представляет квинтэссенцию буржуазного парламентаризма. Он весь занят политическими абстракциями и исключительными интересами наших правящих классов.

Избранный Федеральным Собранием, составленным таким образом, Федеральный Совет, в свою очередь, необходимо должен быть не только чуждым, но и враждебным чувству независимости, справедливости и свободы, которое живет в нашем народе. За исключением республиканских форм, которые остаются прежними, но которые только замаскировывают власть, которой он пользуется без всякого другого контроля, кроме контроля Федерального Собрания, в наиболее важных и наиболее деликатных делах Швейцарии, Федеральный Совет мало чем отличается от авторитарных правительств Европы. Он симпатизирует им и разделяет с ними их стремление к притеснению и угнетению.

Если народный контроль в кантональных делах чрезвычайно затруднителен, в федеральных делах он совершенно невозможен. Эти дела, впрочем, совершаются исключительно в высших официальных сферах, через голову нашего народа, так что большею частью этот последний их совершенно не знает.

В деле договора о выдаче, заключенного недавно с императорской Францией, в деле изгнания Мадзини, акта насилия, совершенного над княгиней Оболенской, угрозы выдачи г-жи Лимузэн и преследования Нечаева, за которым полиция всех кантонов гонится по приказу Федерального Совета, во всех этих делах, так близко касающихся нашего национального достоинства, нашего национального права и даже нашей национальной независимости, спрашивали ли мнения швейцарского народа? Если бы его спросили, дал ли бы он свое согласие на такие меры, которые противны всем нашим традициям свободы и гостеприимства и так злополучны для нашей чести? Конечно, нет. Каким же образом в стране которая называется демократической республикой и которой полагается управляться самостоятельно, федеральная власть может давать подобные распоряжения и ваша кантональная полиция их исполнять?

В этой виновата пресса, скажут нам, миссия которой заключается в том, чтобы заинтересовывать швейцарский народ во всех вопросах, могущих касаться его благосостояния, свободы или национальной независимости, и которая во всех этих случаях не исполнила своего долга. Это

¹⁾ В настоящее время, в некоторых кантонах члены Государственного Совета (их два в каждой кантоне, независимо от количества населения) избираются уже не Большим Советом, а самим народом. Впрочем, дело от этого идет не лучше.—Дж. Г.

верно, поведение прессы было плачевно. Но где причина этого? Причина заключается в том, что вся швейцарская пресса, аристократическая или радикальная,—буржуазная пресса и что за исключением нескольких газет, издаваемых рабочими организациями, у нас еще не существует народной прессы в собственном смысле слова. Было время, когда радикальная пресса гордилась, что она представляла стремления народа. Время это прошло. Радикальная пресса, также как и партия, имя которой она носит, представляет в настоящий момент лишь личное честолюбие своих главарей, которые хотели бы занять уже занятые должности и места по поговорке: „уходи с этого места, чтобы я сел на него“. Впрочем, давно уже радикализм отказался от своего революционного сумасбродства, как консервативная или аристократическая партия, со своей стороны, отказалась от всех отживших стремлений. Между двумя партиями собственно нет почти никакого различия и мы скоро увидим, что они сольются в одну партию, консервативную, партию буржуазного господства, оказывающую отчаянное сопротивление революционным и социалистическим стремлениям народа. Нужно ли удивляться после этого, что радикальная пресса не выполнила того, что она не считает больше своим долгом? Будем ей благодарны уже за то, что она открыто не приняла сторону правительства.

Но предположим, что тем или иным способом, путем прессы или какимнибудь другим путем, внимание населения одного или нескольких кантонов обращено на какуюнибудь меру, приказанную Федеральным Советом и приведенную в исполнение кантональными правительствами. Что оно может сделать, чтобы остановить приведение в исполнение этой меры? Ничего. Низвергнуть правительство? Вмешательство федеральных войск сумеет помешать ему в этом. Оно будет протестовать на своих народных собраниях? Но Федеральный Совет не имеет никаких дел с народными собраниями, он не признает других границ своей власти, кроме приказов, изданных федеральными Палатами. Но чтобы эти последние приняли сторону возмущенного населения, нужно чтобы такое же возмущение охватило, по крайней мере, половину кантонов Швейцарии. Чтобы свергнуть федеральную власть, Федеральный Совет и в том числе и Законодательные Палаты, нужно больше, чем восстание нескольких кантонов, нужна национальная революция в Швейцарии.

Мы видим, что для федеральной власти народный контроль не существует. Учреждение этой власти увенчало государственное здание республики, было смертью швейцарской свободы. Поэтому, что мы видим? консервативная или аристократическая партия во всех кантонах, после того, как она вела отчаянную войну против системы политической централизации, созданной в 1848 г. радикальной партией, начинает теперь совсем открыто присоединяться к ней. В настоящий момент, она горячо

отстаивает Федеральный Совет против Фрибургского Государственного Совета в деле г-жи Лимузэн. Что это означает?

Это просто доказывает, что аристократическая партия, наученная опытом, поняла, что радикальная партия, гораздо более консервативная и более правительственная, чем она сама, поставив федеральную власть выше автономий кантонов, создала великолепное орудие, не свободы, а правительства, всесильное средство, чтобы укрепить господство богатой буржуазии во всех кантонах и чтобы поставить спасительную преграду против угрожающих стремлений пролетариата.

Но, если система политической централизации, вместо того, чтобы увеличить сумму свободы, которой пользовалась Швейцария, стремится, наоборот, ее совсем уничтожить, то, может быть, она, по крайней мере, укрепила и увеличила независимость швейцарской республики по отношению к иностранным державам?

Нет, она ее значительно уменьшила. Пока кантоны были автономны, федеральная власть, если бы даже она и захотела каким-нибудь недостойным поступком заслужить благосклонное отношение к себе иностранной державы, она не имела никакого права, ни даже возможности это сделать. Она не могла ни заключать договоров о выдаче, ни приказывать кантональной полиции гнаться за политическими эмигрантами, ни заставлять кантоны выдавать их деспотам. Она не посмела бы требовать от Тессинского кантона выслать Мадзини, ни от Фрибургского кантона выдачи г-жи Лимузэн. Имея чрезвычайно ограниченную власть над кантональными правительствами, федеральное правительство, с другой стороны, не должно было отвечать за их поступки перед иностранными державами, и когда эти последние требовали от него чего-нибудь, оно обыкновенно ссылалось на конституцию и выставило свое бессилие. Кантоны были автономны, и оно не имело права им приказывать. Представители держав должны были сноситься непосредственно с кантональными правительствами и, когда дело шло о каком-нибудь политическом эмигранте, достаточно было, чтобы он переехал в соседний кантон и иностранный министр должен был начинать сначала свои хлопоты. Дело тянулось без конца: утомившись, дипломатия обыкновенно отказывалась от преследования. Право убежища, традиционное и священное право Швейцарии, оставалось нетронутым и никакое иностранное правительство не имело права быть в претензии за это на федеральное правительство, которое было сильно против всех, именно своим бессилием.

Теперь федеральная власть сильна. У нее есть неоспоримое право приказывать кантонам во всех международных делах; этим самым оно сделалось ответственным перед иностранной дипломатией. Эта последняя не имеет никаких дел с кантональными правительствами, так как она может отныне направлять свои требования федеральному правительству, которое, не имея больше возможности выставить свое бессилие, которое по консти-

туции не существует больше, должно или пойти навстречу требованию, которое ему предъявляют, или же, отстаивая свое право и чувство национального достоинства, единственным представителем которого оно теперь является перед всеми иностранными державами, дать отказ. Но, если в большинстве случаев оно не может, не совершив низости, согласиться на то, что от него требуют эти державы, нужно признать, с другой стороны, что его отказ спасая наше национальное достоинство, может подвергнуть республику большой опасности.

Таково трудное положение, какое конституция 1848 г. создала Федеральному Совету. Централизуя политическую ответственность нашей маленькой республики по отношению к крупным государствам Европы и этим самым значительно увеличивая ее, она не могла в то же время значительно усилить нашу военную мощь. Однако, это увеличение материальной силы было необходимо для того, чтобы Федеральный Совет мог с достоинством поддерживать новые права, которыми он был облечен. Напротив, хотя количество наших войск значительно увеличилось и, вообще, наша армия гораздо лучше теперь организована и дисциплинирована, чем это было в 1848 г., не подлежит сомнению, что наша сила сопротивления, единственная сила, какую может иметь такая маленькая республика, как наша, уменьшилась, и это по двум причинам: во первых, потому что военная мощь крупных государств увеличилась в гораздо большей пропорции, чем у нас; и во-вторых, и в особенности, потому что сила нашей национальной обороны гораздо более покоится на интенсивности республиканских чувств, которые живут в нашем народе и которые могут при случае поднять весь его, как одного человека, чем на искусственной организации наших регулярных войск; и потому еще, что следствием системы полицейской централизации, которой мы имеем счастье, пользоваться уже двадцать два года, является в Швейцарии, как и везде, уменьшение свободы и, стало быть, также медленное, но верное исчезновение той силы народной страсти и энергии, которая составляет истинную основу нашей национальной мощи, единственную гарантию нашей независимости.

Облеченный большой властью во внешней политике, но не обладающий значительной организованной силой, на которую он мог бы опереться, и слишком далекий от народа, по самой конституции своей, чтобы черпать в нем естественную силу, Федеральный Совет должен был бы по крайней мере, иметь в своей среде наиболее преданных, наиболее умных и наиболее энергичных патриотов Швейцарии. Тогда была бы еще некоторая вероятность, что он не совсем окажется неспособным справиться с своей трудной миссией. Но так как, в силу той же самой конституции, Федеральный Совет осужден быть ничем иным, как квинтэссенцией и высшей гарантией буржуазного консерватизма Швейцарии, есть причины опасаться, что в среде его всегда будет больше таких людей, как Серезоль

чем таких как Стэмпли¹⁾). Мы должны, стало быть, ожидать, что наша свобода, наше республиканское достоинство и наша национальная независимость будут с каждым днем уменьшаться.

Перед Швейцарией теперь стоит дилемма.

Она не может хотеть вернуться к прежнему режиму политической автономии кантонов, когда она была конфедерацией политически отдельных и независимых друг от друга государств. Восстановление подобной конституции имело бы неизбежным следствием обеднение Швейцарии, сразу остановило бы громадный экономический прогресс, который она совершила с тех пор как новая централистическая конституция опрокинула преграды, которые отделяли и изолировали друг от друга кантоны. Экономическая централизация составляет одно из существенных условий развития богатств, а эта централизация была бы невозможна, если бы не была уничтожена политическая автономия кантонов.

С другой стороны, двадцати двух летний опыт показывает нам, что политическая централизация также гибельна для Швейцарии. Она убивает ее свободу, подвергает опасности ее независимость, делает из нее любезного и услужливого жандарма всех могущественных деспотов Европы. Уменьшая свою моральную силу, она подвергает опасности свое материальное существование.

Что же делать тогда? Вернуться к политической автономии кантонов невозможно. Сохранить политическую централизацию нежелательно.

Поставленная таким образом дилемма имеет только одно решение: *уничтожение всякого политического государства, как кантонального так и федерального, превращение политической федерации в экономическую, национальную и между-народную федерацию.*

К этой цели явно идет теперь вся Европа.

А пока Швейцария, благодаря своей новой политической конституции, теряет с каждым днем свою независимость и свободу. 1869 и 1870 годы станут эпохой в истории нашего национального падения. Никогда ни одно швейцарское правительство не выказывало столько презрения к нашим республиканским чувствам и такую рабскую уступчивость нахальным и высокомерным требованиям великих иностранных держав как этот Федеральный Совет, который имеет в своей среде таких людей, как адвокат Серезоль.

Никогда также швейцарской народ не проявлял такого постыдного равнодушия к позорным актам, совершаемым от его имени.

¹⁾ Жак Стэмпли, бернский радикал, который, ставши членом и председателем Федерального Совета, проявил в 1858 г. большую энергию в конфликте с Пруссией, по поводу независимости Невшателя — Дж. Г.

Чтобы показать, как народ, уважающий себя и ревниво оберегающий свою национальную независимость и внутреннюю свободу, действует в подобных обстоятельствах, я закончу эту брошюру, цитируя два факта, происшедшие в Англии.

После покушения Орсини на Наполеона III, французское правительство осмелилось потребовать от Англии выдачи Бернара, французского политического эмигранта, обвиняемого в соучастии в покушении, и изгнания нескольких других французских граждан, между прочим Феликса Пиа, который в брошюре, выпущенной после покушения, прославлял царевубийство. Лорд Пальмерстон, который ухаживал за Наполеоном III, очень хотел удовлетворить его желание. Но он встретил непреодолимое препятствие со стороны английского закона, который ставит всех иностранцев под защиту публичного права и который делает из Англии для всех преследуемых какой бы то ни было страны и каким бы то ни было правительством страну верного убежища. Однако, лорд Пальмерстон был чрезвычайно популярным министром. Полагаясь на эту популярность и желая оказать услугу соседу своему другу Наполеону III, он решился предложить парламенту новый закон об иностранцах, который, если бы он был принят, лишил бы всех политических эмигрантов гарантии публичного права и отдал бы их на произвол правительства.

Но едва он успел предложить свой билль, как во всей Англии поднялась буря. Вся страна покрылась громадными митингами. Весь английский народ принял сторону иностранцев против своего любимого министра. При таком громадном взрыве народного негодования лорд Пальмерстон пал. Бернар, Феликс Пиа и многие другие были оправданы английским судом присяжных, и лондонские рабочие их приветствовали при единодушном одобрении всей Англии¹⁾.

Наполеон принужден был проглотить эту пилюлю. А вот другой факт:

В 1863 г. итальянское правительство, сговорившись с французским правительством, затеяло великолепное дело. Нужно было скомпрометировать, погубить великого итальянского патриота Мадзини. Для этого правительство Виктора Эммануэля послало в Лугано, где находился тогда Мадзини, некоего Грэко, итальянского полицейского агента. Грэко попросил свидания у Мадзини, чтобы объявить ему о своем намерении убить Наполеона III. Уведомленный своими друзьями, Мадзини сделал вид, что ничего не понимает. По приезде в Париж, Грэко был сейчас же арестован французской полицией и над ним был назначен суд. Он заявил, что его послал в Париж Мадзини, чтобы убить Наполеона III. На основании

¹⁾ В настоящее время дело изменилось: Англия посылает на каторжные работы итальянских и русских политических эмигрантов, осмелившихся напечатать апологию царевубийства—Дж. Г.

этого ложного обвинения французское правительство потребовало еще раз от правительства английской королевы выдачи или, по крайней мере, изгнания Мадзини. Но Мадзини уже выпустил брошюру, в которой он утверждал и доказывал, что Грэко был провокатор, которого послали к нему, чтобы завлечь его в гнусную западню. Это дело обсуждалось в парламенте, и вот, что сказал министр королевы, лорд Джон Рессель: „французское правительство утверждает, что Мадзини поручил Грэко убить императора. Но Мадзини утверждает, наоборот, что Грэко был подослан к нему обоими правительствами, чтобы скомпрометировать его. Между этими двумя противоречивыми утверждениями у нас не может быть колебания. Разумеется, мы должны верить Мадзини“.

Вот, как охраняют даже при монархическом строе, свободу, достоинство и независимость своей страны. А Швейцария республиканская страна, выступает жандармом то Италии, то Франции, то Пруссии, то русского царя.

Но, скажут, Англия—сильная страна, тогда как Швейцария, какой бы она ни была республикой, страна сравнительно очень слабая. Ее слабость советует ей уступать, так как, если бы она вздумала слишком противиться требованиям, даже несправедливым и даже оскорбительным, великих иностранных держав, она погибла бы.

Этот аргумент кажется весьма веским и, тем не менее, это совершенно неверно, ибо, именно благодаря своим постыдным уступкам и своей низкой услужливости, Швейцария погибнет.

На чем покоится в настоящее время независимость Швейцарии?

Три элемента составляют основу ее независимости. Во-первых, право людей, историческое право и вера в договоры, которые гарантирует нейтралитет Швейцарии,

Во-вторых, взаимная зависть соседних великих держав; Франции, Пруссии и Италии, из которых, правда, каждая хотела бы забрать себе частицу Швейцарии, но ни одна не хотела бы, чтобы две другие поделили ее между собою, если она не получит или не возмет себе, по крайней мере, такую же долю, как они.

Наконец, в-третьих, горячий патриотизм и республиканская энергия швейцарского народа.

Нужно ли доказывать, что первый элемент, уважение к договорам и правам, не имеет решительно никакого значения? Мы знаем, что мораль оказывает чрезвычайно слабое влияние на внутреннюю политику государств и никакого на их внешнюю политику. Высший закон государства, это сохранение во что бы то ни стало государства. А так как все государства, с тех пор, как они существуют на земле, осуждены на вечную борьбу: борьбу против собственного народа, который они притесняют и разоряют, борьбу против всех иностранных государств, из которых каждое сильно лишь при условии слабости другого; и так как они могут уцелеть в этой

борьбе, лишь увеличивая каждый день свою силу, как внутри страны, против своих собственных подданных, так и внешнюю—против соседних держав, то отсюда следует, что высший закон государства, это усиление своей мощи в ущерб внутренней свободы и внешней справедливости.

Такова, неприкрашенная, единственная мораль, единственная цель государства. Оно поклоняется самому Богу, лишь постольку, поскольку он является его исключительным Богом, санкцией его могущества и того, что оно называет своим правом, т. е. права существовать во что бы то ни стало и постоянно увеличиваться в ущерб всем другим государствам. Все, что служит этой цели, достойно, законно, добродетельно. Все, что вредит ей—преступно. Государственная мораль, стало быть, есть извращение человеческой справедливости, человеческой морали.

Эта трансцендентная, экстра-человеческая и этим самым противу—человеческая мораль государств не является плодом одной только испорченности людей, исполняющих государственные функции. Можно сказать скорее, что испорченность этих людей есть естественное, необходимое следствие института государств. Эта мораль лишь развитие основного принципа государства, неизбежное выражение сущности государства. Государство есть ничто иное, как отрицание человечества; это—ограниченная совокупность людей, которая хочет занять его место и хочет навязать ему себя; как высшую цель, которой все должно служить, все должно подчиняться.

Это было естественно и понятно во времена древности, когда самая идея человечества была неизвестна, когда каждый народ поклонялся своим исключительно национальным богам, которые ему давали право на жизнь и смерть всех других народов. Человеческое право существовало тогда лишь для граждан государства. Все, что было вне данного государства, было обречено на разграбление, избиение и рабство.

Теперь это уже не так. Идея человечества становится все сильнее и сильнее в цивилизованном мире и даже, благодаря развитию и недостающей легкости сообщения между людьми и благодаря влиянию, еще более материальному, чем моральному, цивилизации на варварские народы, она начинает проникать даже в сознание этих последних. Эта идея—невидимая сила века, с которой, теперешние силы, государства, должны считаться. Они не могут добровольно подчиниться ей, так как это подчинение было бы равносильно с их стороны самоубийству, ибо торжество человечества может осуществиться только путем разрушения государства. Но они не могут также отрицать ее и открыто выступить против нее, так как, сделавшись слишком сильной теперь, она может их убить.

При такой тяжелой альтернативе, у государств остается один выбор: лицемерие. Они делают вид, что уважают идею человечества, говорят и действуют только во имя ее и каждый день ее нарушают. Не нужно им ставить это в вину. Они не могут поступать иначе, так как их поло-

жение стало такое, что они могут уцелеть только в том случае, если будут лгать. У дипломатии нет другой миссии.

Поэтому, что мы видим? Всякий раз, когда какое нибудь государство хочет объявить войну другому государству, оно выпускает манифест, обращенный не только к своим собственным подданным, но ко всему миру, в котором оно, выставляя все право на своей стороне, силится доказать, что оно живет только интересами человечества и стремится только к миру и что, проникнутое этими благородными и мирными чувствами, оно долго страдало втихомолку, но что возрастающая вопиющая несправедливость его врага заставляет его, наконец, обнажить меч. Оно клянется в то же время, что не желая никаких материальных приобретений и не стремясь к увеличению своей территории, оно прекратит эту войну тотчас же после того, как будет восстановлена справедливость. Его противник отвечает подобным же манифестом, в котором, конечно, выставляет право, справедливость интересы человечества и все благородные чувства на своей стороне. Оба эти манифеста написаны одинаково красноречиво, оба пылают одинаковым благородным гневом, и как тот, так и другой искренни: т. е. оба бесстыдно лгут, и лишь одни глупцы попадают на их удочку.

Благоразумные люди, все, у кого есть некоторый политический опыт, не дают даже себе труда читать их. Наоборот, они стараются раскрыть, какие интересы толкают этих двух противников на войну и взвесить силы того и другого, чтобы угадать ее исход. Это доказывает, что моральные соображения не играют здесь никакой роли.

Право людей, договоры, регулирующие отношения между государствами, лишены всякой моральной санкции.

В каждую определенную эпоху истории они являются материальных выражением равновесия; вытекающего из взаимного антагонизма государств. Пока будут существовать государства, не будет мира. Будут только перемирия, более или менее длинные, перемирия, заключенные государствами, этими вечными воюющими сторонами. И как только какое нибудь государство почувствует себя достаточно сильным, чтобы нарушить это равновесие в свою пользу, оно не замедлит это сделать. Вся история доказывает нам это.

Было бы, стало быть, большим безумием с нашей стороны основывать нашу безопасность на вере, в договоры, которые гарантируют независимость и нейтралитет Швейцарии. Мы должны основать ее на более действительном фундаменте.

Антагонизм интересов и взаимная зависть государств, окружающих Швейцарию, представляют, правда, гораздо более серьезную гарантию, но еще очень недостаточную. Совершенно верно, что ни одно государство не может занести руку на Швейцарию, так чтобы другие государства не вмешались сейчас же, и можно быть уверенным, что раздел Швейцарии не может произойти в начале европейской войны, когда каждое государство,

еще неуверенное в своем успехе, в своих интересах будет скрывать свои честолюбивые виды. Но этот раздел может быть совершен в конце войны в пользу победивших государств, и даже в пользу побежденных, как вознаграждение за другие территории, которые эти последние могут быть припущены уступить. Такие случаи бывали.

Предположим, что великая война, которую нам предсказывают каждый день, разразится, наконец, между Францией, Италией и Австрией, с одной стороны, и Пруссией и Россией — с другой. Если победит Франция, кто может помешать ей завладеть романской Швейцарией и дать Тессин Италии? Если возьмет верх Пруссия, кто может помешать ей наложить руку на ту часть немецкой Швейцарии, на которую она так давно зарится, сохраняя право, если это ей покажется необходимым, за Францией занять, в вознаграждение, по крайней мере, часть романской Швейцарии и за Италией взять Тессинский кантон?

Конечно, уж эти государства не почувствуют вдруг признательность за жандармские услуги, оказанные им Федеральным Советом до войны. Нужно быть очень наивным, чтобы рассчитывать на признательность государства. Признательность, это чувство, а чувства не имеют ничего общего с политикой, у которой нет других побуждений, кроме собственных интересов. Мы должны хорошо проникнуться той идеей, что симпатии или антипатии, какие мы, можем внушить нашим страшным соседям, не могут иметь ни малейшего влияния на нашу национальную безопасность. Будут ли они любить нас и полны признательности к нам, если они найдут, что раздел Швейцарии возможен, они это сделают. Будут ли они нас ненавидеть всеми фибрами своей души, если они убеждены в невозможности раздела Швейцарии между собою, они нас не тронут. Следовательно, нам нужно создать эту невозможность. Но так как эта невозможность не может быть основана на дипломатических расчетах, она может существовать лишь в республиканской энергии швейцарского народа.

Таков единственный действительный и серьезный фундамент нашей безопасности, нашей свободы, нашей национальной независимости. Не тем, что мы будем затуманивать, сглаживать наши республиканские принципы, не тем, что мы будем трусливо просить деспотические державы продолжать позволять нам оставаться среди монархических государств единственной республикой в Европе, не тем, что мы будем стараться заслужить их доброе расположение своей постыдной услужливостью, мы спасем Швейцарию,—нет. Мы спасем ее, подняв высоко наше республиканское знамя, провозгласив наши принципы свободы, равенства и международной справедливости, став открыто центром пропаганды и внимания для народов и предметом уважения и ненависти для всех деспотов.

И во имя нашей национальной безопасности, также как и во имя нашего республиканского достоинства мы должны протестовать против гнусных, беспримерных, пагубных актов нашего Федерального Совета.

Речи и Статьи по Славянскому Вопросу.

Речи и Статьи по Славянскому Вопросу.

I.

РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ 29 НОЯБРЯ 1847 г. в ПАРИЖЕ НА БАНКЕТЕ В ГОДОВЩИНУ ПОЛЬСКОГО ВОССТАНИЯ 1830 г.¹⁾.

Господа,

Настоящая минута для меня очень торжественна. Я русский и прихожу на это многочисленное собрание, которое сошлось, чтоб праздновать годовщину польского восстания, и которого одно присутствие здесь есть уже род вызова, угроза и как бы проклятие, брошенное в лицо всем притеснителям Польши; — я прихожу на него, господа, одушевленный глубокою любовью и непоколебимым уважением к моему отечеству.

Мне не безызвестно, насколько Россия не популярна в Европе. Поляки смотрят на нее, не без основания, быть может, как на одну из главных причин их несчастий. Люди независимые в других странах видят в столь быстром развитии ее могущества опасность, постоянно растущую, для свободы народов. Повсюду имя русского является синонимом грубого угнетения и позорного рабства. Русский, во мнении Европы, есть ни что иное, как гнусное орудие завоевания в руках ненавистнейшего и опаснейшего деспотизма.

Господа, — не для того чтоб оправдывать Россию от преступлений, в которых ее обвиняют, не для того чтоб отрицать истину, взошел я на эту трибуну. Я не хочу пробовать невозможное. Истина становится более, чем когда либо, нужною для моего отечества.

¹⁾ По тексту, напечатанному в газете Флюкона и Ледрю-Роллэна *La Reforme* 1847, 14 Decembre.

И так, да — мы еще народ рабский! У нас нет свободы, нет достоинства человеческого. Мы живем под отвратительным деспотизмом, неограниченным в его капризах, неограниченным в действии. У нас нет никаких прав, никакого суда, никакой апелляции против произвола; мы не имеем ничего, что составляет достоинство и гордость народов. Нельзя вообразить положение более несчастное и более унижительное.

Извне наше положение не менее плачевно. Будучи пассивными исполнителями мысли, которая для нас чужая, воли, которая так же противна нашим интересам, как и нашей чести, мы страшны, ненавидимы, я хотел даже сказать, почти презираемы, потому что на нас повсюду смотрят, как на врагов цивилизации и человечества. Наши повелители пользуются нашими руками, для того чтоб сковать мир, чтоб поработить народы, и всякий успех их есть новый позор, прибавленный к нашей истории.

Не говоря о Польше, где с 1772 и особенно с 1831 г. мы позорим себя каждый день жестокими насилиями, гнусностями, которым нет имени, — какую только несчастную роль не заставляли нас играть в Германии, в Италии, в Испании, даже во Франции, повсюду, куда наше вредоносное влияние могло только проникнуть!

После 1815 г. было ли хоть одно благородное дело, которое бы мы не подавляли, хоть одно дурное дело, которое бы мы не поддерживали, хоть одна великая несправедливость политическая, в которой мы бы не были подстрекателями или соучастниками? — Вследствие фатальности, поистине плачевной, и гибельной прежде всего для самой России, эта Россия, с самого начала ее поднятия до чина первостепенного государства, стала поощрением к преступлению и угрозою всем святым интересам человечества, Благодаря этой ненавистной политике наших государей, русский, в официальном смысле слова, значит раб и палач!

Вы видите, господа, — я вполне сознаю свое положение; и все таки я являюсь здесь, как русский, — не несмотря на то, что я русский, но потому что я — русский. Я прихожу с глубоким чувством ответственности которая тяготеет на мне, равно как и на всех других личностях из моего отечества, так как честь личная нераздельна от чести национальной, без этой ответственности, без этого внутреннего союза между нациями, и их правительствами, между личностями и нациями, не было бы ни отечества, ни нации. (Аплодисменты).

Этой ответственности, солидарности в преступлении никогда, господа, я не чувствовал так больно, как в эту минуту; потому, что годовщина, которую вы сегодня празднуете, господа, для вас — великое воспоминание, воспоминание святого восстания и геройской борьбы, воспоминание об одной из прекраснейших эпох вашей национальной жизни. (Продолжительные аплодисменты). Вы все присутствовали при этом великолепном возбуждении народном, вы принимали участие в этой борьбе, вы были в ней деятелями и героями. В этой святой войне, казалось, вы развили, распространили,

истощили весь энтузиазм, какой великая душа польская содержит в себе! Подавленные численною силою вы, наконец, пали. Но воспоминание об этой эпохе, на веки памятной, осталось записанным пламенными буквами в ваших сердцах; вы все вышли возрожденные из этой войны: возрожденные и сильные, закаленные против искушений несчастья, против печалей изгнания, полные гордости за ваше прошлое, полные веры в ваше будущее!

Годовщина 29 ноября, господа, для вас не только великое воспоминание, но еще и залог будущего освобождения, будущего возврата вашего в ваше отечество (Аплод.).

Для меня, как для русского, это годовщина позора; да, — великого позора национального! Я говорю это громко: война 1831 г. была с нашей стороны войной безумной, преступной, братоубийственной. Это было не только несправедливое нападение на соседний народ, это было чудовищное покушение на свободу брата. Это было более, господа: со стороны моего отечества это было политическое самоубийство. (Аплод.). Эта война была предпринята в интересе деспотизма и ни коим образом не в интересе нации русской, — ибо эти два интереса абсолютно противоположны. Освобождение Польши было бы нашим спасением; если бы вы стали свободны, мы бы стали также; вы не могли бы ниспровергнуть пут царя польского, не поколебав трона императора России... (Аплод.). Мы дети одной породы, и наши судьбы нераздельны, наше дело должно быть общим. (Аплод.).

Вы это хорошо поняли, когда вы написали на ваших революционных знаменах эти русские слова: „за нашу и за вашу вольность“. Вы это хорошо поняли, когда, в самый критический момент борьбы, вся Варшава собралась в один день, под влиянием великой братской мысли отдать честь публично и торжественно нашим героям, нашим мученикам 1825 г., Пестелю, Рылееву, Муравьеву-Апостолу, Бестужеву-Рюмину и Каховскому (Аплод.), повешенным в Петербурге, за то что они были первые граждане России!

Ах, господа, вы ничем не пренебрегали, чтоб убедить нас в вашем расположении к нам, чтоб тронуть наши сердца, чтоб вытянуть нас из нашего фатального ослепления. Напрасные попытки! Потерянный труд! Солдаты царя, глухие к вашему призыву, не видя, не понимая ничего, мы пошли против вас, — и преступление совершено! Господа, из всех утешителей, из всех врагов нашей страны, наиболее заслужили ваши проклятия и вашу ненависть — мы.

И однакож я являюсь перед вами не только как русский кающийся. Я осмеливаюсь провозгласить в вашем присутствии мою любовь и мое почтение к моему отечеству. Я осмеливаюсь еще более, господа, осмеливаюсь пригласить вас на союз с Россией.

Я должен об'ясниться.

Около года тому назад,—я думаю, после убийств в Галиции,—польский дворянин, в очень красноречивом и сделавшимся известным письме, адресо-

ванном к князю Меттерниху, делал вам страшное предложение. Увлеченный, без сомнения, ненавистью, впрочем совершенно законною, против австрийцев, он предлагал вам ни более, ни менее, как подчиниться царю, отдаться ему телом и душою, вполне, без условий и оговорок; он вам советовал захотеть добровольно то, чему вы до тех пор подчинялись, и обещал вам в вознаграждение за это, что лишь только вы перестанете позировать как рабы, ваш господин, против своей воли, станет вашим братом. Вашим братом, господа, слышите ли вы?—император Николай вашим братом! (Нет, нет! Живое движение).

Угнетателя, врага самого ожесточенного, врага личного Польши, палача стольких жертв (браво!...) похитителя вашей свободы, того, кто вас преследует с такою адскою настойчивостью, столько же по ненависти и инстинкту, как и из политики, — вы приняли-б за брата? (Нет! нет!).

Всякий из вас предпочел бы видеть гибель Польши, чем согласиться на такой чудовищный союз. (Удвоенные браво). Но допустите на мгновение это невозможное предположение. Знаете ли, какое было бы самое верное средство для вас нанести вред России? Это было бы подчиниться царю. Он нашел бы в этом освящение для своей политики и такую силу, которую отныне ничто бы не могло остановить. Горе нам было бы, еслиб эта антинациональная политика воспребладала над всеми препятствиями, которые еще противятся ее полному осуществлению! И первое, самое большое препятствие, это, бесспорно, Польша, это отчаянное сопротивление этого геройского народа, который спасает нас, борясь с нами. (Шумные аплодисменты).

Да,—потому что вы враги императора Николая, враги России официальной. вы натурально, даже того не желая, друзья народа русского (Аплод.).

Я знаю, в Европе вообще думают, что мы с нашим правительством составляем нераздельное целое, что мы чувствуем себя очень счастливыми под управлением Николая, что он и его система, притеснительная внутри, и наступательная вне, прекрасно выражают ваш национальный дух.

Все это неправда.

Нет, господа, народ русский не чувствует себя счастливым! Я говорю это с радостью, с гордостью. Потому что, если бы счастье было возможно для него в той мерзости, в которую он погружен, это был бы самый подлый, самый гнусный народ в мире. Нами тоже управляет иностранная рука, монарх немецкого происхождения, который не поймет никогда ни нужд, ни характера русского народа и правление которого, странная смесь монгольской грубости и прусского педантизма, совершенно исключает национальный элемент. Таким образом, лишенные политических прав, мы не имеем даже той свободы натуральной,—патриархальной, так сказать,—которую пользуются народы наименее цивилизованные и которая позволяет, по

крайней мере, человеку отдохнуть сердцем в родной среде и отдаться вполне инстинктам своего племени. Мы не имеем ничего этого; никакой жест натуральный, никакое свободное движение нам не дозволено. Нам почти запрещено жить, потому что всякая жизнь предполагает известную зависимость, а мы только бездушные колеса в этой чудовищной машине притеснения и завоевания, которую называют русской империей. Но, господа, — предположите, что у машины есть душа и, быть может, вы тогда составите себе понятие об огромности наших страданий. Мы не избавлены ни от какого стыда, ни от какой муки и мы имеем все несчастья Польши без ее чести.

Без ее чести, сказал я, и я настаиваю на этом выражении для всего, что есть правительственного, официального, политического в России.

Нация слабая, истощенная, могла бы нуждаться во лжи, для поддержания жалких остатков существования, которое угасает. Но Россия не в таком положении, слава богу! Природа этого народа попорчена только на поверхности: сильная, могучая и молодая, — ей только надо опрокинуть препятствие, которым смеют ее окружать, — чтоб показаться во всей первобытной красоте, чтоб развить все свои неведомые сокровища, чтоб показать наконец всему свету, что русский народ имеет право на существование не во имя грубой силы, как думают обыкновенно, но во имя всего, что есть наиболее благородного, наиболее священного в жизни народов, во имя человечности, во имя свободы.

Господа, Россия не только несчастна, но и недовольна, — терпение ее готово истощиться. Знаете-ли вы, что говорится на ухо даже при дворе в Петербурге? Знаете ли, что думают приближенные, фавориты, даже министры и литераторы? Что царствование Николая похоже на царствование Людовика XV. Все предчувствуют грозу, — грозу близкую, ужасную, которая пугает многих, но которую нация призывает с радостью. (Шумные аплод.).

Внутренние дела страны идут ужасно дурно. Это полная анархия со всеми видимостями порядка. Под внешностью иерархического формализма, крайне строгого, скрываются отвратительные раны; наша администрация, наша юстиция, наши финансы, все это одна ложь; ложь, чтоб обмануть заграничное мнение, ложь чтоб усыпить чувство опасения и сознание императора, который поддается ей тем охотнее, что действительное положение дел его пугает. Это, наконец, организация на большую руку, организация, так сказать, обдуманная и ученая, несправедливости, варварства и грабежа, — потому что все слуги царя, начиная от тех, которые занимают наивысшие должности и оканчивая самыми мелкими уездными чиновниками разоряют, обкрадывают страну, совершают несправедливости, самые вопиющие, самые отвратительные насилия, без малейшего стыда, без малейшего страха, публично, среди белого дня, с нахальством и грубостью беспримерными, не да-

вая себе даже труда скрывать свои преступления перед негодованием публики,— настолько они уверены в своей безнаказанности.

Император Николай принимает иногда вид, будто он хочет остановить рост этой страшной испорченности, но как может он устранить зло, которого главная причина в нем самом, в самой основе его управления, — и вот где тайна его глубокого бессилия к добру. Потому что правительство, которое кажется таким импозантным извне, внутри страны бессильно: ничто ему не удается, все преобразования, которые оно предпринимает, тотчас же обращаются в ничто. Имея опорой своей только две самые гнусные страсти человеческого сердца: продажность и страх, действуя вне всех национальных инстинктов, вне всех интересов, всех полезных сил страны, правительство России ослабляет себя каждый день своим собственным действием и расстраивает себя страшным образом. Оно волнуется, кидается с места на место, переменяет ежеминутно проекты и идеи, оно предпринимает сразу многое, но не осуществляет ничего. У него есть одна только сила — вредить, и ею оно пользуется широко, как будто оно хочет само ускорить минуту своей гибели. Чуждое и враждебное стране, посреди самой этой страны, оно отмечено для падения.

Враги его повсюду: во первых, эта страшная масса крестьян, которые не ждут более от императора своего освобождения и бунты которых с каждым днем умножаются, показывают, что они устали ждать; далее, класс промежуточный, очень многочисленный и состоящий из элементов очень различных, класс беспокойный, буйственный, который бросится со страстью в первое революционное движение.

Наконец и особенно, это бесчисленная армия, которая покрывает все пространство империи. Николай смотрит, правда, на своих солдат, как на своих лучших друзей, как на самую твердую опору трона: но это странная иллюзия, которая не преминет сделаться для него гибельною. Как! Опора трона, эти люди, вышедшие из рядов народа, так глубоко несчастного, люди, которых отрывают грубо от их семейств, которых ловят, как диких зверей, по лесам, где они прячутся, часто изуродовавши сами себя, чтоб избавиться от рекрутства, — которых ведут закованными в полки их, где они приговорены в течении 20 лет, т. е. всю жизнь человека, к одному существованию, где их бьют каждый день, угнетают ежедневно новыми тяжелыми работами и где они постоянно умирают с голода! Чем были бы они, великий боже! эти русские солдаты, если бы посреди таких пыток, они могли любить ту руку, которая их мучит! Верьте мне, господа, наши солдаты самые опасные враги теперешнего порядка вещей, — особенно гвардейские, которые, видя зло у источника его, не могут обманываться на счет единственной причины всех их страданий. Наши солдаты — это сам народ, но еще более недовольный, это народ совершенно разочарованный, вооруженный, привыкший к дисциплине и к общему действию. Хотите ли доказательства? Во всех последних бунтах крестьянских отпущные солдаты

играли главную роль. Чтоб окончить этот обзор врагов правительства в России, я должен, наконец, сказать, господа, что в дворянской молодежи есть много людей образованных, великодушных, патриотов, которые краснеют от стыда и ужаса нашего положения, которые оскорбляются чувствовать себя рабами, которые все питают против императора и его правительства неугасимую ненависть. Ах, верьте мне право, элементов революционных достаточно в России! Она оживляется, она волнуется, она считает свои силы, она узнает себя, сосредоточивается, — и минута не далека, когда буря, великая буря, ваше общее спасение, поднимется! (Продолжительные аплод.)

Господа, — я вам предлагаю союз от имени этого нового общества, этой настоящей нации русской! (Аплодисменты).

Мысль о революционном союзе между Польшей и Россией не нова. Она уже зародилась, как вы знаете, между заговорщиками обеих стран в 1824 г.

Господа, воспоминания, которые я вызвал сейчас, наполняют мою душу гордостью. Русские заговорщики первые тогда переступили через пропасть, которая, казалось, нас разделяла. Слушаясь только своего патриотизма, не обращая внимания на предубеждения, которые вы естественно чувствовали по отношению ко всему, что носило имя русское, они обратились к вам первые, без недоверия, без задней мысли; они предложили вам общее действие против нашего общего врага, против нашего единственного врага. (Аплод.)

Вы простите мне, господа, эту минуту невольной гордости. Русский который любит свое отечество, не может холодно говорить об этих людях; они наша самая чистая слава — и я счастлив, что могу провозгласить это посреди этого большого и благородного собрания, посреди этого польского собрания. (Аплод.) — Они наши святые, наши герои, мученики нашей свободы, пророки нашего будущего. (Аплод.) С высоты своих виселиц, из глубины Сибири, где они стонут до сих пор, они были нашим спасением, нашим светом, источником всех наших добрых вдохновений, нашею охраною против проклятых влияний деспотизма, нашим доказательством перед вами и перед всем миром, что Россия содержит в себе все элементы свободы и истинного величия! Стыд, стыд тому из нас, кто не признает этого! (Шумные аплод.)

Господа, — призывая их великие имена, опираясь на их могучий авторитет, я являюсь перед вами, как брат, — и вы меня не оттолкнете. (Нет! нет!).

Я не уполномочен формально говорить вам так; но без малейшей суетной претензии я чувствую, что в эту торжественную минуту моими устами говорит вам сама нация. (Аплод.) Я не единственный в России, который любит Польшу и который питает к ней чувство горячего удивления, страстную горячность, глубокое чувство, смешанное с покаянием и надеждой, которое я никогда не смогу вам передать. Друзья, известные и неизвестные,

которые разделяют мои симпатии, мои мнения, многочисленны (аплод.), и мне было бы легко доказать это вам, называя вам факты и имена, если бы я не боялся бесполезно скомпрометировать многие лица. От имени их, господа, от имени всего, что есть живого и благородного в моей стране, протягиваю я вам братскую руку. (Живые аплод.). Прикованные друг к другу судьбою, фатальною, неизбежною, долгою и драматическою историей, печальные последствия которой мы теперь терпим, наши страны долго взаимно ненавидели одна другую. Но час примирения пробил: пора уже нашим разногласиям окончиться. (Аплод.).

Наши преступления перед вами велики! Вам надо много простить нам! Но наше раскаяние не менее велико, и мы чувствуем в себе силу доброй воли, которая сумеет исправить все зло нами нанесенное, и забыть прошлое. Тогда наша вражда заменится любовью, любовью тем более пламенною, чем больше ваша вражда была неугасимою (Живое согласие).

Пока мы оставались разделенными, мы взаимно парализовали друг друга. Ничто не сможет противиться нашему общему действию.

Примирение России и Польши — дело огромное и достойное того, чтоб ему отдаться всецело. Это—увольнение 60-ти миллионов душ, это освобождение всех славянских народов, которые стонут под игом иностранным, это, наконец, падение, окончательное падение Деспотизма в Европе. (Аплод.).

Да наступит же великий день примирения, — день, когда русские, соединенные с вами одинаковыми чувствами, сражаясь за ту же цель и против общего врага, получат право запеть вместе с вами национальную песню польскую, гимн славянской свободы „Jeszcze Polska nie zginela!"

II.

ВОЗЗВАНИЕ К СЛАВЯНАМ *).

(1848 г.).

Братья!

Решительный час пробил. Дело идет о том, чтобы открыто и отважно решить, чью сторону взять: сторону ли развалины мира, чтобы поддержать ее еще на короткое мгновение, или сторону нового мира, которого заря занимается, который принадлежит будущим поколениям и которому принадлежат будущие поколения. Для вас дело идет о том, ваша ли будет молодая будущность, или вы еще раз хотите впасть на целые века в могилу бессилия, во тьму тщетных надежд, в проклятие рабства. От вашего выбора зависит, удастся ли и остальным народам, стремящимся к освобождению, достичь цели быстрым и безостановочным шагом, или же эта цель, если она и не может никогда исчезнуть, то все же должна опять отодвигаться в необозримую даль. На вас обращены глаза всех, полные ожидания. На том, какой будет ваш выбор, покоится решение ближайшей и дальнейшей судьбы мира. Решайтесь что вам выбрать, — спасение себе или гибель, быть ли вам благословением или проклятием мира. Этот выбор лежит перед вами, — выбирайте!

Мир разделен на два стана. Между ними не проложено никакой средней дороги. И ни одна часть не может безнаказанно отделиться от великого неразрывного союза, в котором стоят все, кто преследует одинаковую цель, и кто все вместе должны победить или покориться.

Мир разделен на два стана. Здесь *революция*, там *контр-революция*, — вот лозунги. На один из них должен решиться каждый, и мы, и вы, братья, должны решиться.

*) Auffruf an die Slaven. Von einem russischen Patrioten Michael Bakunin. Mitglied des Slavenkongresses in Prag. Koethen. Selbstverlag des Verfassers. 1848.

Средней дороги нет. Те, которые ее указывают и прославляют, или обманутые, или обманщики.

Обмануты, если верят в ложь, будто можно вернее всего проскользнуть к цели, уступая понемножку обоим борющимся партиям, чтобы успокоить обе и помешать взрыву необходимой открытой битвы между ними.

Обманщики, если хотят уверить вас, будто вы, по примеру хитрых дипломатов, должны стать вне обоих лагерей, чтобы, улучивши время, примкнуть к сильнейшему и при его помощи счастливо обделать ваше собственное дело.

Братья! не доверяйте дипломатическим уловкам. Поляки уже бросились в гибель, они столкнут и вас туда.

Что говорит вам дипломатическая хитрость? Она говорит вам, что стоит только вам воспользоваться ею, как средством, и вы победите врагов. Но не видите ли вы, что пока вы ею воспользуетесь, она, вместо того, употребит вас, чтобы, при вашей помощи, разбить на голову своего теперешнего врага, а потом, справившись с ним, поработит и вас, стоящих одиноко и потому тоже слишком слабых для сопротивления? Разве вы не видите, что постыдная хитрость контр-революции именно в том и заключается, что она старается разрознить передовых бойцов молодого, нового, времени, прилагая старое правило всех угнетателей: „разделяй и господствуй“, чтобы их по одиночке поработить и заковать в оковы?

Чего же иного можете вы от нее надеяться? Разве может дипломатия отречься от своей матери, которая есть ничто иное, как самая старая деспотия? Может ли она стараться помогать победе каких либо интересов, кроме тех, благодаря которым она сама началась? Может ли она работать для рождения того нового быта, который есть ее проклятие и смерть? Может ли она быть союзницей той демонической силы, мир обновляющей, которая *нам* братья, прокладывает дорогу, чтобы мы могуче перелили нашу внутреннюю полноту, как свежие весенние соки в жилы окоченелой европейской народной жизни? Никогда! Взгляните только твёрдо и пронизательно в искаженное злостью лицо вероломной дипломатии и вы проникнетесь страхом и отвращением от ее своднических пригонок и с ужасом и омерзением оттолкнете ее прочь от себя. Никогда не выйдет правда из лжи, великое из посредственности, и свобода завоевывается только свободой.

Ваш гнев был справедлив; справедливо дышали вы местью против той достойной проклятия немецкой политики, которая замышляла только вашу гибель, которая веками держала вас в рабстве, которая в Франкфурте говорила с презрением о ваших справедливых надеждах и требованиях, которая в Вене злорадно ликовала над поражением нашего, полного жизни пражского с'езда! Но не заблуждайтесь, присмотритесь! Эта политика, которую мы осуждаем, которую мы проклинаяем и которой мы страшно отомстим, не есть политика будущего немецкого народа,

не есть политика немецкой революции, немецкой демократии; это политика старой государственности, политика княжеского права, аристократов и привилегированных всякого рода, политика камарилей и генералов, управляемых ими, как машины, Радецких, Виндишгрецев, Врангелей, это политика, для погибели которой мы все, юношески оживленные современным духом, отважно и радостно должны схватить протянутые руки демократов всех стран, и, в тесном союзе с ними, должны сражаться за их и наше общее спасение, за их и нашу общую будущность.

То что делают реакционеры для своего неправого дела, неужели мы, не сделаем для нашего правого дела?

Если реакция устраивает заговоры во всей Европе, если она при помощи принятой организации действует соединенно и сплоченно, то и революция должна создать себе соответственную силу действия. Священная обязанность нас всех, борцов революции, демократов *всех* стран, соединить наши силы, постараться друг друга понять и сплотиться вместе, для того, чтобы в союзе мы могли отразить и победить врагов нашей общей свободы.

Именно первым признаком жизни революции, — вы это знаете, — был крик ненависти против старой политики угнетения, крик сочувствия и любви ко всем угнетенным национальностям. Народы, которых так долго водила на аркане лицемерная и предательская дипломатия, почувствовали, наконец, позор, каким старая дипломатия покрыла человечество, и признали, что благо наций не обеспеченно, пока хоть один народ в Европе живет под гнетом; что свобода народов, для того, чтобы укорениться где-либо, должна укорениться везде, и в первый раз действительно потребовали они, словно из одних уст, свободы для всех людей, для всех народов, свободу истинную и цельную, свободу без условий, без исключений, без границ. „Прочь угнетателей!“ раздалось словно из одних уст, „да здравствуют угнетенные, поляки, итальянцы и все! Не надо более завоевательных войн, еще только одно последнее сражение революции для окончательного освобождения всех народов! Долой искусственные границы, наильно проведенные конгрессами деспотов, ради так называемых исторических, географических, коммерческих, стратегических необходимостей! Не должно быть никаких других границ разделения между нациями, кроме границ, согласных с природою, проведенных справедливо в духе демократии, которые начертает верховная воля самих народов на основании их национальных особенностей!“ Так пролетел клич по всем народам.

Вы внимаете, братья, кличу величественному, полному предчувствия? Помните, как в Вене вы внимали ему, когда, сражаясь с другими за спасение всех, вы, между немецкими баррикадами, воздвигли большую славянскую баррикаду со знаменем *нашей будущей свободы*.

Велико и прекрасно было это движение, которое прошло всю Европу. Как поднялись, трепеща от радости, тронутые дуновением революции, итальянцы, поляки, славяне, немцы, мадьяры, валахи, те что в Австрии, и те,

что в Турции, словом все, которые до тех пор стонали в домашних цепях или под чужим игом! Самые дерзкие мечты исполнились. Народы видели, как с могилы их независимости свалился, словно сдвинутый, невидимой рукой, тяжелый камень, давящий ее целые столетия, волшебная печать была сломана, и дракон, стороживший болезненное оцепенение стольких заживо погребенных наций, лежал там убитый и хрипящий. Занялась красная заря весны народов. Старая государственная политика погрузилась в ничто: новая политика вступила в жизнь, политика народов. Революция объявила разрушенными деспотические государства, — объявила разрушенную прусскую державу, признавши доставшиеся ей польские части края отделенными, — объявила разрушенную Австрию, это чудовище, сплетенное хитростью, насилием и преступлением из самых разнородных национальностей, — объявила разрушенной турецкую державу, в которой едва семьсот тысяч османов попирали ногами двенадцатимиллионное население славян, валахов и греков, — наконец, объявила разрушенным последнее утешение деспотов, последнее жульническое укрепление разбитой на голову дипломатии, русскую державу, чтобы три порабощенные ею нации, великороссы, малороссы и поляки, предоставленные самим себе, могли подать свободную руку остальным славянским братьям. Так был разрушен, опрокинут и за ново устроен весь север и восток Европы, Италия освобождена, и конечной целью всего поставлена была — **ВСЕОБЩАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ РЕСПУБЛИК.**

Тогда мы вместе, как братья, вступили в Прагу: представители всех славянских народностей встретились, наконец, как братья, после долгой разлуки, и с восторгом говорили друг другу, что отныне наши дороги не должны расходиться. Живо чувствуя общую связь истории и крови, клялись мы не допускать более, чтобы наши судьбы шли розно. Проклиная политику, жертвой которой мы были так долго, мы сами себе создали право, основанное на совершенной независимости, и обещали, что она отныне будет общей всем славянским народам. Мы признали за чехами и хорватами самостоятельность. Мы решительно отразили нахальные притязания франкфуртского парламента, этого сборища, ставшего уже теперь посмешищем всей Европы, которое хотело онемечить нас, и в то же время мы протянули братскую руку немецкому народу демократической Германии. Во имя тех из нас, которые живут в Венгрии, мы предложили братский союз мадьярам, бешеным врагам нашей расы, им, которые, едва насчитывая четыре миллиона, осмеливались стараться наложить свое иго на восемь миллионов славян. И тех наших братьев, которые вздыхали под гнетом турок, не забыли мы в нашем союзе освобождения. Мы торжественно прокляли ту преступную политику, которая трижды разорвала Польшу и еще раз хочет разорвать ее печальные остатки, и выразили живую надежду, что воскресение этого благородного, святого народа-мученика скоро подаст нам знак к освобождению нас всех от старого рабства. Наконец, к великому русскому народу,

тому народу, который один из всех славянских народов сумел удержать в полной мере свою политически-национальную самостоятельность, мы обратились с воззванием, с убеждением помнить о том, что он сам слишком хорошо знает, что вся это самостоятельность и величие есть ничто, пока народ сам в себе не освободится и пока он терпит, чтобы его сила была чумой для несчастной Польши и вечно угрожающим бичем для всей европейской цивилизации. Все это мы высказали и, вместе со всеми демократами всех народов, потребовали: СВОБОДЫ, РАВЕНСТВА И БРАТСТВА ВСЕХ НАЦИЙ, в среде которых, свободные, как они, и в братских отношениях со всеми, славянские народы должны завязать между собою тесный братский союз для образования одного большого союзного тела.

Мы чувствовали тогда себя уверенными в нашем деле; в его успехе нельзя было сомневаться, если бы только мы стояли при нем до конца; потому что справедливость и, человечность были всецело на нашей стороне, на стороне же наших врагов ничего, кроме несправедливости и варварства. Не пустым грезам отдавались мы; нет, это были мысли о единственно верной и необходимой политике, политике самоосвобождения, революции, единого действия вместе с народными восстаниями всех стран, в братском единении с демократией всего мира. Мы отбросили противную политику, которая вам предлагалась, политику лицемерия и предательства, политику дипломатов, государственных умников, которые преподавали вам мудрость, будто вы должны искать избавления в восстановлении самодержавной власти и в спасении Австрии, потому будто бы, что если вы опять возвратите силу императору, то вы, австрийские славяне, образуете независимое славянское государство и будете свободны при помощи восстановленной вами императорской власти. Что нас эта политика может свратить, в этом была в Праге единственная опасность, от которой я тогда предостерегал на с'езде. Тогда мы избежали опасности, и партия государственных политиков уступила перед нашим воодушевлением, общим делом всех славян и всех свободных наций.

Но что же тогда сделали рабы отвергнутой нами государственной политики? Они были благосклонны к нашему с'езду, пока надеялись воспользоваться им для своих дипломатических целей и для подавления немецкой и мадьярской революции в Австрии, но тотчас начали свирепствовать против него, как только увидели, что он обращается против их планов и хочет служить не интересам государственной политики, а чистым интересам национальной свободы и братства народов. Теперь они достигли того, что разбили наш с'езд и допустили Виндишгреца бомбардировать Прагу. Напрасно было пятидневное геройское сопротивление вдохновенного народа; город принужден был покориться, преданный теми, кто был призван защищать его, и славянский с'езд был распушен. Но мы еще ничего не потеряли. С сердцами, волнуемыми верой в наше святое и правое дело, разошлись мы, и рассеялись, чтобы повсеместно работать для него и везде

подготавливать почву для нашего будущего освобождения; мы желали друг другу увидеться снова в великий день нашего общего славянского восстания.

Деспоты дрожали, несмотря на их кажущуюся победу в Праге. Они дрожали от страха, что мы бесстрашно исполним те клятвы, которые мы произнесли, пылая мстью, перед развалинами и горами трупов, залитые кровью наших храбрых братьев, под громом бомб, которыми Вивдишгрец, палач вашей свободы, осыпал золотую Прагу. Они дрожали перед восстанием славянских народов, которых прежде они мечтали водить на помочах, как послушных детей.

Что сделали тогда деспоты? Они говорили между собою: восстание славян грозит нам гибелью; поищем средств, чтобы превратить славянское восстание в якорь нашего спасения! Какие же средства? Вот они: натравим славян на немцев, а немцев на славян! Собьем с толку этих еще неопытных в политике детей разными кажущимися доводами и обаятельными обманами, пусть они воображают себя мудрецами, ступая по дороге, ведущей к нашей цели. Вызовем для этого опять всю старую закоренелую ненависть, все справедливые и несправедливые предрассудки, все едва поколебленные причины взаимного подозрения и недоверия, шепнем им это на ухо, чтобы отравить сердце, возмутить умы, ослепить души и распалить их друг против друга! Мы раздуем в неугасимый пожар этот зажженный нами огонь льстивыми обещаниями с нашей стороны, которых мы никогда не исполним.

Так они говорили, так они и сделали. И врагам свободы, врагам справедливости, мастерам предательской государственной политики удалось на одно мгновение заморочить наши головы, братья! Вы допустили опутать себя на одну минуту изобретением этих лукавых политиков, которое состояло в том, будто дело революции все равно, что дело тех немецких пожирателей страны в парламентах, на которых обращен ваш справедливый гнев, все равно, что дело ваших врагов и притеснителей, властолюбивых мадьяр, и вы, сбитые с толку, обратились против основы вашей собственной и нашей общей свободы; *против революции*, и пристали к своему заклятому опаснейшему врагу, к династической политике и деспотизму: Нашего, же естественного друга и союзника, демократию, вы оставили в Вене страдать и нести наказание за нас. Славяне! как прежде грешила против вас старая немецкая государственная политика в Вене, так грешила подогретая деспотическая система во Франкфурте. Правда, славяне мстили в Вене за совершенные против них преступления, но они выместили не на преступниках, а именно на природенных судьях преступника и естественных союзниках мстителя. И партия государственных политиков, уступившая в венском парламенте в решительный час опасности, когда только одни народные интересы должны были считаться и все должны были соединиться, эта партия старалась потом уверить вас в Праге, что последнее венское

восстание вовсе не было народным движением, а было сделано мадьярскими деньгами. Но, братья, кто из нас был бы так жалок, так глуп, чтобы доверить этим бабым сказкам, будто революции делаются деньгами? Нет, деньги всего мира не могут подвинуть народ к возмущению, ни один народ не имеет такой скверной молодежи, которая бы дала себя подкупить. Императорская австрийская государственная политика, — говорила вам еще эта партия государственных политиков, — это враг ваших врагов, так как она враг разбойничьей мадьярщины, то она и враг немецины, пожирающей страны! Ложь! Не видите ли вы, что австрийская государственная политика идет рука об руку с политикой центральной власти во Франкфурте, с политикой угнетения во что бы то ни стало и подавления всякой свободы? Правда, во Франкфурте, в этом фальшиво названном народном представительстве большинства, сидят такие жалкие, детски глупые люди, которые против воли действительной немецкой нации, только и мечтают о расширении немецкого владычества и о покорении всех ненемецких народов, живущих на так называемой немецкой земле. Но заблуждением и глупостью этих людей злоупотребляет центральная власть Германии, так же как австрийская государственная политика злоупотребляла доверчивостью одной части славян, чтобы посорить этот чуждый народ с его истинным немецким другом, с друзьями свободы, равенства и братства всех наций, с народом жаждущим свободы, с демократами Германии, со всеми теми, которым вы должны протянуть братскую руку, потому что они не ваши враги, а враги ваших врагов. Вы были бы свободны, так вас морочат эти государственные политики, — вы были бы свободны, если бы помогли Австрийской государственной политике победить ее врагов. Но какая ложь! Вена пала, — что же, вы видите какой свободой пользуетесь вы теперь, после этой ужасной катастрофы в Праге, видите, как дипломатия держит свои обещания; вы видите, какие горькие плоды приносит ее союзничество? Где свобода Праги? Ищите ее с фонарем!

Да, обман уже исчезает, вы опять пришли в себя, братья, вы опять прозрели. Что сделал Еллачич, вам это видно, так же как и те цели, которые он преследовал; теперь они уже ни для кого не тайна. Его первоначальная задача была защищать славянскую свободу против угнетающей политики господствующей партии мадьяр и помочь победить враждебную народу государственную политику, на которую работала эта партия при Кошуте. Вместо этого, он пошел в Вену и помог там победить народное восстание, демократию. Он изменил правой и святой цели, хорошему демократическому движению южных славян и продал их именно этой безбожной политике, ради ниспровержения которой возмущенные славянские племена доверили его представительству свою молодую буйную силу. Его призвание было поддерживать наше нуждающееся в помощи братское племя, словаков, силами доставленными ему южно-славянским восстанием. Презрев это святое призвание, он предпочел стать слугой австрийского

государства и повести свои войска против столицы империи, чтобы сделать из нее очаг деспотизма для всей Австрии, для всей Европы. Вместо того, чтобы работать для свободы всех народов, он работал для выкованного в Инсбруке и Вене, радостно принятого и поощренного в Потсдаме и санкционированного франкфуртской центральной властью, как и в Петербурге, заговора притеснителей народных, опустошителей городов, массовых убийц, старых деспотов.

Вы должны быть австрийцами, этого хочет государственная политика, этого хочет предатель Еллачич, который отважился провозгласить открыто, и громко эту политику, как спасение славян.

Вы должны быть австрийцами. Что значит быть австрийцами? Это значит: помогать деспотии ослаблять рознью и ненавистью каждую из разнообразных напиханных в Австрию народностей, чтобы, усилившись слабостью и взаимной ненавистью их, она наложила на всех их свое иго. Это значит сделать для деспотий возможной уловку, состоящую в том, чтобы помешать слиться свободно в нации людям, родным между собою по крови, языку и нравам, по великим историческим воспоминаниям и еще большим надеждам в будущем, чтобы оторвать от них куски и из этих оторванных и обессиленных отделением кусков, сковать одно искусственное, всякой природе противное, государственное целое, части которого гнулись бы легко под скипетром деспотии, так как они были бы слишком чужды и враждебны одна другой, чтобы вместе держаться и сопротивляться. Это значит, дать деспотии возможность возобновить старую игру, которая разорвала Польшу на куски, и продала один кусок одному, другой другому государству, и все еще продолжает разрывать тело этого прекрасного народа, чтобы задушить всякую надежду на возрождение Польши, если бы это было возможно. Это значит, оторвать от общего славянского дела, дело чехов, словаков, сербов, кроатов и всех других народов нашего племени, живущих под австрийским владычеством.

Вы должны быть австрийцами. Что же вы выиграете, братья, если, станете австрийцами?

Одно из двух: или австрийское государство, останется тем, чем оно есть, смесью народностей, которым будут даны из милости равные права, и вы будете долго посреди этого хаоса тем, чем были, низкими, бессильными, презираемыми рабами произвольного полка; смиренно и послушно покорными предписаниям, посылаемым вам из Вены, без свободы, без собственной силы, без влияния на развитие будущности всех соединенных славян, на общечеловеческую будущность.

Или же австрийскому государству только тем удастся утвердиться прочно как государству, что оно действительно сдержит свое притворное обещание, данное вам, и превратится совершенно в славянское государство. Но что же вам от этого? Будете ли вы велики и свободны в этом последнем, лучшем случае? Нет, вы тогда будете угнетателями наших братьев

братьев чужой национальности, деспотами итальянцев, мадьяр, немцев австрийских. Вы будете делать другим то, чего не хотите, чтобы с вами случилось. И вы сделаетесь опять рабами, рабами своей собственной деспотии; потому что никто не может обращать другого в рабство, не делаясь рабом сам: я, как русский, говорю это вам. Бы навлечете на себя ненависть не только тех, которых вы будете угнетать, но и всего свободолюбивого мира, ненависть, негодование, презрение и проклятие всех народов, и, наконец, погибните сами, как губители.

Скажите, на что вы можете опереться после того, как покроетесь позором тирании, когда придет день суда, когда та самая сила, которая толкает вас теперь на борьбу с вашими притеснителями, революция, встанет против вас и вы тогда, не только, как враги поработанных вами, во и как враги ваших собственных братьев по племени, от которых вы преступно отделились, для свободы которых вы ничего не сделали, которых бедствие вы помогли продлить,—когда вы, как враги народной свободы, как враги всего человеческого рода, будете стоять отвергнутые всем миром? Скажите, к чему будет ваша сила; если вы ее не там будете искать, где ее только и можно найти, а именно в святом единении, в общности всех славянских братьев на земле? Император ли Фердинанд ваша сила, это несчастное слабоумное создание, которое дает себя гонять с места на место женщинам и придворным и без воли дает себя делать палачем и убийцей тех, добрым отцем которых он себя называет, этот император, в груди которого, если бы даже это была грудь мужчины, не может жить никакое чувство к нашему национальному стремлению, к нашему спасению и будущности, так как что бы ни билось в этой груди, это не будет славянское сердце?—Или ваша сила в этой интригующей крамольной камарилье, которая только живет вашим ослеплением, и существование которой только и поддерживается ценою ненависти, возбужденной ею к вам во всех, кого она гнет вместе с вами в одно ярмо, которая пользуется вами для усмирения их, а их употребляет, чтобы не дать вам возгордиться, последнее утешение которой, если провалятся все ее хитрости, есть армия императора Николая, главы и стража всей народопредательской крамолы в Европе?—Или вы сами себе будете силой, вы, двенадцать миллионов славян, против целого мира противников и врагов, без симпатии и помощи отвергнутых и оставленных вами ваших братьев по племени в России и Польше, этих ваших естественных союзников из шестидесяти миллионов,—вы, которые уже теперь думаете, что не можете устоять сами, не опираясь на черножелтую камарилью и на ее государственные уловки?

Что выйдет из вас при такой обособленности и заброшенности? Ничего! Чем бы вы могли стать в союзе с вашими братьями? Громадной силой из восьмидесяти миллионов, сильным знаменем свободы, радостью и гордостью всего соединенного юношески пробужденного человечества.

Братья! я русский, я говорю вам как славянин. Я вам изложил

откровенно на с'езде в Праге мои намерения, чувства и мысли. Вы знаете, что я, как русский, вижу спасение моих земляков только в общности со всеми остальными братьями, в федерации свободных племенных союзов. Вы знаете, что я поставил задачей своей жизни стремление к этой великой и святой цели. Это дает мне право говорить с вами так, как я говорю теперь, потому что ваши обстоятельства вместе с тем и мои собственные, ваше дело есть наше, ваше спасение—наше спасение, ваш позор—наш позор, ваша гибель—наша гибель. От племени шестидесяти миллионов славян я обращаюсь к вам с речью, от имени шестидесяти миллионов ваших братьев, которые устали от долгого тяжелого рабства и которые, как только узнали о собрании Славянского с'езда, стали смотреть на него, как на избавителя и спасителя. Быть членом этого с'езда и принимать участие во всех советах и решениях, предпринятых для нашего общего спасения, я с своей стороны считаю за величайшую честь в своей жизни. Вы тоже признаете величие и силу того могучего племени, представителем которого я был на нашем общем совете и от имени которого взываю к вам теперь, я это знаю; я знаю, что вы с гордостью смотрите на народ, которому одному из всех славян удалось сохранить в целостности свою национальную независимость, что вы верите в его будущность, которая, наверное, будет опорой и силой славянства.

Но различайте хорошо, братья славяне! Если вы ждете спасения от России, то предметом вашего упования должна быть не поработанная холопская Россия со своим притеснителем и тираном, а возмущенная и вставшая для свободы Россия, сильный русский народ.

От имени этого народа говорю я вам, я, русский, *все наше спасение в революции и нигде более.*

Не в императоре Николае, не в его войсках, не в его могуществе и политике искать вам избавления и спасения, а в той России, которая свергнет эту императорскую Россию и сотрет ее с лица земли.

Верьте мне, указы царя, деспота России, не выражают наших чувств, наших желаний, нашей воли. Нет, и еще раз нет! Это искажение того, что живет в глубине нашего русского сердца. Наше племя глубоко чувствует срам и позор рабства, в котором держит его деспот; оно наибольший враг того, кого еще многие из вас считают истинным представителем русской народности, наибольший враг этого палача, этого мучителя и посрамителя его чести, Николая.

Ведь, кто же этот Николай? Славянин? Нет, голштинско-готторпский господин на славянском троне, тиран чужеземного происхождения! — Друг своего народа? Нет, расчетливый деспот, без сердца, без всякого чувства ко всему русскому, ко всему славянскому, без малейшего понятия о том, что тихо и скрыто кипит и клокочет в его народе. Защитник общеславянских интересов? Нет, настолько нет, что он ежедневно изменяет им и, страшное слово, „панславизм“ употребляет только, как угрожающее сред-

ство, чтобы при помощи его обеспечить свое влияние в Германии, которое немцы проклинают, и свое господство над немецкой политикой, которое гибель для немцев. Иметь силу в Германии, которой отдельные деспоты, его ученики и вместе почитатели, ползающие перед ним в пыли поклонники и обожатели его мудрости и силы, вот чего он ищет и добивается: Россия, славянство нужны ему только, как орудия для проведения его старой, насквозь немецкой и на Германию метящей, политики разделения и господства, которая состоит в том, что он предаёт славян при помощи неметчины для того, чтобы потом предать немцев при помощи преданного славянства. Как мало для него значит славянство, это вы видите из того, что он посылал свой высочайший похвальный лист Виндишгрецу, убийце славянски мыслящих славян в Праге, в знак благодарности ему за резню, произведенную над защитниками славянского дела! Вы видите это из того, как он давал поддержку южных славянам деньгами, оружием и войском, но не как славянам, восставшим для спасения всех нас, а только потому, что их восстание, по его расчету, должно было послужить на пользу его любимому детищу, австрийской деспотии, и только под условием, чтобы отделить их дело от польского дела! Вы видите это из того, что он держал наготове своих солдат; чтобы по первому знаку австрийской камарильи ворваться в Галицию! Вы видите это по тому, как он делает все, что только в его силах, чтобы помешать возрождению Польши, так как возрождение Польши было бы концом его силы.

Но его час пробил.

Я говорю вам еще раз: русский народ пресыщен и утомлен порабощением и позором, он устал служить жалким орудием достойной проклятия политики.

Братья, не обманывайтесь внешним видом, будто этот народ-великан до сих пор еще лежит скованный по всем членам железным волшебным сном! Я вам говорю: он спит уж не глубоко, он только тихо дремлет, он уже начал пробуждаться. Не обманывайтесь упованием Николая, его уверенностью в своих деспотических кознях, в верности его войска, в подчиненности масс, в ее вере в его силу.

Я вам говорю: эта вера везде пошатнулась, а удары кнута, лишения прав и имущества, ссылки в Сибирь и на Кавказ, все это плохие средства, чтобы оживить ее.

Я вам говорю: деспотические козни разбиваются все более и более о каменную грудь революционного духа, для отражения которого от русской земли, тиран, внутренне уже дрожащий, хотя наружно сохраняющий притворное спокойствие и твердость, напрасно выставляет на своих границах страшные пограничные войска и готовится даже выступить против него, духа революции, на прусской и австрийской земле; напрасно, говорю

я, потому что дух невидимо ступает вперед, и, словно азиатская холера, смеется над всякими пограничными стражами и заставами.

Я вам говорю: верность русского войска надломлена сочувствием славян к славянам, влечением русского сердца к братскому польскому сердцу. Да русское сердце обливается кровью от стыда и боли, что немецкие обладатели русского скипетра так жестоко предали братский славянский народ германским тиранам и так бесчестно разделили славянскую страну с германскими тиранами; оно обливается кровью, это русское сердце и возмущается ужасной судьбой этого геройского славянского племени, которое опередило нас всех по дороге свободы и пролило по капле свою драгоценную кровь в долгом мученичестве за нашу общую свободу, которое, однако, среди всяких унижений и терзаний не отступает и не устает, и окончательное восстановление которого в ряду народов подаст вам огненный сигнал, который, прорезывая тьму нашего рабства, поведет всех славян по пути к освобождению и спасению. Да, Польша, это стрела в русском теле; через униженную Польшу истекает кровью русская деспотия; крест, на котором она распинала мученика, будет ее собственным позорным столбом, у которого она кончит свою мерзкую жизнь. Николай это предчувствует, он знает это и потому все глубже и глубже запускает свои ястребиные когти в судорожные члены несчастного растерзанного польского тела, мучимый страхом и дрожащий перед возможностью, что эти бессмертные члены все же, наконец, соберутся и вновь соединятся в одно одушевленное тело, чтобы воздать давно уготованную, но не выполненную, ужасную месть своему и всеславянскому палачу. Его смертельно мучит проглоченный кусок этого величия, которого деспотизм никогда не переварит во внутренностях своей власти и великолепия. Он это чувствует и знает, но он только одному не хочет верить, что яд уже свирепствует по всем жилам и сосудам тела его власти, что его войско, солдаты и начальники, как только приходят в соприкосновение с польской народностью, тотчас чувствуют магическую силу этой святыни нашей национальности, освященной безмерными страданиями, этой скини и завета нашего освобождения, этого огненного и дымового столба, который день и ночь указывает нам дорогу через пустыню нашего рабства в обетованную землю свободы всех славян. Да, они чувствуют вместе с Польшей, они вдохновлены для Польши, они видят в спасении Польши свое собственное спасение, они уже не против Польши, а только за ее дело могут сражаться.

А подчиненность масс, — если ты и считаешь на нее, ослепленный царь, ты который так умен и хитер в мелочах, да на запутанных дорожках твоих низких хитростей, действующих чудесно только на старчески слабую Европу, ослепленный царь, ты строишь ва песке! Правда, крестьянский бунт в Галиции плох, потому что он обращается, питаемый и покровительствуемый тобою, против демократически настроенных, духом свободы проникнутых дворян; но он скрывает в своих недрах зародыш

новой, неожиданной силы, вулканический огонь, взрыв которого похоронит под горами лавы благоустроенные искусственные сады твоей дипломатии и господства, потрясет и истребит без следа в один миг твою власть, ослепленный царь. Крестьянский бунт в Галиции это ничто, но его огонь разгорается все больше на подземном огне и уже вырастает огромный кратер между крестьянскими массами чудовищной русской державы. Это демократия России, пламя которой пожрет державу и осветит всю Европу своим кровавым заревом. Чудеса революции встанут из глубины этого пламенного океана, Россия есть цель революции; ее наибольшая сила, — там развернется и там достигнет своего совершенства. Этой первобытной твердостью в железной настойчивости, с которой русский народ охранял свою внешнюю независимость при всех бурях, потрясавших славянский мир, он укрепит теперь для революции, чтобы добыть и удержать свою внутреннюю свободу. В Москве будет разбито рабство всех соединенных под русским скипетром славянских народов, а с ним вместе и все европейское рабство, и навеки будет схоронено в своем падении под своими собственными развалинами; высоко и прекрасно взойдет в Москве созвездие революции из моря крови и огня, и станет путеводной звездой для блага всего освобожденного человечества.

Встаньте же славянские братья! Вы, призвание которых в том, чтобы сражаться в передовых рядах, встаньте! Во имя миллионов, которые должны скоро дать главное сражение, во имя северных славян, которые когда-нибудь потребуют от вас строгого отчета, что вы сделали для нашего дела, во имя этого народа еще и еще раз зываю я к вам: *порвите с реакцией раз навсегда, порвите с дипломатией, порвите со всякой половинчатой и недостойной вас политикой и бросьтесь отважно и всецело в объятия революции!*

В ней все, — ваше пробуждение, ваше воскресение, ваша надежда, ваше спасение, ваша будущность! В ней и только в ней! Доверьтесь ей! Вы должны довериться, потому что, наверное, она не плохой союзник. Вам говорят: она уже пала под ударами контрреволюции. Это неправда. Оглянитесь, посмотрите на ее дело! Не изменилось ли все в европейском мире? Разве он не сделался вдруг хаосом, в котором те именно, которые стараются восстановить порядок старого мира, вносят только еще больше внутреннее замешательство своими созывами войск, своими бомбардировками и осадами, своими громко вопиющими о мести насилиями, своими бойнями и опустошениями? Разве не стала анархия постоянной и всякая попытка обуздать ее не бывает ли еще более анархической, чем первоначальная анархия? Оглянитесь вокруг:—революция везде. Она одна царит, она одна сильна. Новый дух со своей разрушающей, разлагающей силой вторгнулся бесповоротно в человечество и проникает общество до самых глубоких и темных слоев. И революция не успокоится, пока не разрушит окончательно одряхлевшего мира и не создаст нового, прекрасного. Поэтому

в ней и только в ней вся наша сила, мощь и верность победы. Только в ней жизнь, вне ее — смерть. Только тот, кто идет за ней и ведет ее дело, увидит свое дело победившим, потому что одна она раздаст все прекрасные военные награды; кто против нее, тот должен рано или поздно погибнуть и не увидит дня спасения. Она не терпит никакой середины, двойственности, заигрывания, немножко с ней, немножко с ее врагом, никакой колеблющейся, недоверчивой, лицемерной предупредительности; она требует, чтобы ей отдавались безусловно, откровенно, доверялись и принадлежали ей вполне. Она сила, она правда, она спасение нашего времени, она единственная практика, ведущая к добру и удаче; вне ее нет ума, мудрости, политики; она одна ум, мудрость, политика и все, что ведет к цели. Она одна может создать полноту жизни, даровать непоколебимую уверенность, придать силы, творить чудеса, превратить в одну живую и жизнь производящую массу мир из восьмидесяти миллионов людей, которых деспотизм держит в тысячелетнем сне. Верьте революции. Отдайтесь ей вполне и всецело! Без нее нет славянства!

Вы должны отдаться революции всецело и безусловно.

Революционной должна быть ваша политика внутри и вне родины.

Вы должны быть друзьями и союзниками всех народов и партий, сражающихся за революцию.

Какие народы и партии сражаются за революцию?

Все, которые сражаются за свою собственную независимость и вместе с тем за свободу всех, а потому в союзе против одного общего врага, против заговора деспотов.

Что поставил себе ближайшей задачей заговор деспотов?

Сохрание Австрии. Австрия есть центральный пункт сражения.

Чего должны мы, вследствие этого, желать?

Противуположного тому, чего они желают: *совершенного разрушения Австрийской империи*. Деспоты совершенно правы, в своем интересе делая Австрию главным пунктом сражения; потому что как русская империя служит внешней опорой деспотизма, так Австрия служит систематическим проведением его в сердце Европы; Австрия это окаменелое бесправие, плотина, в которую так долго разбивались в бессилии волны стремления к свободе в Европе. Поэтому, и мы вправе желать распада и уничтожения Австрийской империи в интересах свободы; потому что распадение этой Австрии будет освобождением и поднятием многих поработанных австрийскому единству народов и освобождением сердца Европы. Кто за Австрию, тот против свободы. Поэтому мы, стоящие за свободу, должны быть против Австрии. Мы должны разрушить эту империю.

Как это случится?

Так, что мы посраим все теперешние широко-задуманные планы австрийского императорского двора.

Как мы узнаем эти планы?

Мы видим, что делают слуги Австрии.

Кто главный слуга?

Виндишгрец.

Куда идет теперь Виндишгрец?

В Венгрию. После того как он бомбардировал Прагу и убил в ней свободу, после того, как он бомбардировал Вену и в ней убил свободу, он идет в Венгрию, чтобы и там убить свободу.

Что же мы должны вследствие этого делать?

Это ясно: мы должны теперь заявить себя и в Венгрии за мадьяр и против Виндишгреца.

Братья! Я знаю, какое я тяжелое слово произнес при этом. Что сделали мадьяры нашим славянским братьям, какие преступления совершили они против нашей национальности, как они попирали ногами наш язык и независимость,—все это я знаю; я знаю, что они даже теперь, хотя научены опытом, который побудил их бежать на помощь венцам, все-таки не уважают и не признают свободы славян. Несмотря на все это, братья, та политика, которую мы установили еще на с'езде в Праге, а именно предложить мадьярам федерацию обеих народностей, под условием взаимного уважения прав и обоюдной совершенной независимости, на эту политику мы и теперь должны решиться. Это политика возвышенная, великодушная; предложение союза народу, который теперь находится в такой опасности, как народ мадьярский, не может унижить ваше достоинство, напротив, вы этим возвысите вашу честь. Эта политика не может остаться без успеха. Наверное есть между мадьярами люди, которые поймут все достоинство подобного предложения и не отвергнут условий, связанных с ним, ради блага Венгрии; дух, предписывающий эти условия, всегда, ведь, будет увеличивать свою власть над мадьярами, ведь, найдется и между ними теперь демократическая партия, которая только в свободе всех народов увидит обеспечение свободы отдельного народа, и которая в это время повсеместной нужды несомненно легче, чем когда-либо, приобретет себе всеобщий голос; но если бы было и не так, если бы даже ваша протянутая рука была отвергнута, то вы были бы свободны от всякой ответственности и только на голову тех, которые дерзко и с презрением оттолкнули благороднейшее предложение общего спасения, пал бы неизгладимый позор и упрек. Потому что политика, которую я здесь советую, это политика не только великодушия и благоразумия, но и мудрости, заботящейся о будущем. Потому что этим актом вашего великодушия вы сделаете сильнейшую пропаганду принципов свободы всех народов: это акт, который даст решительный поворот не только борьбе в Венгрии, но и общей борьбе революции против деспотов, который поставит вас во главе революционного движения и вы будете, как и прилично вам,

гордо и отважно освещать факелом путь освобождению европейских народов.

Не нанесет ли славянин сам себе вреда, если протянет руку своему естественному врагу?

Конечно, нет! Мы так сильны, что можем быть благородны. О, конечно, славянин не пострадает, а выиграет. Конечно, он будет жить! И мы будем жить. Пока у нас будут оспаривать малейшую частичку наших прав, пока будет отделен или оторван хоть один из членов нашего общего тела, мы будем бороться не на жизнь, а на смерть, до последней капли крови, пока, наконец, Славянство станет посреди мира великим и совершенно свободным и независимым. Но именно потому мы должны смотреть выше малого на большее, выше отдельного на целое и направлять полную силу нашего сопротивления на упрямого врага союза, и если какой либо народ, хотя бы одна часть его и была некогда частью нашего врага, признает, наконец, наше право и пожелает сражаться за одно с нами против большого общего врага, то мы должны охотно протянуть ему руку.

Вы должны подать руку немецкому народу. Не, деспотам Германии, с которыми вы теперь в союзе, нет, этого именно вы не должны делать. Не тем немецким педантам, и профессорам в Франкфурте, не тем плохим, узким литераторам, которые, по ограниченности или ради денег, наполнили большую часть немецких газет ругательствами против вас и ваших прав, против поляков и чехов, не тем немецким мещанам, которые радуются всякому несчастью славян. А тому немецкому народу, который происходит от революции, который станет свободной немецкой нацией, той Германии, которая еще не существует и которая поэтому, еще ни в чем не провинилась против вас, отдельные и по всей Германии разбросанные члены которой, разбитые так же, как и наши славянские народности, так же преследуемые и угнетаемые, как и мы, достойны нашей дружбы и готовы с распростертыми объятиями быть нашими друзьями.

Прежде всего вы должны сломить военную силу Австрии; силу, благодаря которой Австрия является австрийским государством; силу, которая задерживает и тормозит всякое свободное народное восстание и противится победе всеобщей свободы, равенства и братства всех народов. Вы видели в Праге, что такое эта военная сила, как она отвратительна. Что за люди бомбардировали под начальством Виндишгреца славянскую Прагу? Были ли это мадьяры? Были ли это немцы? Были ли это итальянцы? Нет, это были славяне и только славяне: чехи, поляки, словаки. И что такое австрийский генерал, это вы видели недавно на Еллачиче. Это иезуит во главе дисциплинированных банд, которые без своей воли, без своих целей, слепо повинуются его приказаниям; это человек, у которого нет ничего святого, которого не воодушевляют ни любовь к отечеству, ни чувство к своей нации, а только ревность к службе для пагубной ав-

стрийской камарильи и, чтобы угодить этой камарилье, он готов совершить какое угодно преступление. И вот это чудовище, которое натравливает братьев на братьев, которое душит и убивает в человеческой груди всякое человеческое движение, эту военную организацию, которая превращает людей в машины деспотии, вы и должны разрушить, если вы хотите сделать свободным славянство.

Вы должны отозвать ваших солдат из Италии, этой прекрасной, загубленной австрийским рабством Италии, потому что не позор ли то, что славяне, которые сами борются за свою независимость, прилагают свои руки, чтобы поработить благородный народ, который не нанес им ни малейшего оскорбления, не сделал им на одной несправедливости? Вы должны повсюду отозвать славянских солдат из австрийской службы, которая их позорит, чтобы ими не пользовались более, как палачами, потому что это дает право и другим быть палачами по отношению к вам; вы должны суметь создать из них чистые славянские сердца, войско для служения революции, войско, которое бы сражалось за свободу всех славянских народов и Европы.

Вы не можете изменить своей внешней политики, пока не измените внутренней.

Не надо более этой администрации австрийскими чиновниками!

Не надо этих вождей, которые наполовину возбуждают, наполовину успокаивают народ. Пусть погибнут эти злые люди, которые вечно говорят вам: агитируйте, но не слишком, потому что опасно возбуждать народ: можно достигнуть цели более кроткими, парламентарными, дипломатическими средствами. Не верьте этим людям. Освобождение наших народов может выйти только из одного бурного движения их. Дух нового времени говорит и действует только среди бури. Наша славянская натура не такова, как у отжившего старика, которому подходит только расслабленное и разжиженное; она не погибла и не испортилась, она проста и велика, и только прямота и цельность действует на нее. Славяне должны быть огнем, чтобы творить чудеса. Агитируйте среди славянских масс без оглядки, без удержу! Зажигайте в них святой огонь. Идите апостолами пробуждающегося славянства! Соединяйтесь, славянские народы Австрии! Соединяйтесь все вместе и заключите между собою священный оборонительный и наступательный союз! Союз не под прикрытием австрийской династии, а союз против нее, союз для освобождения от Австрии! Союз, для основания федерации, которая скоро должна соединить между собою все славянские народы. Будьте опять, как уже были однажды в золотой Праге, для нас, для всех славян севера и Турции, предвестниками, сверкающей грозой тучей всех нас освобождающей революции.

Тогда воскреснет славянство!

III.

ОСНОВЫ НОВОЙ СЛАВЯНСКОЙ ПОЛИТИКИ¹⁾).

После того как славяне пережили времена рабства, тяжелой борьбы и жалоб, которые были последствием их разделения, соединяются они теперь в первый раз на общем с'езде и подают друг другу руку в знак единения, заявляют перед богом и народами, что следующие основные положения составляют основы их новой политической жизни:

1) Хотя последние пришельцы в развитии европейского образования, славяне, чувствуют себя призванными к осуществлению того, что другие народы Европы приготовили через свое развитие, то-есть, к осуществлению того, что теперь считается за конечную цель гуманности, свободы и счастья всех, принимающих участие в святом и братском единении, как отдельных личностей, так и народов.

2) Очень долгое время они сами были жертвою чужого притеснения, видели очень хорошо печальные последствия этого: упадок родных (национальных) нравов и дисгармонию в обществе, которая вытекает из притеснения не только для притесненных, но также и, особенно, для притеснителей; кроме того, они слишком возненавидели чужое иго, чтобы когданибудь пожелать наложить свое иго на чужие народы. Уважение и любовь к свободе других есть в их глазах первое условие собственной свободы.

3) Кроме того, они слишком долго были жертвою хитрости и насилия, чтобы начать черпать новую жизнь и новую силу в чем либо другом, кроме, как в чистой и святой истине, в чистой свободе, в чистой справедливости без всякого ограничения, без всякой задней коварной мысли; поэтому они устраняют столько же во внутренней, сколько и во внешней политике

¹⁾ Эта статья появилась в журнале Иордана *Slavische Jahrbücher*, 1848, № 49, стр. 257—260, под заглавием „Statuten der neuen slavischer Politik“. дипломатию и ее соображения, все, что искусственно и что могло бы иметь целью какую бы то ни было центральную власть на счет свободы, будь то индивидуума, или народов. Новая политика славянских народов будет не государственная политика, а политика народов, политика независимых свободных людей.

4) Они основывают свое новое могущество на неразрывном и братском союзе всех народов, составляющих славянское племя, и не будут искать никакой другой централизации, кроме той, которая вытекает из соединения всех славян. Все их несчастье было в разделении; соединенные они были бы непобедимы, и, однако, они были разделены и так страстно держались того, что они забывали святую связь рода и крови, которая бы непременно их соединила для исполнения общего призвания. Одни из них дали себя соблазнить для братоубийственной войны. Другие, наконец, забывались до того, что пользовались чужими племенами и анти-славянской политикой для уничтожения своих братьев. Но, в наказание за то, бог попустил, чтобы одно славянское племя за другим подпало под иго немцев, не исключая и тех, которые сохранили призрак национальной и независимой жизни, или стали мучителями своих братьев столько же, сколько и несчастными исполнителями немецких замыслов.

Но минуло время страданиям,—час освобождения пробил для славян. По прибытии в Прагу от противоположных границ, они нашли себя братьями,—признали себя и почувствовали братьями один другому не только в сердце, но поняли также язык друг друга, который — лишь разные диалекты, оттенки одного прекрасного и благозвучного языка, который распространился от берегов Адриатических до границ Белого моря и Сибири. Они увидели себя соединенными общностью своего дела и еще сильнее они увидели себя соединенными великим призванием, которое им приготовляет будущее. Они поблагодарили Бога за то, что он положил конец их долгим страданиям, что он их сохранил в полной чистоте, братского чувства; они простили себе взаимно прошедшее и видят перед собою только настоящее и будущее, в сознании долга более не нарушать своих судеб.

IV.

ОСНОВЫ СЛАВЯНСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

1) Признается независимость всех народов, составляющих славянское племя.

2) Все эти народы, впрочем, состоят между собою в союзном единении. Это единение должно быть настолько тесно, что счастье или несчастье одного должно быть в то же время счастьем или несчастьем другого, и никто не может чувствовать себя свободным и считать себя таковым, если другие не свободны и, наоборот: притеснение одного есть притеснение другого.

3) Общий союз всех славянских народов есть выражение и осуществление этого соединения. Он представляет все славянство и называется славянский совет (Rada Slowenska).

4) Славянский совет руководит всем славянством, как первая власть и высший суд; все обязаны подчиняться его приказаниям и исполнять его решения.

5) Всякое несправедливое действие какого-либо славянского народа, которое бы стремилось учредить особый союз в среде соединенного все-славянства, или подчинить себе другое славянское племя, посредством дипломатии или насилия, в намерении основать сильную центральную власть всего соединенного славянства,—всякое стремление к какой бы то ни было гегемонии над соединенными народами, в пользу ли одного народа, или некоторых соединенных, но к невыгоде других, будет считаться за преступление или за измену всему славянству. Славянские народы, которые хотят составить часть федерации, должны отказаться вполне от своих государственных функций и передать их непосредственно в руки совета и не должны искать себе величия иначе, как в развитии своего счастья и свободы.

6) Только Совет имеет право объявлять войну иностранным державам. Никакой отдельный народ не может объявлять войну без согласия всех, так как вследствие соединения, все должны участвовать в войне каждого и ни один не может оставить братское племя в минуту несчастья.

7) Внутренняя война между славянскими племенами должна быть запрещена как позор, как братоубийство. Если бы возникли несогласия

между двумя славянскими народами, то они должны быть устранены Советом и его решение должно быть приведено в исполнение, как священное.

8) Из последних трех пунктов ясно вытекает, что, если какой нибудь славянский народ, подвергнется нападению другого славянского народа, раньше, чем Совет имел бы время постановить что-нибудь, или приложить разные посреднические меры, все соседние племена обязаны помочь его освобождению. Поэтому будет считаться изменником всякий славянский народ, который нападет на другой с оружием, или который при нападении чужого, не поспешит на помощь подвергшемуся нападению брату. Защищать брата есть первая обязанность.

9) Никакое славянское племя не может заключать союза с чужими народами; это право исключительно предоставлено Совету; никто не может отдать в распоряжение чужому народу или чужой политике славянское ополчение.

V.

ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ ¹⁾.

Славянские народы независимы, поэтому каждый народ может себе по своей воле, дать такое правление, какое соответствует его обычаям, потребностям и его условиям. Но первые основания его, должны лежать в славянском характере, который должен образовать основу новой жизни соединенных славянских народов, и без святого сохранения тех основ никакой народ не может приступить к общему союзу.

1. Принципы, которые составляют эти основы суть: равенство всех, свобода всех и братская любовь. Под небом свободного славянства нет никого не свободного ни по праву, ни на деле. Подданство (крепостная зависимость) под каким бы видом она не показывалась, навсегда отменяется. Все славяне одинаково свободны, одинаково братья. Между ними нет никакого неравенства, кроме того, какое создала природа. Сословий (каст) нет никаких. Где еще господствует аристократия, привилегированное дворянство, оно должно, если хочет быть славянским, на будущее время искать себе преимуществ и привилегий в богатстве своей любви и величии своей жертвы. Аристократия ученых и художников, старшая сестра в народе, должна раствориться в народной массе, чтобы черпать из нее новую жизнь и чтобы идти вместе к просвещению, накопленному в течение времен.

2. На великом и благословенном пространстве, которое заняли славянские племена, есть довольно места для всех, поэтому каждый должен иметь свою часть во народном владении и быть полезным всем.

3. Каждое лицо, которое принадлежит к какому либо славянскому народу, имеет право поселиться в любой славянской стране, и единение, которое связывает славянские народы, должно считаться за братское и должно господствовать также и в отношениях между отдельными славянскими лицами.

¹⁾ Перевод с немецкого текста у Иордана, Эта статья была еще напечатана по-чешски в журнале „Cecil“, вышедшей в Женеве в 1861 г., и в отдельном отпуске под заглавием: „Zakladni pravidla politiky a federace slovanske“.

4. Совет имеет право и обязанность смотреть за тем, чтобы эти принципы свято соблюдались и точно исполнялись во внутренних учреждениях всех народов, которые составляют весь союз. Он имеет право и обязанность вмешательства, если эти принципы будут уничтожены каким либо постановлением, и всякий славянин имеет право обращаться к Совету против несправедливого действия своего отдельного правительства.

VI.

ПРОГРАММА СЛАВЯНСКОЙ СЕКЦИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛА В ЦЮРИХЕ [1872]¹⁾.

1. Славянская секция, вполне признавая основные статуты Международного Общества Рабочих, принятые на первом Конгрессе (Сентябрь 1866, Женева), задается специальной целью пропаганды принципов революционного социализма и организации народных сил в славянских землях.

2. Она будет бороться с одинаковой энергией против стремлений и проявлений, как панславизма, т. е. освобождение славянских народов при помощи русской империи, так и пангерманизма, т. е. при помощи буржуазной цивилизации немцев, стремящихся теперь организовать в огромное мнимо-народное государство.

3. Принимая анархическую революционную программу, которая одна, по нашему мнению, представляет все условия действительного и полного освобождения народных масс, и убежденные, что существование государства, в какой бы то ни было форме, несовместимо с свободой пролетариата, что оно не допускает братского международного союза народов, мы хотим уничтожения всех государств. Для славянских народов в особенности, это уничтожение есть вопрос жизни или смерти, и в то же время единственный способ примирения с народами чуждых рас, например, турецкой, мадыарской или немецкой.

4. С государством должно неминуемо погибнуть все, что называется юридическим правом, всякое устройство сверху вниз путем законодательства и правительства, устройства, никогда не имевшего другой цели, кроме установления и систематизирования эксплуатации народного труда в пользу управляющих классов.

5. Уничтожение государства и юридического права необходимо будет иметь следствием уничтожение личной наследственной собственности и юридической семьи, основанной на этой собственности, так как та и другая совершенно не допускают человеческой справедливости.

¹⁾ Напечатана в приложении В. в книге „Государственность и анархия“. Французский подлинник этой программы писан рукою Бакунина.

6. Уничтожение государства, права собственности и юридической семьи, одно делает возможным организацию народной жизни снизу вверх, на основании коллективного труда и собственности, сделавшихся в силу самих вещей возможными и обязательными для всех путем совершенной, свободной федерации отдельных лиц в ассоциации или в независимые общины, или помимо общин и всяких областных и национальных разграничений, в мелкие однородные ассоциации, связанные с тождественностью их интересов и социальных стремлений, и общин в нации, наций в человечество.

7. Славянская секция, исповедуя материализм и атеизм, будет бороться против всех родов богослужения, против всех официальных вероисповеданий и, оказывая, как на словах так и на деле, самое полное уважение к свободе совести всех и к священному праву каждого проповедывать свои идеи, она будет стараться уничтожить идею божества, во всех ее проявлениях, религиозных, метафизических, доктринерно-политических и юридических, убежденная, что эта вредная идея была и есть еще освящением всякого рода рабства.

8. Она имеет полнейшее уважение к положительным наукам; она требует, для пролетариата научного образования равного для всех безразличия полов, но, враг всякого правительства, она с негодованием отвергает правительство учёных, как самое надменное и вредное.

9. Славянская секция требует вместе с свободой, равенства прав и обязанностей для мужчин и женщин.

10. Славянская секция, стремясь к освобождению славянских народов, вовсе не предполагает организовывать особый славянский мир, враждебный, из чувства национального, народам других рас. Напротив, она будет стремиться, чтобы славянские народы также вошли в общую семью человечества, которую Международное Общество Рабочих призвано осуществить на началах свободы, равенства и всеобщего братства.

11. В виду великой задачи—освобождение народных масс от всякой опеки и всякого правительства—которую приняло на себя Международное Общество, славянская секция не допускает возможности существования среди него какой-либо верховной власти или правительства, следовательно не допускает иной организации, кроме свободной федерации самостоятельных секций.

12. Славянская секция не признает ни официальной истины, ни однообразной политической программы, предписанной главным советом или общим Конгрессом. Она признает только полную солидарность личностей, секций и федераций в экономической борьбе рабочих всех стран против эксплуататоров. Она в особенности будет стремиться привлечь славянских работников ко всем практическим последствиям этой борьбы.

13. Славянская секция за секциями всех стран признает: а) свободу философской и социальной пропаганды; б) свободу политики, лишь

бы она не нарушала свободы и права других секций и федераций; свободу организации для народной революции; свободу связи с секциями и федерациями других стран.

14. Так как Юрская Федерация громко провозгласила эти принципы и так как она искренно проводит их на практике, то славянская секция вступила в ее среду.

Народное Дело.

Народное Дело

РОМАНОВ, ПУГАЧЕВ ИЛИ ПЕСТЕЛЬ.

Времена — что ни день — становятся серьезнее. Наступила и для русских пора дела. Замолк праздный шум упоенной собою литературы. Под гнетом современных и еще более грозных будущих обстоятельств, ожидаемых и предвидимых всеми, люди наименее серьезные, наиболее развращенные болтовнею литературною, призадумались. — Полно болтать, опасно болтать, преступно болтать. Ведь дело идет о спасении себя, семьи, имущества, о спасении России от кровавых несчастий, от конечного разорения. Всякий должен теперь размыслить серьезно и свои политические верования и свое положение, а размыслив, решить: *куда, к чему, с кем и за кем идти?*

Теперь только наступает в России время действительного образования и развития партий. Несколько месяцев тому назад очень много людей не знали еще сами, к какому они принадлежат лагерю. Было, правда, много ученых разделений и подразделений в теории, но на практике они не разделили людей, потому что не было ясно определенной практической цели. Болтливо-шумною толпою стремились все вперед, на свободу, иные по убеждению, другие по инстинкту, третьи по моде, и, наконец, остальные из страха и, казалось, что в этой толпе все единомышленники и братья. Но вот засветилось первое, слабое зарево тех пожаров, которыми грозит, может быть, кровавая *русская* революция, и замолк гул праздной толпы. Она приутихла. — Пожары были совершенно случайны; такие пожары — обыкновенное, почти периодическое явление в России. Но возбужденные политические власти, а главное подлый страх, скрывающийся нередко за нашим шумливым геройством, придали ныне петроградским пожарам другое значение. Правительство первое дало пример. Оно нашло полезным обвинить в поджоге передовую молодежь и распространить эту клевету между народом, дабы возбудить его против студентов. В прежнее время никто из литераторствующей, порядочной публики не смел бы присоединить своего голоса к клеветливому воплю из-ума-вон испуганной власти. Того бы не

потерпело общественное мнение, которое даже при самом Николае умело клеймить продажную литературу и литераторов третьего отделения. Теперь им лафа. Пользуясь общим испугом публики, непривыкшей еще к общественным потрясениям, знакомой только с болтовней, а не с делом, они смело подняли свое знамя. А для того, чтоб не испугать слабых людей излишнею откровенностью, они написали на нем слово „*Прогресс*“, искусно прикрывая клевету и донос недорогими либеральными фразами. И, нет сомнения, что они приобретут на первое время, но только на короткое время, значительную популярность. Николаевский период развил в России очень много дряблых душ, без страсти в сердце, без живой мысли в голове, но с великолепными фразами на языке. Этим людям в последнее время становилось между нами неловко. Они чувствовали, что дело, доходит до дел, до жертвы... Их много и они все пойдут под доктринерское знамя, под сень благодушшего правительства. Благо, отступление открыто и для измены есть благодидный предлог, а для прикрытия ее великодушная фраза: „мы стоим за цивилизацию против варварства“, то есть за немцев против русского народа... Что ж, с Богом, идите! Нам остается пожелать вам доброго пути, да успех на новом поприще. Только смотрите, не ошибитесь в расчете: случилось не редко, что те здания, под которыми люди скрывались от бури, бывали первые поражены громом.

Очистившись от старых друзей, сомнительных и слабонервных, мы стали сильнее. Нам нужны теперь люди, которые до конца были бы преданы *народному делу*, и на которых потому можно было бы рассчитывать, ибо теперь наша партия окончательно стала партией дела. А наше дело — служить революции.

Многие еще рассуждают о том, будет ли в России революция или не будет? не замечая того, что в России уже *теперь* революция. Она началась последовательно, широко проникла во все составы умирающего от дряхлости государства и возобновляющейся общественной жизни; она царит во всех, везде и во всем, действует руками правительства еще успешнее даже, чем усилиями своих приверженцев, и не успокоится, не остановится до тех пор, пока не переродит русского мира, пока не воздвигнет и не создаст нового славянского мира.

Династия явно губит себя. Она ищет спасения в прекращении, а не в поощрении проснувшейся народной жизни, которая, если б была понята, могла бы поднять царский дом на неведомую доселе высоту могущества и славы. Но где высота, там и бездна, и непонятая, оскорбленная, разоренная смешными попытками пигмеев удержать ее непреклонно логическое течение, та же народная жизнь может сбросить его, со всеми его немецкими советниками и доморощенными доктринерами, со всю бюрократическою и полицейскою сволочью, в бездонную пропасть... А жаль!

Редко царскому дому выпадала на долю такая величавая, такая благородная роль. Александр II мог бы так легко сделаться народным ку-

миром, первым русским земским царем, могучим не страхом и не гнусным насилием, но любовью, свободой, благоденствием своего народа. Опираясь на этот народ, он мог бы стать спасителем и главою всего славянского мира. Для этого не нужно было ни гения, ни даже той макиавеллистической науки, которую так искусно и так усиленно держатся другие. Нужно было только широкое, в благодушии и в правде крепкое русское сердце. Вся русская, да и вся славянская живая деятельность просилась ему в руки, готовая служить пьедесталом для его исторического величия. Самое царствование отца, гибельное для России и для славян во всех отношениях, должно было служить ему наукою и вместе отрицательною рекомендациею в глазах народов. Николай душил Польшу; Александр должен был освободить Польшу со всем, что хочет быть Польшей. Он должен был сделать это и по справедливости, и для освобождения России от ненужной тяготы и от еще менее нужного бесчестия, и для того, чтоб, освободившись раз на всегда от немцев, открыть себе широкие ворота в славянский мир. Николай довел до крайнего, безумия систему петровскую, систему отрицания и придушения народа во имя немецкого государства; он до того напряг искусственные силы этого государства, что оно надломилось и треснуло, убив его самого. Александр должен был почувствовать, что безобразное здание, стоившее миллионов человеческих жертв, потоков и своей и чужой крови, держаться далее не может, и что никаких сил не достанет удержат его от конечного падения. На развалинах петровского государства может существовать только Россия *Земская*, живой народ. Для народа нужно было расчистить место.

Казалось сначала, что Александр II понимал свое значение, по крайней мере в отношении к России, потому что в Польше он с первого раза тремя словами испортил все свое положение. И сколько преступлений, сколько несчастий, сколько бесчестия для нас и кровавых жертв для поляков вытекало из этих трех слов: „Point de reveries!“ Теперь всякий может решить, кто безумно, преступно мечтал: поляки или Александр Николаевич?

Его начало в России было великолепно. Он объявил свободу народу, свободу и новую жизнь после тысячелетнего рабства. Казалось, он хотел *земской России*, потому что в государстве петровском свободный народ немислим. 19 февраля 1861 года, несмотря на все промахи, недостатки, уродливые противоречия и не менее безобразные тесноты указа об освобождении крестьян, Александр II был самым великим, самым любимым, самым могучим царем, который когда-либо царствовал в России. Но он так мало понимал это, так мало знал, чувствовал душу народную, он до такой степени немец, что в этот самый день, торжественнейший из торжественных дней в русской истории, он прятался в своем дворце и окружал себя караулами, боясь народного бунта. Видно — совесть была не чиста, видно — он замышлял не доброе, видно — он не хотел настоя-

шей свободы народу, который верил, да и все еще верит в него до безумия.

И в самом деле не была чиста совесть. Александр II и не мыслил о свободе народа. Она была бы противна всем инстинктам его. Немец никогда не поймет и не полюбит земской России; и в то самое время, как русский народ ждал от него новой жизни, он вместе с советниками своими думал только о том, как бы укрепить, восстановить и если можно расширить двухвековую причину русской безжизненности, народоненавистное тюремное здание петровского государства. Задумав гибельное, невозможное, он губит себя и свой дом, и готов ввергнуть Россию в кровавую революцию. Гения Петра Великого не достало бы теперь на такое дело, а он предпринял его.

Отсутствием русского смысла и народолюбивого сердца в царе, безумным стремлением удержать во что бы ни стало петровское государство, объясняется вполне и все противоречия указа об освобождении и столь же разорительная, сколь и опасная нелепость переходного состояния, и бесчеловечно глупое стреляние по невинным крестьянам в разных губерниях, и объявление царя народу, что не будет ему другой воли, и студенческие истории, и заключение в крепость тверских дворян, и упорное желание правительства сохранить сословие дворянское наперекор воле самого дворянства, и теперешний терроризм, и, наконец, последнее слово: Липранди! Липранди, убитый общим презрением, воскрес. Он зовется на помощь — он будет спасать Россию!.. Жребий брошен. Для Александра II, кажется, нет более возврата на другую дорогу. Не мы, он главный революционер в России, и да падает на его голову кровь, которая прольется!

А он, и только он один, мог совершить в России величайшую и благодетельнейшую революцию, *не пролив капли крови*. Он может еще и теперь: если мы отчаиваемся в мирном исходе, так это не потому, чтоб было поздно, а потому, что мы отчаялись, наконец, в способности Александра Николаевича понять единственный путь, на котором он может спасти себя и Россию. Остановить движение народа, пробудившегося после тысячелетнего сна, невозможно. Но если б царь встал твердо и смело во главе самого движения, тогда бы его могуществу на добро и на славу России не было бы меры. На этом пути опасности нет никакой, успех верный

Народу нужна земля—отдайте ему всю землю. А чтоб не разорить собственников *мнимым* выкупом, пусть выкупается она не крестьянами, а целым государством. Народу нужна воля, полная воля движения, зачатий... Так дайте ему эту волю, избавьте его из под опеки правительственной, которая его всегда угнетала да разоряла, избавьте его от чиновников, которых он ненавидит, наравне с дворянами. Дайте ему полное самоуправление общинное, волостное, областное и государственное. Народу ненавистны сословия, созданные вашими прадедами для притесне-

ния народа; так уничтожьте эти сословия, которые сами теперь готовы отказаться от всех своих преимуществ, отчасти потому, что преимущества эти стали ничтожны, отчасти по благородному побуждению, отчасти же от страха. Пусть будет в России один нераздельный народ. И не бойтесь, он будет в состоянии сам собою управляться. Народ знает своих людей, и в этих людях, поверьте, более дельного смысла, чем во взросшем в блудном безделии дворянстве. Не бойтесь также что через областное самоуправление разорвется связь провинций между собою, рушится единство русской земли. Ведь автономия провинций будет только административная, внутренне-законодательная, юридическая, а не политическая. И ни в одной стране, исключая может быть Франции, нет в народе такого смысла единства строя, государственной целостности и величия народного, как в России. Только во Франции присоединяется к этому страсть бюрократическая; в России ее нет. Чиновник противен народу, а бюрократическая централизация необходимым насилием своим только отталкивает его от единства: и только тогда воцарится действительная, вольная целостность в русской земле, когда чиновническое управление заменится в ней самоуправлением народными. Единство земли русской, находившее доселе свое выражение только в царе, требует теперь еще другого представительства: *Всенародного Земского Собора*.

Говорят, что в Петербурге боятся пуше всего земской Думы; опасаются, что с нею начнется революция в России. Да неужели же там в самом деле не понимают, что революция давно началась? Пусть посмотрят вокруг себя, в самих себя, пусть сравнят свое настроение духа с тем, что чувствовалось правительством при императоре Николае,—и пусть скажут: разве это не коренная и не полная революция? Вы слепы, это правда. Но неужели слепость ваша дошла до той степени, что вы думаете—можно воротиться назад или отделаться шутками? Итак, не в том вопрос, будет ли или не будет революция, а в том: *будет ли исход ее мирный или кровавый!* Он будет мирный и благодатный, если царь, встав во главе движения народного, вместе с земским сбором, приступит широко и решительно к коренному преобразованию России в духе свободы и земства. Ну, а если ослепленный царь задумает идти вспять, или остановится на полумерах, или станет искать спасения в Липранди,—исход будет ужасный. Тогда революция примет характер беспощадной резни, не вследствие прокламаций и заговоров восторженной молодежи, а вследствие восстания всенародного. На Александре Николаевиче лежит теперь ответственность страшная. Он может еще спасти Россию от конечного разорения, от крови. Сделает ли он? Захочет ли он?

Без Собора Земского он не сделает ничего. Только Земский Собор способен умиротворить Россию, восстановить кредит публичный и частный, устроить и обеспечить выкуп земли и возратить потрясенному обществу спокойствие и веру. А самодержавие?! скажете вы.—Да разве оно дей-

ствительно существует? Это каприз, вчера Панина, сегодня Головина, завтра Липранди. Это бесконтрольное право на зло, немощь на добро,— право быть пассивным и далеко не почтенным орудием в руках лакеев придворных, министерских и канцелярских,—право чуждаться России, не знать ее, мутить ее,—право ввергнуть ее в кровавую революцию.

Ну, а если Земский Собор будет враждебен царю?—Да, возможно ли это! Ведь посылать на него своих выборных будет народ, до сих пор еще безгранично в царя верующий, всего от него ожидающий. Откуда же взяться вражде? Нет сомнения в том, что если б царь созвал *теперь* Земский Собор, он *впервые* увидел бы себя окруженным людьми, действительно ему преданными. Продолжись безурядица еще несколько лет, расположение народа может перемениться. В наше время быстро живет. Но теперь народ за царя и против дворянства, и против чиновничества, и против всего, что носит немецкое платье. Для него все враги в этом лагере официальной России, все — кроме царя. Кто-ж станет говорить ему против царя? А если б кто и стал говорить, разве народ ему поверит? Не царь ли освободил крестьян против воли дворян, против совокупного желания чиновничества?

Разочаровать народ, потрясти его веру в царя может только сам царь. Вот где опасность и, может быть, главная причина того панического страха, который ощущают в Петербурге при одном слове: „Земский Собор“. И в самом деле, после двухсотлетнего отчуждения, русский народ, через своих представителей, в первый раз встретится лицом к лицу с своим царем. Минута решительная, минута в высшей степени критическая! Как понравятся они друг другу? От этой встречи будет зависеть вся будущность и царей и России.

Двести лет стонал русский народ под гнетом Московско-Петербургского государства и переносил такие тягости, такие терзания, такие мятарства, каких иноземец себе представить не может. Прямою причиною всех бедствий его были цари. Они, позабыв клятву своего родоначальника, народного избранника Михаила Романова, создали эту чудовищную самодержавную централизацию и окрестили ее в народной крови. Они образовали народу противные касты, и духовную и чиновно-дворянскую, как орудия для губительного самовластия, и отдали им народ, одним в духовное, другим в телесное рабство. Их силою, волею, их прямым покровительством держались единственно и буйный произвол полудикого дворянина и притеснительное варварство чиновников. Цари, до самой последней минуты, смотрели на русский народ с презрением горшечника к глине, как на бездушный матерьял, обязанный принять по их произволу любую форму. В конце царствования Николая, один генерал из немцев говорил полковнику, командиру образцового полка, принявшему партию несчастных мужиков-рекрут: „Вы мне хоть половину из них убейте, но чтоб другая за то была вымуштрована на славу“. И что немец осмелился высказать

громко, другие делали втихомолку. Жизнь простого человека, крестьянина, мещанина, была нипочем. Система царская истребила таким образом, в продолжении какихнибудь двухсот лет, далеко более миллиона человеческих жертв,—так, без всякой нужды, просто вследствие какого то скотского пренебрежения к человеческому праву и к человеческой жизни. И в то время, когда дикое, раззоренное в пух дворянство сорило народными деньгами, не менее блудные, не менее дикие и без сомнения более виновные цари наши сорили людьми.

Но факт замечательный! Русский народ, хотя и главная жертва царизма, не потерял веры в царя. Беды свои он приписывает кому и чему вам угодно и помещикам, и чиновникам, и попам, только отнюдь не царю. Есть правда, секты в расколе, переставшие за него молиться; есть другие, тайно ненавидящие царскую власть. Но это отрицание, хоть выработавшееся в среде народа, далеко не выражает народное большинство, которое еще крепко держится своей веры в царя. Здесь не место углубляться в причине этого *факта* многозначительного, несомненного, а для нас особенно важного, потому что, рады ли мы ему или нет, он обуславливает непременно и наше положение и нашу деятельность. В другом месте я старался объяснить его тем, что народ почитает в царе *символическое представление единства, величия и славы русской земли*. И думаю, что я не ошибся. Но этого мало: другие, более христианские народы, когда им приходится жутко, а восстание по каким бы то ни было причинам кажется невозможно, ищут своего утешения в вознаграждении загробном, в небесном царе, на том свете. Русский народ, по преимуществу, реальный народ. Ему и утешение то надо земное; земной бог — царь, лицо впрочем довольно идеальное, хоть и облеченное в плоть и в человеческий образ и заключающее в себе самую злую иронию против царей действительных. Царь — идеал русского народа, это род русского Христа, отец и кормилец русского народа, весь проникнутый любовью к небу и мыслью о его благе. Он давно дал бы народу все что нужно ему — и волю и землю. Да он сам, бедный — в неволе: лиходеи бояре, да злое чиновничество вяжут его. Но вот наступит время, когда он воспрянет и позвав народ свой на помощь, истребит дворян и попов, и начальство, и тогда наступит в России пора *золотой воли!* Вот кажется, смысл народной веры в царя. Вот чего он ждет от него в феврале или в марте 1863 г. Ведь он, более двухсот лет, проведенных в неизяснимых муках, ждет слова царского и воскресения; и теперь, когда все надежды, все ожидания его оживились предварительным обещанием царя, согласится ли он ожидать еще более? — Не думаю.

В 1863 году быть в России страшной беде, если царь не решится созвать всенародную Земскую Думу... И вот народ пошлет своих выборных к царю избавителю. Доверию и преданности посланцев народных к царю не будет пределов, — и, опираясь на них, встретив их с равною верою

и любовью, и решавшись дать добровольно народу то, чего ныне нельзя уже более удержать от него, царь мог бы поставить свой трон так высоко и так крепко, как он еще никогда не стоял. Но что, если вместо царя избавителя, царя земского, народные посланцы встретят в нем петербургского императора в прусском мундире, тесносердечного немца, окруженного синклитом таких же немцев? Что, если вместо ожидаемой свободы, царь не даст ему ничего, или почти ничего и захочет отделаться от народа словами да полумерами? Ну, тогда не сдобровать и царизму, по крайней мере императорскому, петербургскому, немецкому, голштейн-готторпскому! Ведь привязанность народа к царю не придворная, не холопская, а религиозная. И религия народа не небесная, а земная, жаждущая, требующая удовлетворения себе на земле. В общем чувстве народном обетованный час исполнения, кажется, настал, и народ не даст ему пройти даром. Тогда опять кровавая революция.

Но если бы в этот роковой момент, когда для целой России будет решаться вопрос о жизни и смерти, о мире и крови, царь земский предстал перед всенародный собор, царь добрый, царь правдивый, любящий Россию более себя и доверяющий широко любви народной, готовый устроить народ по воле его, чего бы не мог он сделать с таким народом! Кто смел бы восстать против него? И мир, и вера восстановились бы, как чудом, и деньги нашлись бы, и все бы устроилось просто, естественно, для всех безобидно, для всех привольно... Руководимый таким царем, Земский Собор создал бы новую Россию на основаниях вольных, широких, без потрясений, без жертв, даже без усиленной борьбы и без шума; потому что воля и нужды народа — ясны, потому что в нем выработался ум крепкий и здоровый, зародыш будущей организации, — и потому, что злой умысел и никакая враждебная сила не были бы в состоянии бороться против соединенного могущества царя и народа.

Есть-ли надежда, что такой союз состоится? Мы скажем прямо, что нет. Несмотря на несомненную преданность народа к царю, царь видимым образом боится его. Боится потому, что не любит его, потому что не хочет поступиться перед ним своею немецкою важностью, своим мелким императорским произволом, и потому что чувствует, вероятно, что с этим народом шутить нельзя. Но, может быть, он решился бы еще довериться народу в надежде на его слепую привязанность, если б он не боялся пуще всего влияния передовой революционной молодежи. Страх в настоящее время еще совершенно напрасный! Как ни горько сознаться в этом, но я думаю, что для будущего успеха самого революционного дела, мы должны громко высказать то убеждение, что до сих пор влияние нашей партии на народ было близко к нулю. Революционная пропаганда еще не нашла к нему доступа и не умела еще потрясти его безумной, его несчастной веры в царя. Никогда еще не чувствовался так сильно разрыв, существующий между народом и нами, и никто из нас не перешел еще через пропасть,

отделяющую нас от него. Мы готовы жить его жизнью, его мыслью, но он нас не знает, и пошел бы без сомнения против нас за царя, потому что и его он также не знает... Итак, если вы хотите встретиться с народом, свободным от наших влияний, сзывайте его теперь. Ну, а если пропустите время, то, пожалуй, наша передовая молодежь, наша надежда и наша сила, пробьет себе, наконец, дорогу к народу и чрез роковую пропасть подаст ему руку. Вина будет ваша.

И почему молодежь не за вас, а вся молодежь против вас? Ведь это для вас большое несчастье; — несчастье потому, что молодежь уже сама по себе составляет и право и силу, особенно когда, не заключааясь в себе, собой суетно не довольствуясь, она стремительно, страстно рвется в народ, к службе народной. Для такой молодежи нет непреодолимых препятствий. Народ, сам молодой и сам страстный, рано или поздно призывает ее. Почему-ж она против вас? Недавно умерший предводитель демократической партии в Соединенных Штатах, полковник Дуглас, во время последних президентских выборов, сказал одному из своих друзей; „наше дело потеряно, молодежь против нас!“—Глубокое слово! Молодежь, как народ, живет более инстинктом, а инстинкт всегда тянет ее на сторону жизни, на сторону правды... С нею беда. Она может ошибаться в мыслях, или вернее, в выражении мыслей своих,—в чувстве она ошибается редко. А чувство нашей молодежи, всю энергию свою, отталкивает ее от вас. Вы, господа доктринеры всякого рода, ее ненавидите, как вообще не любят ее школьные учителя, которые чувствуют, что она вправе над ними смеяться. Она бежит от вас, потому что пахнет от вас фарисейским педантизмом, ложью и смертью: а ей прежде всего надо жизни воли да правды. Но почему отстала она от царя, почему объявила себя против того, кто первый объявил свободу народу?

Никто не посмеет упрекать ее в эгоизме. Она рукоплескала освобождению крестьян и готова теперь отдать все, начиная с себя, для того только чтоб русский народ был свободен. Не увлеклась ли она отвлеченными революционными идеалами и громким словом „республика“? Отчасти, пожалуй, и так. Но это только весьма поверхностная и второстепенная причина. Большинство нашей передовой молодежи, кажется, хорошо понимает что западные абстракции, консервативные ли, либерально-буржуазные, или даже демократические, к нашему русскому движению не применимы:—что оно—без сомнения—и демократическое и в высшей степени социальное, но что оно развивается вместе с тем при условиях, совершенно различных от тех, при которых совершались подобные же движения на Западе. И первое из условий—то, что оно не есть главным образом движение образованной и привилегированной части России. Таковым было оно во времена Декабристов. Теперь главную роль в нем будет играть народ. Он есть главная цель и единая, настоящая сила всего движения. Молодежь понимает, что жить вне народа становится делом невозможным, и что кто

хочет жить, должен жить для него. В нем одном жизнь и будущность, вне его мертвый мир. Но этот народуступает на сцену не как лист белой бумаги, на котором всякий по произволу может записать свои любимые мысли. Нет, лист этот уж частью исписан и хоть осталось на нем еще много белого места, допишет его сам народ. Никому он не может поручить этого дела, потому что никто в образованном русском мире не жил еще его жизнью. Русский народ движется не по отвлеченным принципам; он не читает ни иностранных, ни русских книг, он чужд западным идеалам, и все попытки доктринаризма, консервативного, либерального, даже революционного, подчинить его своему направлению будут напрасны. Да, ни для кого и ни для чего не отступится он от *своей* жизни. А жил он много, потому что страдал много. Не смотря на страшное давление императорской системы, даже в продолжение этого двухвекового немецкого отрицания, он имел свою внутреннюю живую историю. У него выработались свои идеалы, и составляет он в настоящее время могучий, своеобразный, крепко в себе заключенный и сплоченный мир, дышащий весеннею свежестью и чувствуется в нем стремительное движение вперед. Наступило, кажется, его время; он просится наружу, на свет, хочет, сказать свое слово и начать свое явное дело. Мы верим в его будущность, надеемся, что, свободный от закоренелых и на Западе в закон обратившихся предрассудков религиозных, политических, юридических и социальных, он в историю внесет новые начала и создаст цивилизацию иную; и новую веру, и новое право, и новую жизнь.

Перед этим великим, серьезным и даже грозным лицом народа нельзя дурачиться. Молодежь оставит смешную и противную роль непрощенных школьных учителей мертвецам московской и с.-петербургской привилегированной журналистики. Ей самой предстоит подвиг другой, не учительский, а *очистительный, подвиг сближения и примирения с народом*. Ведь она, почти вся, по своему происхождению, образованию, по привычкам жизни и мысли, наконец по всем общественным отношениям своим, стоит вне народа, принадлежа к тому привилегированному официальному миру, который народ не без причины ненавидит, видя в нем главный источник всех своих бедствий. Стремления ее чисты и благородны: она сама ненавидит исключительность своего положения и готова жертвовать всем народу, лишь бы только он принял ее в свое общение. Но народ не знает ее, и судя ее по платью, по языку, а главное по жизни, столь различной от его жизни, принимает ее за врага. Где же тут учительствовать! разве без веры и доброй воли учащегося учение возможно? Да, наконец, чему мы станем учить? Ведь если оставим естественные и математические науки в стороне, последним словом всей нашей премудрости будет отрицание так называемых непреложных истин западного учения, полное отрицание Запада. Но народ наш Западом никогда не увлекался; потому ему и до отрицания его нет никакого дела. А главное то, что

со всею своею наукою, мы бесконечно беднее народа. Народ наш, пожалуй, груб, безграмотен, я не говорю — неразвит, потому что у него было свое историческое развитие, покрепче и посушежнее нашего; он никаких книг, кроме немногих своих, еще не читает. Но зато в нем есть жизнь, есть сила, есть будущность; — он есть... А нас собственно нет; наша жизнь пуста и бесцельна. У нас нет ни дела, ни поля для дела. И если будущность для нас существует, так только в народе. Итак, народ может и без нас обойтись, мы без него не можем.

Без сомнения, слившись с народом, принятые народом, мы можем принести ему много пользы, Да, мы принесем ему громадный опыт неудавшейся западной жизни, которую мы вместе с Западом пережили, способность обобщения и точного определения фактов, ясность сознания. Знакомые с историею и наученные чужим опытом, мы можем предохранить его от обмана и помочь ему высказать его волю. — Вот и все. Мы принесем ему формы для жизни, он даст нам жизнь, кто дает больше? Разумеется народ, а не мы.

Вопрос о нашем сближении с народом, не для народа, а для нас, для всей нашей деятельности, есть вопрос о жизни и смерти. Сближение это необходимо, но оно трудно, потому что требует с нашей стороны совершенного перерождения, не только внешнего, но и внутреннего. Борода, русское платье, жесткие руки, грубая речь не составляют еще русского человека. Нужно, чтоб ум наш выучился понимать ум народа, и чтоб наши сердца приучились бить в один такт с его великим, но для нас еще темным сердцем. Мы должны видеть в нем не средство, а цель; не смотреть на него как на материал революции по нашим идеям, как на „мясо освобождения“, напротив смотреть на себя, *если он на то согласится*, как на слуг своего дела. Одним словом, мы должны полюбить его пуше себя, дабы он вас полюбил, дабы он нам свое дело поверил.

Любить страстно, отдаваться всею душою, побеждать громадные трудности и препятствия, силою любви и жертвы победить ожесточенное сердца народное, дело молодости. Вот, где ее назначение! Учиться она должна у народа, а не учить. Не себя, а его возвышать и вся отдаться его делу. Ну, тогда народ признает ее.

Прокламация „Молодая Россия“ доказывает, что в некоторых молодых людях существует еще страшное самообольщение и совершенное непонимание нашего критического положения. Они кричат и решают, как будто бы за ними стоял целый народ. А народ то еще по ту сторону пропасти, и не только вас слушать не хочет, но даже готов избить вас по первому мановению царя. Что же, — мученичество? Да ведь мученичество хорошо, когда мученики делают дело. Редакторов „Молодой России“ я упрекаю в двух серьезных преступлениях. Во первых, в безумном и в истинно доктринерском пренебрежении к народу; а во вторых в нецеремонном, бестактном и легкомысленном обращении с великим делом освобождения, для успеха

которого они между тем готовы жертвовать своею жизнью. Они видно, так мало привыкли еще к настоящему действию, что им все кажется, будто они вращаются в мире абстракций. В теории все сходит с рук. На практике, особливо в такое время, как наше, что не полезно, то вредно. Появление „Молодой России" причинило положительный вред общему делу и виновниками вреда были люди, желавшие служить ему, Без *дисциплины*, без строя, без скромности перед величием цели, мы будем только тешить врагов наших и никогда не одержим победы.

Но прокламация редакторов „Молодой России" не может быть принята за серьезное выражение идей передовой молодежи. Несколько смелых юношей собрались и издали свою прокламацию... Довольно было, чтоб перепугать до смерти наших бедных правителей. Правда, что юноши говорят и об „общем собрании" и о „комитетах провинциальных тайного революционного общества". Но ведь это было сказано зря, для пушей важности, и для того, чтоб доставить лишнее впечатление черезчур впечатлительному правительству. Огромное большинство нашей молодежи принадлежит к партии народной, к той партии, которая поставила себе единою целью *торжество народного дела*. Эта партия не имеет предрассудков ни за царя, ни против царя, и если б сам царь, начавши великое дело, не изменил впоследствии народу, она бы никогда от царя не отстала.

И теперь было бы еще не поздно. И теперь та же самая молодежь радостно пошла бы за ним, лишь бы только он сам шел во главе народа: не остановили бы ее никакие западнореволюционные предрассудки, ибо где жизнь, где правда, где разрешение судеб народа, там и она. И сколько молодой и благородной энергии, сколько живых сил и сколько ума было бы тогда к его услугам для совершения великого дела — умиротворения и воссоздания России.

Россия спокойно и твердо пошла бы широким путем свободного развития и, укрепившись внутри, восстановила бы скоро свое утраченное внешнее обаяние. Величие России русскому народу так дорого, что он никогда от него не откажется. Он принес ему столько жертв!.. Но понятно, что оно должно быть ныне воздвигнуто на иных основаниях. Бог с ним с величием петровским, екатерининским, николаевским, обречшим русский народ на постыдную роль палача и вместе раба мученика! Мы искали силы и славы, а нашли лишь бесславие, заслужили ненависть и проклятия истерзанных нами народов, и кончили поражением и постыдным бессильем. Слава богу! наша двухвековая тюрьма, петровское государство, наконец рушится. Никакая сила не восстановит его. Мы же сами подтолкнем его в пропасть, и воля нам! воля героической Польше! воля Белоруссии, Литве, Украине! Пусть будет Польшею все, что хочет быть Польшею. Воля Финляндии! воля Чухонцам и Латышам в Остзейских провинциях! А немцам пора в Германию!

Если б царь понял, что он отныне должен быть не главою насиль—

ственной централизации, а главою свободной федерации вольных народов, то опираясь на плотную возрожденную силу, в союзе с Польшею и Укранною, разорвав все ненавистные союзы немецкие, подняв смело всеславянское знамя, он стал бы избавителем Славянского мира!

Мечта! скажут мне; да, разумеется, мечта. Но мечта только потому, что в Петербурге нет ни мысли, ни сердца, ни воли, и что царь, наш, в противность царю Давиду, ищет всегда короны, а находит корову. И еще повторим; ни одному царю не было дано так много, и ни с одного так много не спросится.

На Петербург надежды нет. Царь избрал себе путь, гибельный для России. Как безнадёжный больной, он окружил себя шарлатанами, — настало время для наших Некеров и Колоннов. Настоящее министерство — *jeune, intelligent et fort*, и подражая дружественному ныне правительству, хочет надуть Россию формами без содержания; с свободою на языке оно намерено продолжать дело блудного произвола. Но забывают они только одно, что обман, возможный в стране, истощенной политическими борьбами, невозможен у нас, потому что у нас жизнь только вчера началась, страсти в приливе, а не в отливе, и наша трагедия еще впереди... Как ни умны министры, но Александр Николаевич не доверится им вполне, на помощь им он позвал знаменитого доктора Липранди, который лечит средствами героическими и без сомнения скорее доведет до трагедии. Большое утешение правительственного Петербурга теперь — это народ и привязанность народа к царю, Народом грозят они революционной молодежи. „Стоит только царю махнуть рукою, и студентов не будет“. Да без сомнения не будет; да на другой день и дворянства в целой России не будет, а с дворянством ляжет под топором все чиновничество; вы сами голубчики пропадете. Ну-ка попробуйте махнуть то рукою! И останутся народ да царь. Да что станет этот царь с этим народом делать? Ведь царь то наш бюрократический дворянский, а не земский. Он сам утонет в дворянской крови, чтоб уступить место какому нибудь Пугачеву! Не попробовать ли лучше николаевских средств: кнута, виселицы, да Сибири? Средства хорошие. Но вряд ли они вам ныне помогут. *Ведь страх убит в России*. Ныне пойдут на лобное место, смесь над вами. Да и самым трусам нет никакого расчета пятиться перед *вашим* страхом. В России есть теперь страх, пострашнее, — страх *народного восстания*. А если придется выбирать между топором или виселицею, так разумеется, лучше пасть с сознанием высокого подвига, чем жертвою рокового недоразумения народного.

У вас есть еще одно средство — война. Война национальная против немцев, в союзе с Италией и с Францией, пожалуй хоть за свободу славян, лишь бы только русскому народу не дать свободы. Да, в самом деле, идти войною на немцев хорошее, а главное, необходимое славянское дело, во всяком случае лучшее, чем поляков душисть немцам в угоду. Подняться на освобождение славян из под ига турецкого и немецкого будет

потребностью, необходимостью и святою обязанностью освобожденного русского народа. Но вы, враги русской и польской свободы, какую дадите вы свободу славянам? Или вы хотите повторить в сотый раз старый, постыдный обман? Не удовлетворив никого и не разрешив ничего у себя дома, на что вы будете опираться? Даже войско придется вам содержать на мелок чужими субсидиями. И будете вы только служить средством для целей чужих, сами ничего не приобретете. Россию же в конец раззорите. Да, может быть, вы и рассчитываете на ее истощение? Может, думаете усмирить ее голодом? Смотрите, не ошибитесь в расчете: война не помешала у нас ни пугачевщине, ни новгородскому бунту.

Но напрасны все ваши старания. Ни война, ни уловки мнимо либерального (!) министерства, ни явная реакция вам не помогут. Народ проснулся и ждет своего часа, вы сами способствовали его пробуждению. Кокетничая перед ним и возбуждая его против молодого образованного поколения, вы сами будите в нем сознание силы и он сам возьмет силою то, чего вы ему добровольно дать не хотите.

Для мирного исхода настоящего неотвратимого кризиса, средство только одно: *Земский всенародный собор и на нем разрешение земского народного дела*. Это средство единospасительное в руках царя. Но он его употребить не хочет. Значит, он хочет крови.

Когда правители губят страну, частные люди должны приняться за дело спасения. Всем истинным консерваторам, имеющим ум, чтоб понимать и предугадывать необходимые происшествия, всем купцам, попам и дворянам, чиновникам военным и гражданским, любящим спокойствие и мир и желающим сохранить жизнь, имущество, жен, сестер и детей, всем, кому дороги благоденствие и слава России, я советовал бы об этом крепко подумать. Ведь времени на свободное размышление осталось немного. И не худо было бы, если бы они, сговорившись, составили между собою громадное консервативное общество, которое я им предложил бы назвать: „общество для спасения России от близорукости царской и от преступного министерского шарлатанства“, и пусть хором подымут они голос в пользу *Земского Собора*, как единого средства для предотвращения кровавой разрушительной катастрофы.

А нам, революционной партии, что делать? Мы также сплотимся и станем под знамя „*Народного дела*“. Мы хотим достигнуть его *народным путем* и не остановимся до тех пор, пока оно не исполнится совершенно.

Мы хотим и желаем:

1. Чтобы вся земля русская была объявлена собственностью целого народа, так чтоб не было ни одного русского, который бы не имел части в русской земле.
2. Хотим самоуправления народного — общинного, волостного, уездного, областного и наконец государственного, с царем или без царя,

все равно и как захочет народ. Но чтоб не было в России чиновничества и чтоб централизация бюрократическая заменилась вольною областною федерацией.

3. Хотим, чтоб Польше, Литве, Украине, Финнам и Латышам прибалтийским, а также и Кавказскому краю была возвращена полная свобода и право распорядиться собою и устроиться по своему произволу, без всякого с нашей стороны вмешательства, прямого или косвенного.

4. Хотим братского и, если будет возможно, федерального союза с Польшею, Литвою, Украиною, прибалтийскими жителями и с народами Закавказского края. Готовы и обязаны помогать им против всякого насилия и против всех внешних врагов, особливо же против немцев, когда они сами позовут нас на помощь.

5. Вместе с Польшей, с Литвой, с Украиной, мы хотим подать руку помощи нашим братьям Славянам, томящимся ныне под гнетом Прусского королевства, Австрийской и Турецкой империи, обязываясь не вложить меча в ножны, пока хоть один Славянин останется в немецком, в турецком, или другом каком рабстве.

6. Мы будем искать тесного союза с *Италией*, с которою у нас чувства, интересы и враги общие, — с *Мадьярами*, ненавидящими как и мы, австрийскую монархию, если только они совершенно откажутся от притеснения Славян, — с *Румынами* и даже с *Греками*, когда последние оставят в покое Болгар, и довольствуясь быть собою, забудут свои честолюбивые и свободопротивные, а главное, суетные византийские мечты.

7. Мы будем стремиться, вместе со всеми племенами Славянскими, к осуществлению заветной Славянской мечты: к созданию *Великой и вольной федерации Всеславянской*, где каждый народ, велик или мал, будет вместе вольным и братски с другими народами связанным членом; чтоб каждый стоял за всех, и все за каждого, и чтоб не было в братском союзе особенных государственных сил, чтоб не было ничьей гегемонии, но чтоб существовала единая и нераздельная общеславянская сила.

Вот широкая программа дела Славянского, вот необходимое последнее слово народнорусского дела. Этому то делу мы посвятили всю жизнь свою.

Теперь с кем, куда и за кем мы пойдем? Куда? мы сказали. С кем? мы также сказали: разумеется ни с кем, другим, как с народом. Но за кем? За Романовым, за Пугачевым или, если новый Пестель найдется, за ним?

Скажем правду; мы охотнее всего пошли бы за Романовым, если б Романов мог и хотел превратиться из петербургского императора в царя земского. Мы потому охотно стали бы под его знаменем, что сам народ русский еще его признает, и что сила его создана, готова на дело, и могла бы сделаться непобедимую силою, если б он дал ей только крещение народное. Мы еще потому пошли бы за ним, что он *один* мог бы

совершить и окончить великую мирную революцию, не пролив ни одной капли русской или славянской крови. Кровавые революции, благодаря людской глупости, становятся иногда необходимыми, но все-таки они зло, великое зло и большое несчастье, не только в отношении к жертвам своим, но и в отношении к чистоте и к полноте достижения той цели, для которой они совершаются. Мы видели это на революции французской.

Итак, отношение наше к Романову ясно. Мы не враги и не друзья его, мы друзья народно-русского, славянского дела. Если царь во главе его, мы за ним. Но когда он пойдет против него, мы будем его врагами. Поэтому весь вопрос состоит в том: хочет-ли он быть русским земским царем Романовым, или Голштейн-Готторпским императором Петербургским? хочет он служить России, славянам или немцам? Вопрос этот скоро решится, и тогда мы будем знать, что нам делать. Ни для него и ни для кого в мире мы не отступимся ни от одного пункта своей программы. И если для осуществления ее будет необходима кровь, да будет кровь.

Мы без содрагания не можем подумать о тысячах жертв, которые падут, вероятно. Но вся тяжесть кровавой вины пусть ляжет тогда на единственного виновника, на царя, который всех может спасти и, кажется, всех погубит. А средство спасения и для него и для нас только одно: идти до конца во главе революции и не останавливаться на полдороге. Если б мы хотели остановить настоящую революцию, то не могли бы; никто в мире не может. А если бы могли, то не хотели бы, потому что она необходима для освобождения нашего народа, для совершения русских и славянских судеб.

Если царь изменит России, Россия будет повергнута в кровавые бедствия. Что будет, какую форму примет движение, кто станет во главе его? Самозванец-царь, Пугачев, или новый Пестель-диктатор? Предугадать теперь невозможно. Если Пугачев, то дай бог, чтоб в нем нашелся политический гений Пестеля, потому что без него он утопит Россию и, пожалуй, всю будущность России в крови. Если Пестель, то пусть будет он человеком народным, как Пугачев, ибо иначе его не потерпит народ. А может быть ни Пестель, ни Пугачев, ни Романов, а Земский Собор спасет Россию.

Предугадать нельзя ничего. Наш долг теперь крепко сомкнуться и единодушно готовиться к делу. Покляться друг другу не отставать от народа, идти с ним, покуда сил станет. Времени может быть осталось немного,—*употребим его ни сближение с народом во чтобы то ни стало, дабы он признал нас своими* и позволил бы нам спасти хоть несколько жертв. Сойтись с народом, слиться с ним во единую душу и во единое тело—задача трудная, но для нас неизбежная и неотвратимая. Иначе мы будем представителями не народного дела, а только своих тесных кружковых интересов и своих личных страстей, чуждых и противных народу, а потому и преступных, ибо ныне что не служит

исключительно делу народному, то преступно. Он один призван к жизни в России, и только что с ним и что за него, то лишь одно имеет право на жизнь, то будет иметь силу на жизнь. Вне его нет русской силы и, лишь только соединившись с ним, мы можем вырваться из бессилия. Вот почему мы должны сойтись с народом во что бы ни стало. Важнее этого, для нас нет теперь другого вопроса.

Как с ним сойтись? Путь к достижению цели один: *искренность, правда*. Если вы не обманываете ни его, ни себя, когда говорите о своих стремлениях к народу, то вы найдете дорогу в душу и в веру его. Любите народ, он вас полюбит, живите с ним, и он пойдет за вами, и вы будете сильны его силою. Народ наш умен, он скоро узнает своих друзей, когда у него будут друзья *действительные*. Формулировать общее правило, известный прием для сближения с народом нет возможности: все это было бы мертво и сухо, потому что было бы ложно. Живое дело должно вытекать из живого ума и из живого сердца.

Вас много и вы рассеяны по всей русской земле. Пусть каждый из вас, служа общему делу, идет к народу по своему, но пусть каждый идет прямо и искренно, без хитрости, без обмана, пусть каждый несет в дар ему и весь ум и все сердце, и чистую, крепкую волю служить ему. Пусть каждый свяжет судьбу свою с его судьбою. Пусть каждый молодой человек перевоспитает себя в среде народной... И вы сделаетесь тогда, без сомнения, людьми народными.

Подвиг не легкий, но за то высокий и стоящий жертв: подвиг повивания новорождающегося русского мира! Кому он кажется противен, тот лучше не берись за русское дело. Для того есть приют под знаменем доктринеров. Путь наш труден. Отсталых, испуганных и усталых будет еще много... Но мы, друзья, выдержим до конца и безбоязненно, твердым шагом пойдем к народу, а там, когда с ним сойдемся, помчимся вместе; с ним, куда вынесет буря.

В РОССИИ¹⁾.

То, что происходит сейчас в России, достойно внимания всех социальных демократов Европы.

Нужно сознаться, что до сих пор имели совершенно ошибочное представление о характере и стремлениях, а также об экономическом положении народа, населяющего эту обширную страну. Так, до сих пор было еще довольно распространенным мнением в Европе, что теперешний царь²⁾,— благодетель и освободитель народа, является предметом народного поклонения; что он, действительно, освободил русских крестьян и устроил на солидном фундаменте благосостояние сельских общин, которые составляют всю силу и все богатство Всероссийской Империи. Разве не думали и не говорили что, осчастливив народ и заслужив его признательность, он стал настолько силен, что стоит ему сделать знак, чтобы эти миллионы фанатических варваров двинулись против Европы?

Говорили это и повторяли на тысячу различных ладов, одни не подозревая, другие прекрасно зная, что они этим оказывают огромную услугу столь ненавистному царскому владычеству, основанному гораздо более на воображении, на паническом страхе, ловко распространяемом им вокруг себя, и на умелом пользовании этим обстоятельством его дипломатами, чем на реальных фактах.

Так, разве не думали, в 1861 г., доверяя телеграммам князя Горчакова и русской и заграничной прессе, субсидированной петербургским пра-

¹⁾ Молодой революционер Нечаев, прибывший из России, приехал в Бельгию в марте 1869 г. К концу марта он был в Женеве, где сейчас же вступил в сношения с Бакуниным. Последний писал мне (письмо от 13 апреля): „В настоящий момент я чрезвычайно занят тем, что происходит сейчас в России, Наша молодежь, быть может, самая революционная, как в теоретическом отношении, так и практически, в мире, волнуется так сильно, что правительство принуждено было закрыть университеты, академии и несколько школ в Петербурге, Москве и Казани. У меня сейчас здесь один из таких молодых фанатиков, которые ни в чем не сомневаются, ничего не боятся и которые поставили себе принципом, что многие, очень многие должны погибнуть от руки правительства, но, что они не успокоятся до тех пор, пока народ не восстанет. Они восхитительны, эти молодые фанатики, верующие без Бога и герои без фраз! Папе Мерион доставило бы удовольствие видеть моего гостя, тебе тоже“.

²⁾ Александр II.

вительством, что весь русский народ, все классы: дворянство, духовенство, купечество, учащаяся молодежь и в особенности крестьяне единодушно желали раздавить, уничтожить Польшу; что правительство, которое хотело бы, может быть, действовать мягче, было принуждено стать палачем этого несчастного народа и что оно затопило его в крови, лишь повинувшись этой единодушной воле, этой безмерной народной страсти?

За очень немногими исключениями, все в Европе верили этому и эта всеобщая вера в значительной мере способствовала тому, что если негодование европейского общества не совсем затихло, то во всяком случае, действие его было парализовано.

Трусость и несогласия европейской дипломатии помогли, и Европа остановилась перед этим величественным проявлением, якобы, могущественного народа. Не посмели выступить против него и дали спокойно совершиться новому великому преступлению в Польше, не пойдя дальше смешных протестов.

Потом явились софисты, русские и не русские, одни платные, другие глупо ослепленные,—Прудон, великий Прудон, попал к сожалению в их ряды; они явились нам раз'яснить, что будто бы польские революционеры—католики и аристократы, представители мира, осужденного погибнуть; тогда как русское правительство, со всеми своими палачами, представляет, против них, интересы демократии, интересы угнетенных крестьян и нового принципа экономической справедливости.

Вот ложь, которую осмелились распространять и которая нашла доверие в Европе, и все это способствовало значительному увеличению прес—тижа и воображаемого могущества—могущества, которым никогда не следует пренебрегать—Всероссийской Империи в Европе.

Нужно, чтобы европейское общество ничего не знало из всего того, что существует и что происходит в этой огромной стране, чтобы поверить всем этим выдумкам, распространяемым, прямо или косвенно, русской дипломатией. И особенно странно то, что та часть печати во всех странах, которая принадлежит польской эмиграции или находится под ее влиянием, помогла московской дипломатии, отождествляя везде и всегда русский народ с петербургским правительством. Неужели столь законная ненависть поляков к своим угнетателям настолько ослепила их, что они не понимают, что таким способом они оказывают услугу именно тем, кого они ненавидят? Или они, действительно, являются до такой степени сторонниками существующих экономических порядков, что предпочитают даже свирепый царский режим социальной революции русских крестьян?

Как бы то ни было, пора покончить с этим постыдным и опасным невежеством. Являясь представителями международного освобождения труда и рабочих всех стран, мы не можем и не должны иметь никаких национальных предпочтений. Угнетенные рабочие всех стран—наши братья и, равнодушно относясь к интересам, честолюбивым помыслам и тщеславию

политического отечества, мы не признаем других врагов, кроме эксплуататоров народного труда.

Как представителям великой международной борьбы труда против эксплуатации дворянства или буржуазии, для нас очень важно знать, будут ли, в великий день борьбы, за нас или против нас те семьдесят миллионов, которые поработаны в настоящий момент в Велико-русской Империи, находящейся в столь близком соседстве с нами¹⁾, и сто миллионов славян, живущих в Европе.

Игнорировать их, не стараться узнать их характер, нравы, их современное положение и нынешние стремления было бы больше, чем ошибкой с нашей стороны, это было бы преступным безумием.

Благодаря некоторым друзьям, которые хорошо знают эти страны, мы можем заняться их изучением, что очень важно во всех отношениях, и мы это сделаем в серии статей²⁾.

Наиболее выдающееся событие, которое наполняет в настоящий момент столбцы всех официальных и официозных петербургских и московских газет, это внезапное закрытие университетов, академий и других государственных учебных заведений и многочисленные аресты студентов в Петербурге, Москве, Казани и других провинциальных городах. Потом распоряжения полиции, предписывающей трактирщикам и содержателям ресторанов не давать обеда зараз двум студентам, и хозяевам домов не допускать, чтобы какойнибудь студент провел ночь у другого ни даже, чтобы днем у него собиралось больше двух студентов. Тюрьмы, участки, карцеры третьего отделения (*Chancellerie secrete*), крепости полны молодыми людьми, которых хватают в обеих столицах или привозят из глубины России.

Что же происходит? Значит, не все обстоит благополучно, не все довольны в России? И что хотят эти молодые люди? Требуют они конституцию, такую же как в Бельгии или Италии или какую хочет у себя ввести, например, благодатная Испания? Ничуть ни бывало. Вы читали программу русской социальной демократии, которая, переведенная на французский язык, произвела такой скандал среди буржуа-социалистов Бернского Конгресса³⁾? Ну, так это их программа, это то, что они хотят. Они хотят ни больше ни меньше, как разрушения этой чудовищной Велико-русской Империи, которая в продолжение целых веков давила своей

¹⁾ В этой статье, написанной от имени редакции *l'Egalite*, Бакунин должен был говорить и говорит о России, как если бы автор был не русским, а западным человеком.

²⁾ Эта серия статей не была написана.

³⁾ Эта программа, написанная Бакуниным, появилась в первом номере (1-го сентября 1868 г.) русской газеты *Народное Дело*, основанной Бакуниным и Жуковским, но которая со второго номера перешла к Утину.

тяжестью народную жизнь, но которая, повидимому, не совсем ее убила. Они хотят социальную революцию, какую воображение Запада, смягченное цивилизацией, едва осмеливается себе представить.

И эти безумцы в небольшом числе? Нет, их легион; они образуют фалангу в несколько десятков тысяч: деклассированная молодежь, немного дворян, масса сыновей мелких служащих и сыновей священников и юноши, вышедшее из народа, как деревенские, так и городские. Но они обособлены от народа? Нисколько. Наоборот, это движение молодежи, которая, вышедши из самых низов русского общества, ищет света со всей энергией и страстью, каких не знают больше у нас, это движение растет и распространяется, несмотря на все репрессивные меры, свойственные русскому правительству, стремится слиться с каждым днем все больше и больше с народным движением, с движением народа, доведенного до отчаяния и невообразимой бедности знаменитым освобождением и другими реформами царя освободителя.

Еще немного времени, два года, год, быть может, несколько месяцев, и оба эти движения сольются в одно, и тогда,—тогда мы увидим революцию, которая, без сомнения, превзойдет все революции, какие мы знали до сих пор.

(Egalite, 17 апреля 1869 г.)

НАША ПРОГРАММА ¹⁾.

Мы хотим полного умственного, социально-экономического и политического освобождения народа.

I. *Умственного освобождения*, потому, что без него политическая и социальная свобода не могут быть ни полными, ни твердыми. Вера в бога, вера в бессмертие души и всякого рода идеализм вообще, как мы это докажем впоследствии, служа с одной стороны непременной опорой и оправданием для деспотизма, для всякого рода привилегий и для эксплуатации народа, с другой стороны деморализует самый народ, разбивая его существо как бы на два друг другу противоречащие стремления и лишая его, таким образом, энергии, необходимой для завоевания его естественных прав и для полного устройства свободной и счастливой жизни.

II. *Социально-экономического освобождения* народа, без которого всякая свобода была бы отвратительною и пустозвонною ложью. Экономический быт народов был всегда краеугольным камнем и заключал в себе настоящее объяснение их политического существования. Все доселе существовавшие и существующие политические и гражданские организации в мире держатся на следующих главных основаниях: на факте завоевания, на праве наследственной собственности, на семейном праве отца и мужа и на освящении всех этих основ религиею; а все это вместе и составляет существо государства. Необходимым результатом всего государственного устройства было и должно было быть рабское подчинение чернорабочего и невежественного большинства так называемому образованному эксплуатирующему меньшинству. Государство без привилегий, политических и юридических, основанных на привилегиях экономических, немислимо.

Желая действительного и окончательного освобождения народа, мы хотим:

- 1) Упразднения права наследственной собственности.

¹⁾ *Народное Дело* № 1, стр. 6—7, 1868.

2) Уравниения прав женщины, как политических, так и социально-экономических, с правами мужчины; следовательно, хотим уничтожения семейного права и брака, как церковного так и гражданского, неразрывно связанного с правом наследства.

3) С уничтожением брака рождается вопрос о воспитании детей. Их содержание со времени определившейся беременности матери до самого их совершеннолетия; их воспитание и образование, равное для всех — от низшей ступени до специального высшего научного развития — в одно и то же время индустриальное и умственное, соединяющее в себе подготовку человека и, к мускульному, и к нервному труду, должно лежать главным образом на попечении свободного общества.

Основой экономической правды мы ставим два коренные положения:

Земля принадлежит только тем, кто ее обрабатывает своими руками — земледельческим общинам. Капиталы и все орудия труда работникам — рабочим ассоциациям.

III. Вся будущая политическая организация должна быть ничем другим, как свободною федерациею вольных рабочих, как земледельческих, так и фабрично-ремесленных артелей (ассоциаций).

И потому, во имя освобождения политического, мы хотим прежде всего окончательного уничтожения государства, хотим искоренения всякой государственности со всеми ее церковными, политическими, военно и граждански-бюрократическими, юридическими, учеными и финансово-экономическими учреждениями.

Мы хотим полной воли для всех народов, ныне угнетенных империею, с правом полнейшего самораспоряжения, на основании их собственных инстинктов, нужд и воли; дабы, федерируясь снизу вверх, те из них, которые *захотят* быть членами русского народа, могли бы создать сообща действительно вольное и счастливое общество в дружеской и федеративной связи с *такими же* обществами в Европе и в целом мире.

Речи на Конгрессах Лиги Мира и Свободы.

Речи на Конгрессах Лиги Мира и Свободы.

I.

РЕЧЬ НА КОНГРЕССЕ ЛИГИ МИРА И СВОБОДЫ В 1867 г. ¹⁾.

Вступая на эту трибуну, я спрашиваю себя, граждане, каким образом я, русский, являюсь среди этого международного собрания, имеющего задачей заключить союз между народами? Едва четыре года прошло с тех пор, как русская империя, которой я, правда, всенепокорнейший подданный, возобновила свои преступления и убийства над геройскою Польшею, которую она продолжает давить и терзать, но которую, к счастью для всего человечества, для Европы, для всего славянского племени и для самих народов русских, ей не удастся убить.

Вот почему, не заботясь о том, что подумают и скажут люди, судящие с точки зрения узкого и тщеславного патриотизма, я, русский, открыто и решительно протестовал и протестую против самого существования русской империи. Этой империи я желаю всех унижений, всех поражений, в убеждении, что ее успехи, ее слава были и всегда будут прямо противоположны счастью и свободе народов русских и не русских, ее нынешних жертв и рабов. Муравьев, вешатель и пытатель не только польских, но и демократов русских, был извергом человечества, но вместе с тем самым верным, самым цельным представителем морали, целей, интересов, векового принципа русской империи, самым истинным патриотом, Сен-Жюстом, Робеспьером императорского государства, основанного на систематическом отрицании всякого человеческого права и всякой свободы.

В положении, созданном для империи последним польским восстанием ей остаются только два выхода: или пойти по кровавому следу Муравьева, или распасться. Середины нет, а желать цели и не желать средств, значит только обнаружить умственную и душевную трусость. Поэтому мои соотечественники должны выбирать одно из двух: или идти путем и средствами Муравьева, к усилению могущества империи, или за одно с нами откровенно желать ее разрушения. Кто желает ее величия, должен поклоняться, подражать Муравьеву и подобно ему, отвергать, давить всякую свободу. Кто, напротив, любит свободу и желает ее, должен понять, что осуществить ее может только свободная федерация провинций и народов,

¹⁾Напечатана в книге „Историческое Развитие Интернационала“, стр. 302 — 307.

т. е. уничтожение империи. Иначе свобода народов, провинций и общин — пустые слова. Право федерации и отделения, т. е. отступления от союза, есть абсолютное отрицание исторического права, которое мы должны отвергать, если в самом деле желаем освобождения народов.

Я довожу до конца логику постановленных мною принципов. Признавая русскую армию основанием императорской власти, я открыто выражаю желание, чтобы она во всякой войне, которую предпримет империя, терпела одни поражения. Это требует интерес самой России, и наше желание совершенно патриотично в истинном смысле слова, потому что всегда только неудачи царя несколько облегчали бремя императорского самовластья. Между империей и нами, патриотами, революционерами, людьми свободомыслящими и жаждущими справедливости, нет никакой солидарности.

Но довольно о наших частных делах. Займемся общими принципами, служащими предметом настоящих прений и долженствующими привести к соглашению два великие интереса: интерес отечества и интерес свободы.

То, что по моему мнению, справедливо относительно России, должно быть также справедливо относительно Европы. Сущность религиозной, бюрократической и военной централизации везде одинакова. Она цинично груба в России, прикрыта конституционной, более или менее лживой личиной в цивилизованных странах запада, но принцип ее все один и тот же — насилие. Насилие внутри, под предлогом общественного порядка; насилие внешнее под предлогом равновесия или даже, за неимением лучшего повода, — под предлогом Иерусалимских ключей. В нынешней Европе реакция почти всюду торжествует: всюду она грозит последним остаткам несчастной свободы, которая, невидимому, разучилась защищаться. Чем теперь заняты правительства? Они вооружаются друг против друга. Всюду затеваются чудовищные вооружения. Неужели мы идем к ужасным временам Валленштейна и Тилли? Горе, горе нациям, вожди которых вернутся победоносными с полей битв! Лавры и ореолы превратятся в цепи и оковы для народов, которые вообразят себя победителями.

Мы все здесь друзья мира, и конгресс наш собрался для рассуждения о нем. Но много-ли найдется между нами до того наивных, чтобы считать себя в силах не допустить человечество до готовящейся страшной всемирной войны? Нет, никто из нас не повинен в таком самообольщении. Мы собрались не для того, чтобы браться за дело, очевидно непосильное, а для того, чтобы изыскивать сообща условия, при которых международный мир возможен. Какие же принципы должны лечь в основу нашего дела?

Эти принципы, истинные начала справедливости и свободы, должны быть непременно провозглашены именно теперь, когда недостаток принципов деморализует умы, расслабляет характеры и служит опорой всем реакциям и всем деспотизмам. Если мы в самом деле желаем мира между нациями, мы должны желать международной справедливости. Стало быть,

каждый из нас должен возвыситься над узким, мелким патриотизмом, для которого своя страна — центр мира, который свое величие полагает в том, чтобы быть страшным соседям. Мы должны поставить человеческую, всемирную справедливость выше всех национальных интересов. Мы должны раз навсегда покинуть ложный принцип национальности, изобретенный в последнее время деспотами Франции, России и Пруссии для вернейшего подавления верховного принципа свободы. Национальность не принцип; это законный факт, как индивидуальность. Всякая национальность, большая или малая, имеет несомненное право быть сама собою, жить по своей собственной натуре. Это право есть лишь вывод из общего принципа свободы.

Всякий, искренно желающий мира и международной справедливости, должен раз навсегда отказаться от всего, что называется славой, могуществом, величием отечества; от всех эгоистических и тщеславных интересов патриотизма. Пора желать абсолютного царства свободы внутренней и внешней. Программа наших комитетов приглашает нас обсудить основания организации Соединенных Штатов Европы. Но возможна ли эта организация с ныне существующими государствами? Вообразите себе федерацию, где Франция стоит на ряду с великим герцогством Баденским, Россия на ряду с Молдо-Валахией. Вообще, вообразима ли федерация централизованных бюрократических и военных государств, какие покрывают всю Европу, кроме Швейцарии?

Всякое централизованное государство, каким бы либеральным оно не заявлялось, хотя бы даже носило республиканскую форму, по необходимости угнетатель, эксплуататор народных и рабочих масс в пользу привилегированного класса. Ему необходима армия, чтобы сдерживать эти массы, а существование этой вооруженной силы подталкивает его к войне. Отсюда я вывожу, что международный мир невозможен, пока не будет принят со всеми своими последствиями следующий принцип: всякая нация, слабая или сильная, малочисленная или многочисленная, всякая провинция, всякая община имеет абсолютное право быть свободной, автономной, жить и управляться, согласно своим интересам; своим частным потребностям, и в этом праве все общины, все нации до того солидарны, что нельзя нарушить его относительно одной, не подвергая его этим самым опасности во всех остальных.

Всеобщий мир будет невозможен, пока существуют нынешние централизованные государства. Мы должны, стало быть, желать их разложения, чтобы на развалинах этих единств, организованных сверху вниз деспотизмом и завоеванием, могли развиваться единства свободные, организованные снизу вверх, свободной федерацией общин в провинцию, провинций в нацию, наций в Соединенные Штаты Европы.

II.

РЕЧЬ НА КОНГРЕССЕ ЛИГИ МИРА И СВОБОДЫ В 1868 г. ¹⁾,

Граждане!

Я счастлив, что могу в вашем присутствии принять руку, так откровенно протянутую нам одним из представителей польской социальной демократии. Я принимаю ее от имени русской социальной демократии; и мы имеем право ее принять, потому что и мы, со страстью не уступающей по силе страсти польской демократии, желаем полного разрушения, совершенного уничтожения русской империи, империи, которая служит вечной угрозой для свободы мира, постыдной тюрьмой для всех народов, ею покоренных, систематическим и насильственным отрицанием всего, что называется правом, справедливостью, человечностью.

Год тому назад, на Женевском Конгрессе, я имел уже случай громко заявить, что между нами — партией народного освобождения — и между приверженцами этой чудовищной империи невозможно никакое соглашение. Наши цели диаметрально противоположны, они взаимно исключают друг друга. Кто желает сохранения империи, увеличения и развития ее могущества, как внешнего, так и внутреннего, тот должен с царем и с Муравьевыми идти против нас. Кто, напротив, желает свободы, благосостояния, умственного освобождения и нравственного достоинства народа, тот должен вместе с нами содействовать разрушению империи.

В Европе, обыкновенно, смешивают империю, состоящую из великой и малой России и всех покоренных земель, с самим народом, ошибочно воображая, что она есть верное выражение инстинктов, стремлений и воли народа, между тем как она, напротив, всегда играла роль эксплуататора, мучителя и векового палача народов.

Надо заметить, что совершенно неверно говорится о русском народе, как об едином целом, потому что русский народ не составляет однородной массы, а состоит из нескольких родственных, но все же различных племен.

¹⁾ Напечатана в книге „Историческое Развитие Интернационала“, стр. 339— 365.

Племена эти следующие: во первых, народ великорусский, славянский по происхождению, с примесью финского элемента, составляющий однородную массу 35-ти миллионного населения; это главная часть империи. На ней главным образом основалось могущество московских царей.

Но очень ошибется тот, кто предполагает, что этот народ добровольно и свободно сделался рабским орудием царского деспотизма. Вначале, до вторжения татар, и даже после, до начала XVII столетия, это был, конечно, тоже очень несчастный народ, мучимый своими правителями и привилегированными эксплуататорами земли, но пользовавшийся однакож естественной свободой и полным общинным и даже часто областным самоуправлением.

Вся северо-восточная часть империи, населенная преимущественно этим великорусским народом, разделялась, как известно, даже во время татарского ига, на несколько удельных княжеств, более или менее независимых друг от друга: и это разделение, эта взаимная независимость ограждали, до известной степени, свободу всех, — свободу, конечно, дикую, но действительную. Основания первобытной и не вполне сложившейся организации были чисто демократические. Князья, часто прогоняемые и почти всегда странствующие из одного княжества в другое, пользовались только ограниченной властью. Дворянство, составлявшее княжеский двор, кочевало вместе с князьями; следовательно, оседлых собственников было очень мало. Народ тоже кочевал и потому земля в действительности не принадлежала никому, т. е. она принадлежала всем — народу. Вот где кроется начало идеи, вкоренившейся в умах всех русских племен империи — идеи, пережившей все политические революции и оставшейся более могущественной, чем когда-либо, в народном сознании — идеи, носящей в себе все социальные революции, прошедшие и будущие, и состоящей в убеждении, *что земля, вся земля принадлежит только одному народу*, т. е. всей действительно трудящейся массе, обрабатывающей ее своими руками.

Цари, вначале великие князья московские, были долгое время только управляющими татар в России, управляющими униженно рабскими, страшно корыстными и неутомимо жестокими; и как подобает управляющим, они обделывали свои собственные дела гораздо больше, чем дело своих господ; благодаря покровительству татар, они постепенно увеличивали свои владения, в ущерб соседним княжествам. Таково было начало московского могущества. Целые два столетия великие князья московские, московские бояре и московская церковь образовывались в политической школе, принципы которой выражаются словами — рабство, низкое подобострастие, гнусная измена, жестокое насилие, отрицание всякого права и всякой справедливости и полное презрение к человечеству. Когда, благодаря этой политике, благодаря особенно несогласию татар между собою, эти управляющие, до

сих пор рабски покорные, почувствовали себя достаточно сильными, чтобы избавиться от своих господ, они их прогнали.

Но татарщина, вместе со своими скверными качествами рабства, успела глубоко вкорениться в официальном и официозном мире Москвы.

Подобное политическое начало достаточно объясняет дальнейшее развитие Российской империи. Но судьба готовила нам еще другой великий источник развращения.

В конце XV века Константинополь пал и наследие умирающей византийской империи разделилось на две части. На запад бежавшие греки принесли с собою бессмертные традиции древней Греции, которые дали толчок живому движению Возрождения. А нам она завещала, вместе со своей княжной, своими патриархами и чиновниками, всю испорченность византийской церкви и ужасный азиатский деспотизм в политической, социальной и религиозной жизни.

Вообразите себе дикого князя, татарина с головы до ног, грубого, жестокого, трусливого в случае нужды, лишенного всякого образования, не только презиращего всякое право, но совершенно не имеющего понятия о праве и человеколюбию; из первоначального рабского положения он вдруг возносится в своем воображении, по меньшей мере на высоту византийского императора и воображает себя призванным быть богом на земле, владыкой всего мира. А возле него церковь, не менее грубая, не менее невежественная, но властолюбивая и развращенная из своего рабского положения в Византии, она переносится в несравненно более рабское положение, в Москве, честолюбивая и в тоже время алчная и раболепная, является всегда послушным орудием всякого деспотизма; вечно пресмыкаясь перед царем, она наконец, так тесно смешала в своих молитвах его имя с именем бога, что удивленные верующие, в конце концов, не знают, кто бог и кто царь. Рядом с этой церковью и этим царем вообразите себе дворянство, не менее жестокое и варварское, составленное из самых разнородных элементов: из потомков русских князей, лишенных своих уделов, из татарских князей, из литовских дворян, укрывшихся в Москве, из новых и старых бояр, титулованных дворцовых лакеев, чиновников и сыщиков дикой московской администрации; в все они образуют вокруг трона что-то вроде наследственной бюрократии, официальную касту, совершенно отделенную от народа; эта каста сама до бесконечности дробится по родам и чинам, раз'единяется честолюбием, жадностью, соревнованием лакейства, но составляет единоедушное целое в одном общем рабстве, в невероятном самоуничтожении перед истинным богом империи — гарем. Одинаково безличны, одинаково уничтоженные перед ним, все они, с каким-то рабским сладострастием называют сами себя его рабами, холопами, людьмишками, Мишками, Петьками, безропотно сносят от него всякое унижение, позволяют себя оскорблять, бить, истязать, убивать; признают царя безу-

словным господином своего имущества, своей жизни, детей и жен своих, и взамен такого полного самоунижения, они просят только одного — земли, как можно больше земли для эксплуатации, права грабить казну без стыда и немилосердно мучить народ.

Итак, народ, вот истинная вековая жертва московской истории.

Наша история представляет противоположность истории запада. Там короли соединялись в начале с народом, чтобы подавить аристократию, а у нас рабство народа было результатом корыстного союза царя, дворянства и высшего духовенства. Следствием всего этого было то, что народ великорусский, свободный до конца XVI века, вдруг оказался прикрепленным к земле, и сначала фактически, а потом и юридически сделался рабом господина — собственника земли, дарованной ему государством.

Терпеливо ли он выносил это рабство? Нет. Он протестовал тремя страшными восстаниями. Первое восстание произошло в самом начале XVII века, в эпоху Лжедмитрия. Совершенно неверно объяснять это восстание династическими вопросами или интригами Польши. Имя Димитрия было только предлогом, а польские войска, приведенные польским магнатом, были так малочисленны, что не стоит говорить об них. Это было истинное восстание народных масс против тирании московского государства, бояр и церкви. Могущество Москвы было разбито и освобожденные русские провинции послали туда своих депутатов, которые хотя и выбрали нового царя, но принудили его принять известные условия, ограничивавшие его власть; он поклялся сохранять эти условия, но впоследствии, конечно, нарушил эту клятву. Главными основаниями этой хартии были — уничтожение московской бюрократии и автономия общин и областей, следовательно совершенное уничтожение гегемонии и всемогущества Москвы.

Но хартия была нарушена. Царь Алексей, наследник народного избранника, с помощью дворянства и церкви восстановил деспотическую власть и рабство народа. Тогда-то поднялось народное восстание, носившее на себе тройной характер: религиозный, политический и социальный — восстание Стеньки Разина, первого и самого страшного революционера в России. Он поколебал могущество Москвы в самом ее основании. Но он был побежден. Недисциплинированные народные массы не могли вынести напора военной силы, уже организованной офицерами, вызванными из Европы, особенно из Германии. И эта новая победа государства над народом послужила основанием новой империи Петра Великого. Петр понял, что для основания могущественной империи, способной бороться против рождавшейся централизации западной Европы, уже недостаточно татарского кнута и византийского богословия. К ним нужно было прибавить еще то, что называлось в его время цивилизацией запада — т. е. бюрократическую науку. И вот из татарских элементов, полученных в наследие от отцов и с помощью этой немецкой науки, он основал ту чудовищную бюрократию, которая и до сих пор давит и угнетает нас. На вершине этой

пирамиды стоит царь, самый бесполезный и самый вредный из всех чиновников; под ним дворянство, попы, и привилегированные мещане, все имеющие значение только по столько, по сколько они служат и грабят государство; а внизу, как пьедестал пирамиды, — народ, податями задавленный и мучимый немилосердно.

Покорился ли народ своему рабству? Примирился ли он с империей? Нисколько. В 1771 году, среди торжества Екатерины II над турками и над несчастной и благородной Польшей, которую она задушила и разорвала на части, не одна впрочем, так как ей помогали в этом два знаменитых представителя западной цивилизации: Фридрих Великий, король прусский, друг философов и сам философ, и набожная Мария Терезия, императрица австрийская; итак, среди торжества Екатерины II, в то время, как весь мир удивлялся возроставшему могуществу и удивительному счастью императрицы всероссийской, Пугачев, простой донской казак, поднял всю восточную Россию. Действительно, вся страна между Волгой и Уралом восстала; миллионы крестьян, вооруженных топорами, пиками, ружьями и всяким оружием, поднялись; и для чего? чтобы избить повсюду дворян и чиновников, чтобы захватить всю землю в свои руки и образовать на ней свободные сельские общины, основанные на коллективной собственности; Екатерина сначала отнеслась с презрением к этому восстанию, но затем испугалась не на шутку.

Многочисленные полки, посланные против бунтовщиков, под предводительством старых генералов, были разбиты. Вся народная Россия, Россия крестьянская, пробужденная, воспламененная доброй вестью, взволновалась. Народ ждал Пугачева в Москве. Если бы он пришел, русская империя погибла бы безвозвратно. Императрица послала против Пугачева огромную армию и народ еще раз был побежден.

Что же, покорился ли он после этого? Нет. Со времени казни Пугачева и до наших дней, внутренняя, более или менее секретная история империи состоит из последовательного и непрерывного ряда частных и местных восстаний крестьян — восстаний, вызываемых глубокой и непримиримой ненавистью их к помещикам, ко всем чиновникам и к государственной церкви.

Вы видите, господа, я был прав, говоря, что между великорусским народом и империей, его давящей, нет ничего общего. Первый есть отрицание последней; примирение между ними невозможно, потому что интересы их несовместимы: интересы народа заключаются в свободном пользовании землей, в самостоятельности сельских общин, в благосостоянии, вытекающем из свободного труда и исключаящем, следовательно, помещичью собственность, опеку, т. е. бюрократический грабеж, набор, налоги — все, что составляет самую суть государства. Как же может народ любить государство и желать сохранения его могущества?

Но, возразят, разве народ не обожает царя? На это я скажу, что обожание царя есть только результат громадного недоразумения. За несколько лет до великой французской революции, английский путешественник, Артур Юнг, видя восторг, с которым встречало Людовика XVI сельское и городское население Франции, сказал, что „народ, который так обожает своего короля, никогда не может быть свободен". Через несколько лет совершилась революция и никто не помешал столичным революционерам возвратить бежавшую царскую фамилию под стражей из Варенн в Париж. Знаете ли, что означает это воображаемое обожание русского царя народом? Это — проявление ненависти к дворянству, к официальной церкви, ко всем государственным чиновникам, т. е. ко всему, что составляет самую суть императорского могущества, самую существенную сторону империи. Царь для народа, подобно богу, только отвлеченность, во имя которой он протестует против жестокой и подлой действительности.

Таково положение великорусского народа. Теперь судите сами, справедливо ли, приписывать ему преступления и завоевания, совершаемые империей? Но, скажут, разве он не снабжал солдатами? Да, конечно, как французский народ снабжал армии Наполеона I для завоевания мира, как он снабжал ими Наполеона III для покорения Мексики и Рима, как в настоящее время еще большая часть Германии приготавливает своих солдат, чтобы сделать из них пассивное орудие в руках графа Бисмарка. Есть ли в самом деле, в характере великорусского народа эти воинственные, завоевательные элементы. Вот в чем вопрос. На это я могу смело ответить, что славянские народы вообще, великорусский в особенности, наименее завоевательный народ в мире. Единственная вещь, которую он страстно желает — это свободное и коллективное пользование землей, которую он обрабатывает; все остальное ему чуждо и вызывает в нем страх.

Впрочем, посмотрите всю историю этого народа и скажите, шел ли он когданибудь по доброй воле на запад? Туда ходили русские армии, собранные и дисциплинированные кнутом, для удовлетворения честолюбия царей, — русский же народ никогда. Причина этого весьма проста. Народ этот по преимуществу земледельческий и требует земли, свободной земли. А на западе земля не свободна, напротив чрезвычайно густо заселена, на востоке же она беспредельна, необработанна и плодородна, — вот почему пока русский народ был свободен в своих движениях, пока Петр Великий не прикрепил его окончательно к земле, он всегда направлял свой путь на восток, поворачивая спину западу до тех пор, пока это движение не прекратилось насильственно империей.

Вот, господа, сущность истории великорусского народа. Но кроме него, есть еще малороссы, более чистые славяне с меньшей примесью финского элемента: они образуют в империи 12 миллионов населения, а если прибавить к ним галицийских русинов, то — целые 15 миллионов племени, говорящего одним языком, имеющего одинаковые нравы и вели-

кие исторические воспоминания. После вторжения татар народ этот, к несчастью, был поставлен между московским деспотизмом, с одной стороны, и жестоким притеснением иезуитствующей и аристократической польской шляхтой с другой.

Воставши против этой последней, в половине XVII века, часть Украины из ненависти к Польше совершила великую ошибку: она приняла покровительство русского царя. Цари обещали ей все: и сохранение ее вольностей и национальную автономию, так как обещание всех государей, будут ли они цари, простые герцоги, короли или императоры, походят друг на друга всегда и везде, то русские цари наградили, конечно, Малороссию самым грубым деспотизмом, таким-же, какой существовал в великой России с жестокой помещичьей эксплуатацией и не менее жестоким притеснением бюрократии. В XVIII веке, когда Франция готовилась к революции. Екатерина II, филантропствовавшая императрица, восхваляемая философами, ввела крепостное право, до того времени не существовавшее в Польше. А в настоящее время это панславистское национальное правительство систематически и жестоко преследует малороссийский язык в Малороссии, как польский в Польше. Пусть будет это предостережением австрийским и турецким славянам, которые ищут свое спасение в Москве.

Этот народ, вместе с 4 миллионами белоруссов, по всей вероятности, составит отдельную, независимую нацию миллионов в 20 жителей, которая может, конечно, вступить в союз с Польшей или Великоруссией, но должна остаться совершенно независимой от гегемонии той и другой. Но, скажут, разве положение этих народов не улучшилось значительно со времени пресловутого освобождения крестьян, которым так гордится царствующий ныне император? Не верьте этому освобождению, оно только на словах; народ перестал ему верить окончательно. Я считаю необходимым сказать о нем несколько слов, чтобы рассеять заблуждения запада на этот счет. Я начну с замечания, что напрасно приписывают честь этой попытки или этого ложного освобождения великодушию императора Александра II. Ее единственной причиной была крымская катастрофа. Эта война, к счастью столь несчастная для нас, нанесла тяжелый удар самому существованию империи. Здание, воздвигнутое Петром Великим, Екатериною II и Николаем I, вдруг пошатнулось, внезапно открыло всю свою преждевременную гнилость и действительную негодность. После крымской войны для всех стало очевидно, что старый порядок вещей не может более продолжаться и что если государство не будет преобразовано, то народная революция вспыхнет неминуемо. Старый порядок основан был на крепостном праве — следовательно, надо освободить народ. Таково было в то время единодушное убеждение всей России; такова была страстная надежда, великое ожидание народных масс. Чтобы доказать вам справедливость моих слов я приведу свидетельство одной важной особы, авторитет которой в этом случае не может быть подвергнут сомнению. Эта особа сам император Александр II.

Не помню, было ли это в 1859 или 1860 г., он произнес публично в полном собрании московских дворян следующие замечательные слова: „Господа, мы должны поторопиться освободить крестьян, ибо лучше для всех нас, чтобы эта революция произошла сверху, а не снизу“. Смысл этих слов черезчур прост, и ясен; неправда ли? Если бы народу не дали подобия свободы, он сам бы ее взял; но взял бы уже свободу полную, действительную, безусловную, взял бы ее посредством революции, т. е. уничтожения дворянства и империи.

Государство находилось тогда в крайне трудном и шекотливом положении, с одной стороны, оно должно было освободить народ, с другой— очень хорошо понимало, что не может этого сделать действительно, потому что все его существование, все условия его бытия враждебны действительному освобождению народа. Следовательно, надо было обмануть его, кажущимся освобождением, дать им, в интересах сохранения государства такую свободу, которая в сущности не была бы свободой, и не разорила бы помещиков, заставив крестьян заплатить вдвое, втрое дороже за землю, которая и без того принадлежала ему по праву их собственного тяжелого труда и труда всех предков их. Это и было сделано. Несмотря на эту свободу, о которой так много кричали в Европе, русский народ до сих пор прикреплен к земле, и русский крестьянин, сделавшийся собственником своей земли, вместе с тем окончательно разорен и почти умирает с голоду.

Чтобы собрать оброки и покрыть недоимки, которые он не в состоянии платить, продают орудия его труда и даже его скот; у него нет более семян для посева, нет возможности обрабатывать землю. Вот то счастье, которым наградил его великодушный Александр II.

Не понимая подобной свободы, он восставал. Его били, расстреливали и ссылали. Во многих губерниях он и теперь еще нередко просит правительство взять землю назад, которая при настоящих условиях, его разоряет, — его же бьют палками, сажают в тюрьмы, расстреливают. Таково настоящее положение народа, и теперь он начинает понимать, что царь— божественная отвлеченность и есть действительная и главнейшая причина всех его бедствий. От этого сознания до кровавой революции очень недалеко.

Но кто сумеет организовать и направить эту революцию? Молодежь. Говоря вам о революционной русской молодежи, я не могу не упомянуть о случае, бывшем между нами и которым хотели воспользоваться против меня. Я говорю о новом манифесте русской социальной демократии, который многие из вас читали. Им воспользовались третьего дня, как неоспоримым аргументом, чтобы склонить вас отвергнуть принцип экономического и социального уравнивания классов и лиц, который мною и моими друзьями был вам предложен в надежде, что вы захотите дать рабочим массам серьезное и действительное доказательство искренности ваших демократических и народных чувств. Вам сказали: „видите, чего хотят эти нарушители обще-

ственного порядка. Они хотят уничтожения религии, собственности, семейства и государства — этих вечных основ цивилизации"; эти гг. должны бы были прибавить „и вечной несправедливости". Эти основы и эти причины существующего порядка вещей так прекрасны и так справедливы, что вы сами в своей программе заявляете о необходимости „радикального" их преобразования. Я не имею намерения входить в подробности этого спора. Я хочу только отклонить от себя честь издания этого манифеста, причем громко заявляю, что я от всего сердца признаю все изложенные в нем принципы. В доказательство, что я действительно не участвовал в составлении этого документа я приведу только один факт. В 1862 г. та же самая программа с небольшими изменениями и, конечно, иначе изложенная, была напечатана тайно в России под названием „Манифеста Молодой России".

Скажут, как говорили и тогда, что „этот манифест есть только необдуманное и преувеличенное выражение чувств очень небольшого числа молодых ветреников". Это, господа, глубокая ошибка. Хотите вы знать число молодых и пожилых людей, разбросанных по России и сочувствующих этим принципам, людей которых чувства, стремления, инстинкты или, если так можно выразиться, симпатии вполне выражаются изложенными в манифесте принципами? Я думаю, что я скорее уменьшу, чем преувеличу, если скажу, что число таких людей простирается до 40, даже до 50 тысяч человек. Ведь это целая армия! И армия осмысленная и энергичная. Кто составляет ее? Молодые люди, вышедшие из корпусов, гимназий и университетов, дети мещан или разорившегося мелкого дворянства. Юноши, почти лишенные средств существования, но тратящие последний свой грош на приобретение книг и образование; в особенности дети сельского духовенства, большинство которых погибает в адских трущобах наших семинарий, но из числа которых очень многие, притом самые умные и сильные, вырываются оттуда, полные энергии и ненависти ко всему существующему строю. Наконец, много крестьянских и мещанских детей — юношей полных жизни, из которых многие делаются замечательными людьми, если счастливый случай даст им возможность образоваться. Вот, господа, наша революционная фаланга, которую государство преследует немилосердно, сотнями ссылает в Сибирь, сажает в тюрьмы, умышленно убивает и истязает всеми способами, и, не смотря ни на что, оказывается бессильным против них, так как они черезчур многочисленны, разбросаны по всему пространству империи, а главное черезчур незаметны и потому легко избегают надзора.

Но что могут сделать разбросанные 40 или 50 тысяч человек против организованной силы государства? Они могут тоже организоваться; они уже организовываются, а посредством организации сделаются в свою очередь силою, и силою тем более грозною, что она будет почерпать свою силу не в себе самой, а в народе. Они сделаются безустанными и деятельными посредниками между нуждами, инстинктами, неодолимой, но еще неосознанной силой народа и революционной идеей.

С таким народом, социалистом по инстинкту и революционером по природе, и с такой молодежью, стремящейся по принципам и, что еще важнее, по самому своему положению, к уничтожению существующего порядка вещей,—революция в России несомненна. Что же будет ее первым, ее необходимым делом? Разрушение империи, потому что пока существует империя ничего хорошего и живого не может осуществиться в России. Это, господа, убеждение русской революционной молодежи и мое также. Мы патриоты народа, а не государства. Мы хотим счастья, достоинства, свободы нашего народа, всех народов русских, и не русских заключенных ныне в империи. Поэтому то мы и желаем разрушения империи. Ясно это?

Позвольте мне, господа, прибавить к этой длинной речи, еще одно замечание. Год тому назад, один демократический журнал, издаваемый в Лейпциге, обращаясь ко всей демократической русской эмиграции и называя между прочим и мое имя, задал нам вопрос: вы называете себя демократами, социалистами, заклятыми врагами вашего правительства, скажи те же нам, каковы ваши чувства и мысли относительно честолюбивых стремлений вашей империи? Ненавидите ли вы, подобно нам, порабощение Польши, Кавказа, Финляндии, Балтийских провинций, ваши недавние завоевания в Бухаре и воинственные планы против Турции?

На этот вопрос, впрочем совершенный естественно, я не считал нужным отвечать тогда: теперь я отвечаю на него. После всего сказанного ответ будет легок. Впрочем, для всех добросовестных людей он вытекает сам собой из моей прошлогодней речи, сказанной на Женевском Конгрессе. Если мы желаем полного и совершенного уничтожения империи, мы можем только ненавидеть ее властолюбие, а следовательно и все ее победы на севере, как и на юге, на востоке, как и на западе, и я думаю, что самым большим счастьем для русского народа было бы поражение императорских войск, какимнибудь внутренним или внешним образом. Вот мое мнение относительно общего принципа.

Теперь, вдаваясь в подробности и начиная с севера, я скажу: Я желаю, чтобы Финляндия была свободна и имела полную возможность организоваться, как желает и соединиться, с кем хочет. Я говорю тоже самое, совершенно искренно и относительно Балтийских провинций. Я прибавлю только маленькое замечание, которое мне кажется необходимым, потому что многие из немецких патриотов, республиканцев и социалистов, имеют, повидимому, две мерки, когда дело доходит до международной справедливости—одну для них самих, а другую для всех остальных наций, так что нередко то, что им кажется справедливым и законным, когда оно касается германской империи, принимает, в их же глазах, вид отвратительного насилия, если совершаются другой какойнибудь державой.

Предположим, например, что Германия будет завоевана иностранным государством, например, Францию; тринадцать четырнадцатых населения этой страны, следовательно, большинство обитателей, считаются чистыми

немцами и только одна четырнадцатая, горсть завоевателей и властителей — класс привилегированного дворянства и буржуазии — оказывается состоящей из французов, Я прошу немцев, задававших нам вопрос, ответить в свою очередь, откровенно, положив руку на сердце: будет ли эта страна по их мнению, французская или немецкая? Я отвечу за них, — конечно она считается немецкой в их глазах. Во первых, потому что огромное большинство состоит из массы подавленной, эксплуатируемой, производительной — словом, из рабочего народа, а будущность также как и симпатия их — я не сомневаюсь в этом ни минуты, — на стороне рабочего люда. Таково положение Балтийских провинций. Откройте Кольба, великого статистика, которым так гордится Германия, и вы увидите, что во всех прибалтийских провинциях, включая туда даже петербургскую губернию, всего только двести тысяч немцев, на население в два миллиона восемьсот тысяч человек ¹⁾ как раз одна четырнадцатая часть.

Посмотрим теперь, из каких элементов состоит это незначительное немецкое большинство. Его составляют, во первых, благородные потомки ливонских рыцарей, которые с панским благословением и под предлогом религии, а в особенности, чтобы присвоить чужое достояние, крестили огнем и мечем эту несчастную страну. Чем стали она теперь? Высокомерными владыками народа, которого они продолжают эксплуатировать, и рабски преданными слугами петербургского императора. Если наши немецкие друзья хотят взять их, если они думают, что королевские дворцы в Берлине недостаточно наполнены юнкерами Померании, пусть они берут их. Затем их управляющие протестантского исповедания — самые закоснелые, непреклонные и правоверные из всех протестантов; они покорные слуги помещиков, для пользы которых всеми силами стараются задушить умственные способности несчастных латышских и финских крестьян. Желают ли наши друзья, принимая их в виде подарка, увеличить число своих собственных эксплуататоров народного невежества? — Наконец, остается буржуазия, которая несколько не лучше и не хуже мелкой, средней и крупной буржуазии немецких городов, зарабатывающей своим трудом средства к жизни, или эксплуатирующей, когда можно чужой труд; она верный слуга российского императора, но будет тем же самым и для всякого другого господина, который захотел бы подчинить ее своей власти. Она иногда может резонерствовать, но никогда не возмутится против своих господ, ибо ее призвание — резонерствовать и всегда повиноваться. Все остальное население — два миллиона шестьсот тысяч — состоит из латышей и финнов, т. е. из элементов совершенно чуждых немецкой народности, даже более чем чуждых, враждебных — ибо нет имени более ненавистного для этого народа, чем имя немцев. Это весьма естественно: разве раб может любить своего

¹⁾ Кольб насчитывает во всей империи 60.000 немцев.

господина и мучителя? Я слышал однажды сам, как латышский крестьянин говорил: „Мы ждем минуты, когда можно будет вымостить черепами немцев большую дорогу, ведущую в Ригу". Вот, господа, страна, которую германские газеты представляют нам немецкой. Русская ли она поэтому? Нет, нисколько. Сделанная сначала немецкой, а потом русской, по праву завоевания, т. е. в силу жестокой несправедливости и нарушения всех прав естественных и человеческих, она по природе своей, по инстинктам и желаниям своих обитателей, ни русская, ни немецкая; она финская и латышская страна. Что произойдет с ней в будущем, с какой национальной группой захочет она соединиться — трудно предвидеть. Верно одно, и это не осмелится отрицать ни один искренний и серьезный демократ, будет ли он русский или немец все равно, верно неоспоримое право этого народа располагать своей судьбою, независимо от 200.000 немцев, которые притесняли его и теперь притесняют, и которых он ненавидит, независимо от всякого германского союза и от российской империи.

Теперь перейдем к Польше. Вопрос, мне кажется, одинаково прост, если хотят разрешить его только с точки зрения справедливости и свободы: все народности, все страны, которые захотят принадлежать к новой польской федерации, будут польские, все которые не захотят этого, не будут польскими. Русское население Белоруссии, Литвы и Галиции соединится с кем захочет и никто не в состоянии теперь определить его будущую судьбу. Мне кажется, всего вероятнее и желательнее, чтобы они образовали с Малороссией отдельную национальную федерацию, независимую от Великороссии и Польши.

Наконец, останется ли сама Великороссия со своим 35 миллионным населением тоже политически централизованной, как и теперь? Это нежелательно и невероятно. Централизованное 35 миллионное население никогда не может быть свободным внутри и мирным и справедливым вне своих пределов. Великороссия, как все другие славянские земли, следуя великому стремлению века, который требует неперменного разрушения всех великих или малых политических централизаций, всех учреждений, организаций, чисто политических, и образования новых социальных групп, основанных на коллективном труде, и стремящихся к всемирной ассоциации,—Великороссия, которая, как все другие страны, которых коснулась демократическая и социальная революция, разрушится сначала, как политическое государство и свободно реорганизуется вновь снизу вверх, от периферии к центру, смотря по своим потребностям, инстинктам, стремлениям и интересам, как личным, так коллективным и местным, на единственном основании, следовательно, на котором возможно утвердиться, истинной справедливости и действительной свободе.

Наконец, чтобы резюмировать все сказанное, я еще раз повторю: да, мы хотим совершенного разрушения российской империи, полного уничто-

жения ее могущества и ее существования. Мы хотим этого столько же во имя человеческой справедливости, как и во имя патриотизма.

Теперь, когда я достаточно ясно высказался, настолько ясно, что никакая двусмысленность или сомнение более не возможны, я позволю задать один вопрос нашим немецким друзьям, предложившим нам вышеприведенные вопросы. Согласны ли они, во имя любви к справедливости и свободе, отказаться от польских провинций, каково бы ни было их географическое положение, их стратегическая и торговая польза для Германии—желают ли они отказаться от всех польских стран, население которых не хочет быть немецким? Согласны ли они отказаться от своего, так называемого, исторического права на часть Богемии, которую до сих пор не удалось германизировать, не смотря на прекрасные, всем известные, исторические, иезуитские и жестоко деспотические средства, — на Моравию, Силезию и Чехию где ненависть населения увы, совершенно справедливая, к немецкому владычеству, не может подлежать сомнению? Согласны ли они отречься во имя справедливости и свободы, от честолюбивой политики Пруссии, которая, во имя коммерческих и морских интересов Германии, хочет силою присоединить датское население Шлезвига к Северному Германскому Союзу? Согласны ли они отказаться от своих притязаний, во имя тех же коммерческих и морских интересов, на город Триест, гораздо более итальянский, нежели немецкий? Одним словом, согласны ли они отречься от своей страны, как они этого требуют от других, от всякой политики и признать для себя, как для других, все условия и все обязанности налагаемые свободой и справедливостью? Согласны ли они принять во всей широте и во всех применениях следующие принципы — единственные, на которых может создаваться международный мир и справедливость.

1) Уничтожение того, что называется историческим правом и политической необходимостью государства, во имя каждого населения большого или малого, слабого или сильного, также как каждой отдельной личности, располагать собою с полной свободой, независимо от потребности и притязаний государства, и ограничивая эту свободу только равным правом других.

2) Уничтожение всяких постоянных договоров между личностями и коллективными единицами—ассоциациями, областями, нациями,—иными словами, признание за каждым права, если он также свободно связал себя с другим лицом, уничтожить договор, исполнив все временные и ограниченные условия, которые он содержит. Право это основывается на принципе, составляющем необходимое условие действительной свободы—что прошедшее не должно связывать настоящего, а настоящее не должно связывать будущего, и что неограниченное право принадлежит живущим поколениям.

3) Призвание для областей, также как и для ассоциаций, общин, провинций и наций, права свободного удаления из союзов, с единственным неперенным условием, чтобы выходящая часть не поставила в опасность

свободу и независимость целого, от которого отходит, своим союзом с иностранной и враждебной державой. Вот истинные, единственные условия свободы и справедливости. Согласны ли они, наши немецкие друзья, признать их так же искренно, как признаем их мы? Одним словом, хотя ли они вместе с нами уничтожения государства—всех государств?

Господа, в этом заключается весь вопрос. Государство—это насилие, притеснение, эксплуатация, несправедливость, возведенные в систему и сделавшиеся красугольным камнем существования всякого общества. Государство никогда не имело и не может иметь нравственности. Его нравственность и его единственная справедливость есть высший интерес его самосохранения и всемогущества—интерес, перед которым должно преклоняться все человечество. Государство есть полное отрицание человечества, отрицание двойное—и как противоположность человеческой свободе и справедливости, и как насильственное нарушение всеобщей солидарности человеческого рода. Мировое государство, которое столько раз пробовали создать, всегда оказывалось невозможным: следовательно, пока государство будет существовать, их будет несколько; а так как каждое из них ставит себе единственной целью, высшим законом, поддержать свое существование в ущерб всем другим, то понятно, что самое существование государства подразумевает уже вечную войну—насильственное отрицание человечества. Всякое государство должно завоевывать или быть завоеванным. Всякое государство основывает свое могущество на слабости, а если может без вреда для себя, и на уничтожении других держав.

С нашей стороны, господа, было бы странным противоречием и смешной наивностью заявлять желание, как это было сделано на теперешнем конгрессе, учредить международную справедливость, свободу и вечный мир, а вместе с тем хотеть сохранить государство. Невозможно заставить государства изменить свою природу, ибо в силу именно этой природы они государства, и, отказываясь от нее, они перестают существовать. Следовательно, нет и не может быть хорошего, справедливого и нравственного государства. Все государства дурны в том смысле, что они по природе своей, т. е. по условиям цели своего существования составляют диаметрально противоположность человеческой справедливости, свободы и нравственности. И в этом отношении, что бы ни говорили, нет большой разницы между дикой всероссийской империей и самым цивилизованным государством Европы. И знаете ли вы, в чем заключается это различие? Царская империя делает цинически то, что другие совершают под покровом лицемерия, и она составляет по своему открытому, деспотическому и презрительному отношению к человечеству, тайный идеал, к которому стремятся и которым восторгаются все государственные люди Европы. Все государства Европы делают то, что делает она, на сколько позволяет им это общественное мнение и, главное, новая, но уже могущественная солидарность рабочих масс, носящая в себе семя разрушения государств. До-

бродетельным государством может быть только государство бессильное, да и оно преступно в своих мыслях и желаниях.

Итак я прихожу к заключению: Тот кто желает вместе с нами учреждения свободы, справедливости и мира, хочет торжества человечества, кто хочет полного и совершенного освобождения народных масс, должен желать вместе с нами разрушения всех государств и основания на их развалинах всемирной федерации производительных свободных ассоциаций всех стран.

Федерализм, Социализм и Антитеологизм.

Федерализм, Социализм и Антитеологизм.

МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ „ЛИГИ МИРА И СВОБОДЫ“ ¹⁾.

Господа!

Дело, занимающее нас сегодня, это организовать и окончательно упрочить Лигу Мира и Свободы, взяв за основание принципы, сформулированные предшествующим распорядительным комитетом и принятые на первом съезде. Эти принципы составляют с этих пор нашу хартию, обязательное основание всех наших последующих работ. Мы не имеем более права отнять от них хотя бы малейшую часть; но мы можем и даже обязаны их развивать.

Выполнение этой обязанности нам представляется в настоящее время тем более настоятельным, что, как всем известно, вышеупомянутые принципы были сформулированы наскоро, под давлением тяжелого женеvского гостеприимства... Мы набросали их, так сказать, между двумя грозами, принужденные ослаблять выражения, чтобы избежать большого скандала, который бы мог привести к полнейшему уничтожению нашего дела.

Ныне, когда благодаря более искреннему и широкому гостеприимству города Берна, мы свободны от всякого местного, внешнего давления, мы должны восстановить эти принципы во всей их полноте, отбросив всякую двусмысленность, как недостойную нас, недостойную великого дела, которое мы призваны основать.

Умалчивание, полуправда, урезанные мысли, любезные смягчения и уступки трусливой дипломатии, все это непригодно для совершения великих дел: последние совершаются лишь при помощи возвышенного сердца,

¹⁾ Таково было окончательно принятое заглавие настоящего доклада. Первоначально в корректуре имелся подзаголовок: *Предложение Русских членов центрального Комитета Лиги Мира и Свободы*, а в рукописи Бакунин дал ему следующее заглавие: *Мотивированное предложение русских членов постоянного Комитета Лиги Мира и Свободы (поддержанное французским делегатом г. Александром Шахэ и польскими делегатами Валерианом, Мрошковским и Иваном Загорским)*.

прямого и твердого ума, ясно определенной цели и великой смелости. Господа, мы предприняли великое дело, возвысимся до уровня нашего предприятия. Оно будет великим или смешным, середины не может быть, и чтобы оно было великим, необходимо, по меньшей мере, чтобы мы по своей смелости и искренности стояли на должной высоте.

Не академическое обсуждение принципов предлагаем мы теперь вашему вниманию. Мы не упускаем из виду, что мы собрались здесь, главным образом, чтобы выработать необходимые средства и политические меры к осуществлению нашего дела. Но мы знаем также, что в политике не может быть честной и полезной практической деятельности без ясно определенных теории и цели. В противном случае, как мы ни воодушевлены самыми широкими и свободолюбивыми чувствами, мы можем прийти к практике, совершенно противоположной этим чувствам; мы можем начать с республиканскими, демократическими и социалистическими убеждениями, — а кончить как бисмаркианцы или как бонапартисты.

Сегодня мы должны сделать три вещи:

- 1) Установить условия и подготовить почву для нового с'езда.
- 2) Организовать нашу Лигу, насколько это будет возможно, во всех странах Европы; распространить ее даже, и это нам кажется существенным, на Америку и учредить в каждой стране национальные комитеты и провинциальные подкомитеты, предоставив каждому из них всю законную, необходимую автономию, и подчинив их все иерархически центральному комитету в Берне. Дать этим комитетам полномочия и необходимые инструкции для пропаганды и принятия новых членов.

3) В виду этой пропаганды, основать газету.

Не очевидно ли, что для того чтобы хорошо выполнить эти три вещи, мы должны предварительно установить принципы, которые определили бы без всякой двусмысленности, природу и цель Лиги. Эти принципы с одной стороны, вдохновляют и направляют нашу, как письменную, так и словесную пропаганду, а с другой стороны, сослужат условиями и основой для принятия новых членов. Последний пункт, господа, кажется нам чрезвычайно важным. Ибо вся будущность нашей Лиги будет зависеть от идей, склонностей и тенденций, как политических и социальных, так и экономических и моральных этой массы вновь прибывающих членов, которых мы примем в наши ряды. Являясь учреждением в высшей мере демократическим, мы не претендуем управлять сверху нашим народом, т. е. массой наших сторонников: и раз наше общество будет правильно устроено, мы никогда не позволим себе властно навязывать ему наши идеи. Напротив мы хотим, чтобы все наши провинциальные подкомитеты и национальные комитеты, вплоть до центрального или самого международного комитета, избираемые голосами членов во всех странах, снизу вверх, сделались верным и послушным выражением их чувств, их идей и их воли. Но ныне, именно потому что мы решились подчиниться во всем, что будет касаться общей

деятельности Лиги, желаниям большинства, потому что мы находимся еще в малом числе, если мы не хотим, чтобы наша Лига когда либо уклонилась от своей первоначальной идеи и от направления, приданного ей ее инициаторами, не должны ли мы принять меры, чтобы никто с тенденциями, противоположными этой идее и этому направлению, не мог сделаться ее членом?

Не должны ли мы организовать таким образом, чтобы огромное большинство ваших приверженцев оставалось всегда верно воодушевляющим нас сегодня чувствам, и установить такие правила принятия членов, чтобы даже, если личный состав наших комитетов переменится, дух Лиги остался неизменным?

Мы можем достигнуть этого не иначе, как установив и определив наши принципы настолько ясно, чтобы никто, будучи в том или ином отношении против них, не мог занять место в наших рядах.

Нет никакого сомнения, что если мы не будем ясно формулировать действительный характер своих принципов, число ваших сторонников может впоследствии стать очень большим. Мы могли бы даже в таком случае, как нам предлагал делегат Базеля, г. Шмидлин, принять в наши ряды много военных и священников, — почему бы уже и не полицейских? — или по примеру Лиги Мира, основанной в Париже под высочайшим императорским покровительством гг. Мишеля Шевалье и Фредерика Пасси, умолять знаменитых прусских, русских или австрийских принцесс соблагovolить принять звание почетных членов нашей ассоциации. Но, как говорит пословица, кто много захватывает, плохо удерживает, мы купили бы эти драгоценные присоединения лишь ценой полного самоуничтожения, и среди массы двусмысленностей и фраз, отравляющих в настоящее время общественное мнение Европы, стали бы лишней плохой шуткой.

С другой стороны, очевидно, что если мы громко провозгласим свои принципы, число наших членов будет более ограничено: но, до крайней мере, это будут серьезные приверженцы, на которых можно будет рассчитывать, — и наша искренняя, просвещенная, серьезная пропаганда будет не отравлять, а нравственно оздоравливать публику.

Рассмотрим же, каковы принципы нашей новой ассоциации? Она называется *Лигой Мира и Свободы*. Это уже много; этим мы отделаемся от всех тех, кто ищет мира какой угодно ценой, даже ценой свободы и человеческого достоинства. Мы отделяемся также и от английского общества мира, отвлекающегося от всякой политики и воображающего, что при современном устройстве государств в Европе возможен мир. В противоположность этим ультра-пацифистским тенденциям парижского и английского обществ, наша Лига объявляет, что она не верит в мир, и не желает мира, иначе как под неперемнным условием свободы.

Свобода, это величайшее слово, означающее великую вещь, которое никогда не перестанет воспламенять сердце всех живых людей. Но оно

требует тем не менее точного определения, иначе мы не сможем избежать двусмысленности. Бюрократы-сторонники гражданской свободы, монархисты-конституционалисты, аристократы, буржуа — либералы, которые все более или менее сторонники привилегий и естественные враги демократии, могут вступить в наши ряды и составить у нас большинство под предлогом, что они тоже любят свободу.

Чтобы избежать последствий такого столь печального недоразумения, Женевский с'езд объявил, что он желает „основать мир *на демократии* и на свободе“, откуда вытекает, что для того, чтобы стать членом нашей Лиги, надо быть демократом. Значит, исключаются все аристократы, все сторонники какой бы то ни было привилегии, монополии или политической исключительности, ибо слово демократия означает ничто иное, как управление народом, посредством народа и для народа, понимая под этим последним наименованием всю массу граждан — а в настоящее время надо прибавить и гражданок, — составляющих нацию.

В этом смысле мы все конечно демократы.

Но мы должны в то же время признать, что этот термин демократия недостаточен для точного определения характера нашей Лиги, и что, рассматриваемый в отдельности, он может, так же как термин свобода, подать повод к двусмысленности. Не видели ли мы в Америке с начала этого столетия, что плантаторы, рабовладельцы Юга и все их приверженцы в Северных Штатах, назывались демократами? А современный цезаризм со своими отвратительными последствиями, нависший, как ужасная угроза над всем, что называется в Европе человеческим, не именуется ли он себя тоже демократичным? И даже московский и петербургский империализм, это „Государство без фраз“, этот идеал всех централизованных, военных и бюрократических держав, не во имя ли демократии раздавил он недавно Польшу?

Очевидно, демократия без свободы не может служить нам знаменем. Но что такое демократия, основанная на свободе, если не Республика? Союз свободы с привилегиями создает монархический конституционный режим, но его союз с демократией может осуществиться лишь, *в Республике*. В видах предосторожности, которых мы не одобряем, Женевский с'езд нашел нужным воздержаться в своих резолюциях от произнесения слова „республика“. Но, объявляя свое желание „основать мир на демократии и свободе“, он невольно выставил себя сторонником республики. *Итак наша Лига должна быть в одно и то же время демократической и республиканской.*

И мы думаем, господа, что все мы здесь, республиканцы в том смысле, что толкаемые беспощадной, неотразимой логикой вещей, предостерегаемые столь же спасительными, как и жестокими уроками истории, всеми опытами прошлого и в особенности событиями, которые омрачили Европу с 1848 года, и теми опасностями, которые и теперь ей еще угрожают, мы

все равно пришли к одному убеждению: *монархические учреждения несовместимы с царством мира, справедливости и свободы.*

Что касается нас, господа, то мы, как русские социалисты и как славяне, считаем своей обязанностью открыто заявить, что для нас слово республика не имеет другой цены, кроме цены *чисто отрицательной*: оно означает разрушение, уничтожение монархии. Слово это не только неспособно нас воодушевить но, напротив того, всякий раз, когда нам представляют республику, как положительное, серьезное разрешение всех злободневных вопросов, как высшую цель, к достижению которой должны направляться наши усилия, мы испытываем потребность протестовать.

Мы ненавидим монархию от всей души; мы ничего так не желаем, как видеть ее падение во всей Европе и во всем мире, и мы убеждены, как и вы, что ее уничтожение есть необходимое условие освобождения человечества. С этой точки зрения мы искренние республиканцы. Но мы не думаем, что достаточно разрушить монархию, чтобы освободить народы и дать им мир и справедливость. Напротив того, мы твердо убеждены, что крупная, военная, бюрократическая, политически централизованная республика может и необходимо должна стать завоевательной державой во внешних делах и притеснительницей во внутренних и что она будет неспособна обеспечить своим подданным, — даже если они и будут называться гражданами, — благоденствие и свободу. Разве мы не видели великую французскую нацию, два раза объявляющей себя демократической, республикой, и оба раза теряющей свою свободу и дающей себя увлечь к завоевательным войнам?

Припишем ли мы, подобно многим другим, эти плачевные падения легкомысленному темпераменту и историческому привычному отношению к дисциплине французского народа, который, как утверждают его клеветники, способен завоевать свободу внезапным бурным порывом, но не умеет пользоваться ею и проводить ее на практике?

Нам невозможно, господа, присоединиться к этому осуждению целого народа, одного из самых просвещенных народов Европы. Мы убеждены, что если два раза подряд, Франция потеряла свободу и видела превращение своей демократической республики в военные диктатуру и демократию, то вина в этом падает не на характер ее народа а на ее *политическую централизацию*. Централизация эта, издавна подготовленная французскими королями и государственными людьми, воплощенная позже в человеке, названном угодливой придворной риторикой Великим Королем, потом ввергнутая в бездну позорными деяниями одряхлевшей монархии, конечно погибла бы в грязи, если бы Революция не подняла ее своей могучей рукой. Да, странная вещь: эта великая революция, провозгласившая в первый раз в истории свободу не только гражданина, но человека, — сделав себя наследницей монархии, которую она убивала, воскре-

сила это отрицание всей свободы: *централизацию и всемогущество Государства.*

Воссозданная Учредительным Собранием, эта централизация, против которой правда, боролись но с малым успехом Жирондисты, была довершена Конвентом. Робеспьер и Сен-Жюст были ее истинными восстановителями: ничто не было забыто в новой правительственной машине, ни даже Верховное Существо вместе с религией Государства. Она ожидала лишь ловкого механика, чтобы явить удивленному миру все могущество притеснения, которым ее одарили неосторожно устроителя... и явился Наполеон I. И так эта революция, которая вначале была воодушевлена лишь любовью к свободе и человечности, одним тем, что поверила в возможность примирения их с централизацией государства, убила себя, убила их и не породила ничего, кроме военной диктатуры цезаризма.

Не очевидно ли, господа, что для того, чтобы спасти в Европе свободу и мир, мы должны противопоставить этой чудовищной и гнетущей централизации военных, бюрократических, деспотических, монархически-конституционных или даже республиканских государств, великий спасительный *принцип Федерализма*,—принцип, блистательное проявление которого явили нам между прочим последние события в Соединенных Штатах Северной Америки. Отныне для всех, истинно желающих освобождения Европы, должно быть ясно, что, сохраняя все свои симпатии к великим социалистическим и гуманитарным идеям, провозглашенным Французской Революцией, мы должны отбросить ее политику Государства и решительным образом воспринять политику свободы северо-американцев.

I.

ФЕДЕРАЛИЗМ.

Мы счастливы возможностью объявить, что Женевский с'езд единогласно приветствовал этот принцип. Сама Швейцария, которая, к слову сказать, применяет так удачно этот принцип на практике, присоединилась к нему без всякого ограничения и приняла его во всей широте и со всеми вытекающими из него последствиями. К сожалению, в резолюциях с'езда этот принцип очень плохо формулирован и даже упомянут лишь косвенным образом, в одном месте, по поводу Лиги, которую мы должны основать, и затем ниже по поводу журнала, который мы должны издавать под заглавием „Соединенные Штаты Европы“. Между тем, по нашему мнению, он должен бы был занимать первое место в нашей декларации принципов.

Это очень печальный пробел, который мы должны поспешить заполнить. Сообразуясь с единогласным решением Женевского с'езда, мы должны провозгласить:

1) Что для того, чтобы восторжествовали свобода, справедливость и мир в международных отношениях Европы, для того, чтобы гражданская война между различными народами, составляющими европейскую семью, стала невозможной, есть только одно средство: образование *Соединенных Штатов Европы*.

2) Что Штаты Европы никогда не будут в состоянии образоваться из Государств в их нынешнем виде, по причине чудовищного неравенства между взаимоотношениями их сил.

3) Что пример покойной Германской Конфедерации доказал неоспоримым образом, что конфедерация монархий является насмешкой: что она бессильна гарантировать населению, как мир, так и свободу.

4) Что ни одно централизованное, бюрократическое и тем самым военное, государство, даже если бы оно называло себя республиканским, не сможет серьезным и искренним образом войти в международную конфедерацию. По своей конституции, которая всегда будет открытым или замаскированным отрицанием свободы внутри, оно необходимо будет постоянным вызовом к войне, постоянной угрозой существованию соседних

стран. Основанное существенным образом на предшествующем акте насилия, завоевания или того, что называется в частной жизни, воровством со взломом,—акте, благословенном церковью, какой бы то ни было религии, освященном временем и в силу этого обратившемся в историческое право, — и опираясь на это божеское освящение торжествующего насилия, как на исключительное и высшее право, всякое централизованное государство тем самым, полагает себя, как абсолютное отрицание прав всех других государств, не признавая их в заключенных с ними договорах; иначе, как в видах политического интереса, или по бессилию.

5) Что все приверженцы Лиги должны будут, следовательно, направить все свои усилия к переустройству своих отечеств, дабы заменить в них старую организацию, основанную, сверху, на насилии и принципе власти, новой организацией, не имеющей другого основания, кроме интересов потребностей и естественных влечений населения, ни другого принципа, кроме свободной федерации индивидуумов в коммуны, коммун в провинции *), провинций в нации, наконец этих последних в Соединенные Штаты сперва Европы, а затем всего мира.

6) Следовательно, полнейшее уничтожение всего, что называется историческим правом государств; вопросы о естественных, политических, стратегических и торговых границах должны считаться отныне принадлежащими к древней истории и энергично отбрасываться всеми приверженцами Лиги.

7) Признание абсолютного права на полную автономию за всякой

*) Знаменитый итальянский патриот Юсиф Мадзини, республиканский идеал которого есть ничто иное, как французская республика 1793 года, переплавленная в горниле поэтических традиций Данте и властолюбивых воспоминаний властелина земли Рима затем пересмотренная и исправленная с точки зрения новой теологии, наполовину рациональной, наполовину мистической — этот знаменитый патриот, честолюбивый, страстный и всегда односторонний, несмотря на все сделанные им усилия, чтобы подняться до уровня международной справедливости, который всегда предпочитал величие и могущество своего отечества, его благоденствию и свободе, — был всегда ожесточенным противником автономии провинций, которая естественно мешала бы строгому единообразию его великого итальянского Государства. Он утверждает, что для противовеса всемогуществу прочно установленной республики достаточно автономии коммун. Он ошибается: ни одна обособленная коммуна не будет в состоянии противустоять могуществу громадной централизации; она будет раздавлена ею. Для того, чтобы выдержать эту борьбу, она должна федерироваться в виду общей самозащиты, с соседними коммунами, т. е. она должна образовывать вместе с ними автономную провинцию. Кроме того, раз провинции не будут автономны, управление ими надо будет поручать ставленникам государства. Нет середины между строго последовательным федерализмом и бюрократическим режимом. Отсюда вытекает, что республика, к которой стремится Мадзини, была бы государством бюрократическим и, следовательно, военным, основанным в интересах внешнего могущества, а не международной справедливости и внутренней свободы. В 1873 году, при Терроре, коммуны Франции были признаны автономными, что не помешало им быть раздавленными революционным деспотизмом Конвента, или, лучше сказать, Парижской Коммуны, естественным наследником которой явился Наполеон.

нацией, большой или малой, за всяким народом, слабым или сильным, за всякой провинцией, за всякой коммуной, при условии, чтобы внутреннее устройство одной из перечисленных единиц не являлось угрозой и опасностью для автономии и свободы соседних земель.

8) Из того обстоятельства, что какая-либо страна составляет часть какого-нибудь государства, для нее не вытекает никакого обязательства, даже если она присоединилась добровольно, оставаться всегда неразрывной с ним. Никакое вечное обязательство не может быть допущено человеческой справедливостью, единственной, с которой мы можем считаться, и мы никогда не признаем других прав, или других обязанностей, кроме тех, которые основаны на свободе. Право свободного соединения, равно как и свободного разрыва, есть первое и самое важное из всех политических прав; это право, без которого конфедерация всегда будет лишь замаскированной централизацией.

9) Из предшествующего вытекает, что Лига должна открыто воспретить всякий союз той или иной национальной фракции европейской демократии с монархическими государствами, даже если бы этот союз имел целью возвратить независимость или свободу угнетенной стране; — ибо такой союз, могущий привести лишь к разочарованиям, был бы в то же время изменой делу революции.

10) Наоборот, Лига, именно потому, что она Лига мира, потому что она убеждена, что мир не может быть завоеван и основан иначе, как на самой тесной и полной солидарности народов, на началах справедливости и свободы, должна громкогласно провозгласить свое сочувствие каждому народному восстанию против всякого, как иностранного, так и внутреннего притеснения, лишь бы это восстание было сделано во имя наших принципов и в политических и экономических интересах народных масс, а не с властолюбивым намерением основать могущественное государство.

11) Лига будет вести ожесточенную войну со всем, что называется славой, величием и могуществом государств. Всем этим ложным и вредоносным идолам, которым были принесены в жертву миллионы людей, мы противопоставим славу человеческого разума, проявляющегося в науке, и идеал всемирного благоденствия, основанного на труде, справедливости и свободе.

12) Лига признает *национальности*, как естественный факт, имеющий бесспорное право на существование и свободное развитие, но не как принцип, — ибо всякий принцип должен обладать характером универсальности, а национальность, напротив того, является лишь отдельным, исключительным фактом. Так называемый *принцип национальности*, в том виде, как он был поставлен в наши дни правительствами Франции, России и Пруссии, и даже многими немецкими, польскими, итальянскими и венгерскими патриотами, является лишь детищем реакции, противоположным духу революции: принцип в сущности в высшей степени аристо-

кратический, доходящий до презрения к народному говору неграмотного населения, отрицающий по своему существу свободу провинций и реальную автономию коммун, и поддерживаемый во всех странах не народными массами, чьими реальными интересами он систематически жертвует ради так называемого общего блага, всегда на деле являющегося лишь благом привилегированных классов;—этот принцип не выражает ничего другого, кроме пресловутых исторических прав и властолюбия государств. Итак, права национальностей будут всегда рассматриваться Лигой лишь как естественное следствие, вытекающее из высшего принципа свободы, и национальное право перестает считаться таковым, как только оно ставит себя против свободы или даже только вне свободы.

13) Единство есть цель, к которой непреборимо стремится человечество. Но оно становится роковым, становится разрушителем просвещения, достоинства и процветания личностей и народов, всякий раз, когда стремится образоваться помимо свободы, посредством насилия или посредством авторитета какой-либо теологической, метафизической, политической или даже экономической идеи. Патриотизм, стремящийся к единству, помимо свободы, является дурным патриотизмом. Он всегда зловреден для действительных, народных интересов страны, которую он хочет возвысить и облагодетельствовать, часто, помимо воли, дружествен реакции, враждебен революции, т. е. освобождению народов и людей. Лига может признавать лишь одно единство: то, которое свободно образуется через федерацию автономных частей в одно целое, так что это последнее перестанет быть отрицанием частных прав и интересов, перестанет быть кладбищем, где насильственно погребаются все местные благополучия, а напротив того, станет подтверждением и источником всех этих автономий и благополучий. Лига будет, стало быть, мощно нападать на всякую религиозную, политическую, экономическую и социальную организацию, которая не будет всецело проникнута этим великим принципом свободы: без него нет ни просвещения, ни справедливости, ни благоденствия, ни человечности.

Таковы, господа, по нашему и без сомнения также по вашему мнению, необходимые последствия и развитие великого принципа Федерализма, громкогласно провозглашенного Женевским с'ездом. Таковы необходимые условия мира и свободы.

Необходимые, да—но единственные ли?—Мы этого не думаем.

Южные Штаты в великой республиканской конфедерации Северной Америки, были с провозглашения независимости республиканских Штатов, демократичными до преимуществу *) и проникнутыми федеративным духом до желания идти на разрыв. И все же они в последнее время навлекли

*) Как известно, в Америке только сторонники интересов Юга против Севера, т. е. рабства против освобождения рабов, называют себя демократами.

на себя осуждение всех в мире сторонников свободы и человечности, и своей бесстыдной и святотатственной войной против республиканских Штатов Севера чуть было не разрушили и не уничтожили самую лучшую политическую организацию из всех, когда-либо существовавших в истории. В чем причина такого странного факта? В политическом устройстве? Нет, она всецело в устройстве *социальном*. Внутреннее политическое устройство Южных Штатов являлось даже, до многих отношений, более совершенным, более свободным, чем устройство Северных Штатов. Только в этом великолепном устройстве было одно пятно, как и в древних республиках; свобода граждан была основана на насильственном труде рабов. Достаточно было этого пятна, чтобы перевернуть все политическое устройство этих государств.

Граждане и рабы—вот антагонизм, существовавший как в древнем мире так и в рабовладельческих государствах нового мира. Граждане и рабы, т. е. принужденные работники, рабы если не по праву, то на деле—вот антагонизм современного мира. И подобно тому как древние государства погибли от рабства, так современные государства погибнут от пролетариата.

Напрасно старались бы утешиться мыслью, что это антагонизм скорее фиктивный, чем действительный, или, что невозможно провести демаркационной линии между имущими и неимущими классами, так как эти классы смешиваются один с другим, посредством множества промежуточных и неуловимых оттенков.

В естественном мире также не существует демаркационных линий; так, например, в восходящей серии существ невозможно указать точку, где кончается растительное и начинается животное царство, где кончается животное и начинается человечность. Тем не менее, существует вполне реальное различие между растением и животным, между животным и человеком. Также точно в человеческом обществе, несмотря на промежуточные звенья, делающие нечувствительным переход от одного политического и социального положения к другому, различие между классами очень определено, и всякий сумеет различить родовую аристократию от аристократии денежной, высшую буржуазию от мелкой буржуазии, а эту последнюю от пролетариев фабрик и городов; также точно как крупного землевладельца от крестьянина собственника, собственноручно обрабатывающего землю, наконец фермера от простого деревенского пролетария.

Все эти различные политические и социальные положения сводятся в настоящее время к двум главным категориям, диаметрально противоположным, естественно враждебным друг другу: *политические* ¹⁾ классы,

¹⁾ Во французском издании сочинений Бакунина редактор первого тома (Д-р Неттлау) задает вопрос: не следует ли читать здесь вместо „politiques” (политические) „privilegies” (привилегированные).

составленные из всех привилегированных в отношении земледелия, капитала или даже лишь буржуазного образования ¹⁾ — и *рабочие классы*, обделенные как капиталом, так и землей, и лишенные всякого образования и обучения.

Надо быть софистом или слепым, чтобы отрицать бездну, разделяющую эти два класса. Подобно тому, как было в древнем мире, наша современная цивилизация, обнимая лишь очень ограниченное число привилегированных граждан, имеет в основе вынужденный (голодом) труд громадного большинства населения, фатально обреченного на невежество и грубость.

Напрасно также старались бы себя уверить, что эта бездна может быть заполнена простым распространением просвещения в народных массах. Прекрасное дело основывать народные школы; и, однако, надо еще спросить себя, может ли человек из народа, живущий изо-дня в день и кормящий свою семью работой своих рук, лишенный сам образования и досуга, и принужденный убивать и отуплять себя работой, чтобы обеспечить своей семье хлеб завтрашнего дня, — надо еще спросить себя, может ли такой человек иметь мысль, желание или даже возможность посылать своих детей в школу и содержать их во время их обучения? Не будет ли он нуждаться в помощи их слабых рук, их детского труда, чтобы удовлетворить все нужды семьи? Будет уже много, если он сделает жертву, отдав их в школу на год или на два, предоставя им едва необходимое время, чтобы научиться читать, писать, считать и дать отравить свой ум и сердце христианским катехизисом, который так умело и щедро подносится в официальных народных школах *всех* стран. Будет ли это скудное обучение когда-либо в состоянии поднять рабочие массы до уровня буржуазного образования? Будет ли когда-нибудь заполнена бездна?

Очевидно, что этот, столь важный вопрос народного образования и воспитания, зависит от разрешения другого, гораздо более трудного вопроса о коренном преобразовании нынешних экономических условий рабочих классов.—Возвысьте условия труда, отдайте труду все, что по справедливости принадлежит труду, и тем самым дайте народу обеспечение приобретать знания, благоденствие, досуг, и тогда, поверьте, он создаст цивилизацию, более широкую, здоровую, возвышенную, чем ваша.

Напрасно также повторять за экономистами, что улучшение экономического положения рабочих классов зависит от общего прогресса промышленности и торговли в каждой стране и от их окончательного освобо-

¹⁾ За неимением даже какого-либо другого имущества, это буржуазное воспитание, при помощи солидарности, связывающей всех членов буржуазного мира, обеспечивает получившему его громадную привилегию в вознаграждении за труд, — ибо труд самого посредственного буржуа оплачивается в три, в четыре раза дороже, чем труд самого умного рабочего.

ждения от опеки и покровительства государств. Свобода промышленности и торговли является, конечно, великой вещью и одним из существенных оснований международного союза всех народов мира. Будучи друзьями свободы во чтобы то ни стало, всякой свободы, мы должны быть равным образом друзьями и этих свобод. Но с другой стороны, мы должны признать, что покуда будут существовать современные государства, покуда труд будет в крепостной зависимости у собственности и капитала, эта свобода, обогащая ничтожную часть буржуазии, во вред огромному большинству населения, породит лишь одно благо: расслабленность и полную деморализацию небольшого числа привилегированных; увеличение нищеты, обид и справедливого негодования рабочих масс, и тем самым приближение часа уничтожения государств.

Англия, Бельгия, Франция и Германия являются несомненно европейскими странами, где торговля и промышленность пользуются сравнительно наибольшей свободой и достигли наибольшего развития. И это именно те самые страны, где пауперизм (нищета) чувствуется наиболее жестоким образом, где бездна между собственниками и капиталистами с одной стороны и рабочими классами с другой, расширилась до степени, неизвестной другим странам. В России, в скандинавских странах, в Италии, в Испании, везде, где торговля и промышленность мало развиты, люди редко умирают с голода, разве только в случае какой-либо необычайной катастрофы. В Англии голодная смерть ежедневный факт. И не только отдельные единицы, тысячи, десятки, сотни тысяч умирают таким образом. Не очевидно ли, что при том экономическом положении, которое царит в настоящее время во всем цивилизованном мире, — свобода и развитие торговли и промышленности, удивительные приложения науки к производству и даже самые машины, имеющие целью освободить работника, облегчая человеческий труд, — что все эти изобретения, весь этот прогресс, которым справедливо гордится цивилизованный человек, далеки от того, чтобы улучшить положение рабочих классов, и лишь ухудшают его и делают еще более невыносимым.

Только Северная Америка является в значительной степени исключением из этого правила. Но отнюдь не нарушая правила, это исключение лишь подтверждает его. Если рабочие там лучше оплачиваются, чем в Европе, если никто там не умирает с голоду, если в то же время, классовый антагонизм там еще почти не существует, если все рабочие там граждане и вся масса граждан составляет как бы одно тело, наконец, если хорошее начальное и даже среднее образование широко распространено там в массах, то все это следует в значительной мере приписать, конечно, тому традиционному духу свободы, который первые колонисты привезли из Англии: рожденному, испытанному, укрепленному в великой религиозной борьбе, этому принципу индивидуальной независимости и коммунального и провинциального self government (самоуправления) благоприятствовало

еще то редкое обстоятельство, что перенесенный в пустыню, он был освобожден так сказать от духовного гнета прошлого, и мог таким образом создать новый мир,—мир свободы. А свобода это такая чародейка, она одарена такой удивительной творческой силой, что вдохновляемая ею одной, Северная Америка, менее чем в столетие, смогла достичь цивилизации Европы, можно теперь сказать, даже превзошла ее. Но не надо вдаваться в обман. Этот удивительный прогресс и столь завидное благоденствие обязаны своим существованием в громадной мере и главным образом важному преимуществу Америки, общему ей с Россией: мы говорим об огромном количестве плодородной земли, которая остается и поныне необработанной за недостатком рабочих рук. По крайней мере, до сих пор, это огромное территориальное богатство было почти бесполезно для России, ибо мы никогда не обладали свободой. Иначе обстоит дело в Северной Америке, которая, благодаря свободе, подобной которой не существует нигде в мире, привлекает каждый год сотни тысяч энергичных, трудолюбивых и умных, колонистов и может их принимать у себя благодаря этому богатству. Последнее не дает развиваться пауперизму и отдалает в то же время момент возникновения социального вопроса: рабочий, не находящий работы или недовольный заработной платой, которую он получает в столице, всегда может в крайнем случае эмигрировать *на дальний запад*, чтобы распашать там какую-нибудь невозделанную, незанятую землю.

Эта возможность, всегда открытая для всех американских рабочих, за неимением лучшего, естественно поддерживает там заработную плату на достаточной высоте и предоставляет каждому независимость, неизвестную в Европе. Такова выгода. Но вот и невыгода: дешевизна промышленных продуктов зависит главным образом от дешевизны работы и, поэтому американские фабриканты в большинстве случаев не в состоянии конкурировать с европейскими фабрикантами, откуда вытекает необходимость протекционного тарифа для промышленности Северных Штатов. Результатами этого тарифа было во первых, искусственное создание массы промышленности и в особенности утеснение и разорение немануфактурных Южных Штатов, что заставило последних желать отделения; а во вторых, скопление в центрах, как Нью-Йорк; Филадельфия, Бостон и другие, рабочих пролетарских масс, которые мало-по-малу приходят в положение, аналогичное, положению рабочих в больших промышленных государствах Европы. И мы видим, в самом деле, что социальный вопрос уже выдвигается в Северных Штатах, подобно тому, как он выдвинулся много раньше у нас.

Итак, мы принуждены признать за всеобщее правило, что в нашем современном мире, если и не так всецело как в античном, все-же цивилизация основана на принудительном труде меньшинства и относительно варварстве громадного большинства. Было бы несправедливо утверждать, что этот привилегированный класс чужд труда; напротив, в наши дни члены его много работают, число совершенно бездеятельных уменьшается

чувствительным образом, труд начинают уважать в этой среде; ибо наиболее счастливые понимают уже теперь, что для того, чтобы остаться на уровне современной цивилизации, для того, хотя бы, чтобы быть в состоянии пользоваться ее привилегиями и сохранить их, надо много трудиться. Но между трудом достаточных классов и рабочих та разница, что труд первых оплачивается бесконечно лучше труда вторых, и потому оставляет привилегированным *досуг*, это необходимое условие человеческого, как умственного так и морального развития — условие, никогда не существовавшее для рабочих классов. Кроме того, труд производимый привилегированным миром, — почти исключительно *нервный труд*, — работа воображения, памяти и мысли; — между тем, как труд миллионов пролетариев, это *труд мускульный* и часто, как например, на фабриках, этот труд, упражняет не всю мускульную систему человека, а развивает лишь какую-нибудь часть ее во вред другим, и совершается обыкновенно в условиях вредных для здоровья тела и противных его гармоническому развитию. В этом отношении, земледelec гораздо более счастлив: его природа, не испорченная душной и часто отравленной атмосферой фабрик и заводов, не извращенная ненормальным развитием одной какой-нибудь способности во вред другим, остается более сильной, более полной, — но зато его ум является всегда более отсталым, неповоротливым и гораздо менее развитым, чем ум фабричных и городских рабочих.

В конце концов ремесленные и фабричные рабочие и земледельцы образуют вместе одну и ту же категорию, категорию *мускульного труда*, противоположную привилегированным представителям *нервного труда*. Каковы последствия этого разделения, не только не фиктивного, но вполне наглядного и составляющего самое основание современного, как политического, так и социального положения?

Для привилегированных представителей *нервного труда*, которые, кстати сказать, призваны быть его представителями не в качестве самых умных, но единственно потому, что родились в привилегированном классе — для них все благоденствия, но также и все губительные соблазны современной цивилизации: богатство, роскошь, комфорт, благоустройство, семейные радости, исключительная политическая свобода вместе с возможностью эксплуатировать труд миллионов рабочих и управлять ими по своей воле и в своих интересах, — все творения, все изощрения, воображения и мысли... и, вместе с возможностью стать цельными людьми, все отравы человечества, испорченного привилегиями.

Что же остается для представителей *мускульного труда*, для этих бесчисленных миллионов пролетариев или даже мелких земельных собственников? Безысходная нужда, отсутствие даже семейных радостей, ибо семья для бедного скоро становится бременем, невежество, дикость и, мы бы сказали даже, вынужденное звериное состояние с утешением, что они служат пьедесталом для цивилизации, свободы и испорченности меньшин-

ства. — Но зато они сохранили свежесть ума и сердца. Нравственно оздоровленные трудом, хотя бы и вынужденным, они сохранили чувство справедливости, куда выше справедливости юриконсультов и кодексов: сами несчастные, они сочувствуют всякому несчастью, они сохранили здравый смысл, не испорченный софизмами доктринерской науки и обманами политики, — и, так как они еще не злоупотребили жизнью и даже не использовали ее, они верят в жизнь.

Но, возражая, этот контраст, эта бездна между меньшинством привилегированных и огромным количеством обездоленных всегда существовала и теперь существует: что же изменилось? Изменилось то, что прежде эта бездна была заполнена религиозным туманом, так что народные массы ее не видели, а теперь, после того как Великая Революция отчасти разогнала этот туман, они также начинают видеть бездну и спрашивать о причине ее. Значение этого безмерно.

С тех пор, как Революция ниспослала в массы свое евангелие, не мистическое, а рациональное, не небесное, а земное, не божественное, а человеческое — свое евангелие прав человека; с тех пор, как она провозгласила, что все люди равны, что все одинаково призваны к свободе и человечности, — народные массы в Европе, во всем цивилизованном мире, мало по малу просыпаясь от сна, который их сковывал, с тех пор, как Христианство усыпило их своими маковыми цветами, начинают спрашивать себя, не имеют ли и они также права на равенство, свободу и человечность.

Как только этот вопрос был поставлен, народ, направляемый своим удивительным здравым смыслом, также как и своим инстинктом, всюду понял, что первым условием его действительного освобождения, или, если вы мне позволите это слово, его *очеловечения*, является коренное преобразование его экономических условий. Вопрос о хлебе является для него, по справедливости, первым вопросом, ибо еще Аристотель заметил: человек, чтобы мыслить, чтобы свободно чувствовать, чтобы сделаться человеком, должен быть свободен от забот материальной жизни. — Впрочем, буржуа, кричащие против материализма народа и проповедующие идеалистическое воздержание, знают это очень хорошо, ибо они проповедают словами, а не примером. — Второй вопрос для народа, это досуг после работы, это необходимое условие человечности. Но хлеб и досуг не могут быть им получены иначе, как чрез коренное преобразование современного устройства общества, и этим объясняется, почему Революция, являясь логическим следствием своего собственного принципа, породила *социализм*.

СОЦИАЛИЗМ.

Французская Революция, провозгласив право и обязанность каждой человеческой личности стать *человеком*, пришла в своих последних выводах к Бабувизму. Бабеф, один из последних энергичных и чистых граждан, каких Революция создавала и убивала затем в таком количестве, и имевший счастье насчитывать в числе своих друзей таких людей, как Буонаротти, соединил в своем своеобразном мировоззрении политические традиции античного мира с совершенно современными идеями социальной революции. Видя, что Революция чахнет, за недостатком коренного преобразования, тогда впрочем, по всей вероятности, и невозможного по экономической структуре общества; верный, с другой стороны, духу этой Революции, которая кончила тем, что на место всякой личной инициативы поставила всемогущее действие государства, он измыслил политическую и социальную систему, согласно которой республика, выражающая собой коллективную волю граждан, должна была конфисковать всякую личную собственность и управлять ею в интересах всех, наделяя каждого в равной мере: воспитанием, обучением, средствами к существованию, удовольствиями, и принуждая всех без исключения, по мере сил и способностей каждого к мускульному и нервному труду. Заговор Бабефа не удался, он был гильотинирован вместе с несколькими друзьями. Но его идеал социалистической республики с ним не умер. Воспринятая его другом Буонаротти, величайшим заговорщиком нашего столетия, идея была передана последним, как священный залог, новым поколениям, и благодаря тайным обществам, основанным Буонаротти в Бельгии и Франции, коммунистические идеи дали ростки в народном воображении. — Они нашли с 1830 до 1848 года талантливых выразителей в Кабе и Луи Блане, которые окончательно основали *революционный социализм*.

Другое социалистическое течение, вытекшее из того же революционного источника, направляющееся к той же цели, но совершенно иным путем, течение, которое мы бы охотно назвали *доктринерским социализмом*, было основано двумя замечательными людьми: Сен-Симоном и Фурье. СенСимонизм был комментирован, развит, переработан и основан в виде

почти практической системы, в виде церкви, „отцом" Анфаненом, вместе со многими друзьями, большая часть которых сделалась ныне финансистами в государственными людьми, особенным образом дреданными Империи. — Фурьеризм нашел своего истолкователя в „*Мирной демократии*", издававшейся до 2 декабря 1852 г. Виктором Консидераном.

Заслуга этих двух социалистических систем, впрочем, во многих отношениях различных, заключается главным образом в глубокой, научной, строгой критике современного общественного строя, чудовищные противоречия которого они смело раскрыли; — затем в том важном факте, что они с силой боролись и в значительной мере потрясли Христианство, во имя восстановления и оправдания материи и человеческих страстей, оклеветанных и в то же время так хорошо практикуемых христианскими священниками. Сен-Симонисты хотели поставить на место Христианства новую религию, основанную на мистическом культе плоти, с новой иерархией священников, новых эксплуататоров толпы, привилегиями гения, способностей и таланта. Фурьеристы, гораздо более, и можно даже сказать, искренние демократы, придумали фаланстеры, управляемые избранными всеобщим голосованием вождями; фаланстеры, где каждый, по мысли фурьеристов, должен был найти себе работу и место в соответствии с личными вкусами. — Ошибки Сен-Симонистов слишком очевидны, чтобы стоило о них говорить. Двойная ошибка Фурьеристов заключалась, во первых, в том, что они искренно верили, что единственно силой убеждения и мирной пропаганды они сумеют до такой степени тронуть сердца богатых, что те, в конце концов, сами придут сложить у порога фаланстера излишек своих богатств; во вторых, в том, что они вообразили, что можно теоретически, а priori, построить социальный рай, в котором на веки успокоилось бы человечество. Они не поняли, что, хотя для нас и возможно предвозвестить великие принципы будущего развития человечества, тем не менее практическое осуществление этих принципов должно быть предоставлено опытам будущего.

Вообще регламентация была общей страстью всех социалистов до 1848 года, за исключением одного. Кабе, Луи Блан, Фурьеристы, Сен-Симонисты, все были одержимы страстью выдумывать и устраивать будущее, все были, более или менее, *государственники*.

Но вот явился Прудон, сын крестьянина, во сто раз больший революционер и в делах и по инстинкту, чем все эти доктринеры, буржуазные социалисты. Он вооружился критикой, столь же глубокой и penetrating, сколь неумолимой, чтобы уничтожить все их системы. Противупоставив свободу власти, он в противуположность этим государственным социалистам, смело провозгласил себя анархистом и имел мужество бросить в лицо их деизму или пантеизму заявление, что он просто атеист, или, точнее, *позитивист*, подобно Огюсту Конту.

Социализм Прудона, основанный, как на индивидуальной, так и кол-

лективной свободе и на деятельности свободных ассоциаций, не подчиненный другим законам, кроме общих законов социальной экономии, как открытых уже наукой так и предстоящих еще открытию; стоящий вне всякой правительственной регламентации и всякого покровительства со стороны государства и подчиняющий политику экономическим, интеллектуальным и моральным интересам общества, должен был с течением времени прийти в силу необходимой последовательности, к Федерализму.

Таково было положение социальной науки до 1848 г. Poleмика газет, летучих листков и социалистических брошюр внедрила в сознание рабочих классов массу новых идей; умы были ими насыщены, и когда разразилась революция 1848 года, социализм проявился как мощная сила.

Как мы сказали, социализм был последним детищем великой революции; но до рождения этого последнего, она произвела на свет своего более прямого наследника, своего старшего сына, любимца Робеспьеров и Сен-Жюстов: *чистый республиканизм*, без примеси социалистических идей, перенесенный из античного мира и вдохновляемый героическими традициями великих граждан Греции и Рима. Гораздо менее человечный, чем социализм, этот республиканизм почти не принимает в расчет человека, а признает лишь гражданина; и между тем как социализм стремится основать *республику людей*, республиканизм желает лишь *республику граждан*, если бы даже они, как это было при конституциях, явившихся естественным и необходимым следствием конституции 1793 года (так как эта последняя, после минутного колебания, сознательно умолчала о социальном вопросе) — если бы даже они, в качестве *активных граждан* (мы пользуемся выражением Учредительного Собрания), должны были основать свое благополучие на эксплуатации труда *пассивных граждан*. Впрочем, политический республиканец не является, по крайней мере в идее, эгоистом лично для себя, но он должен им быть для отечества, которое он должен ставить в своем свободном сердце выше себя самого, выше всех индивидуумов, всех наций в мире, выше самого человечества. Следовательно, он никогда не будет знать международной справедливости; во всех спорах, будет ли его отечество право или нет, он будет становиться на его сторону, он будет желать, чтобы оно всегда имело верх и давило другие народы своим могуществом и славой. Он делается, катясь по наклонной плоскости, завоевателем, — несмотря на то, что опыт веков показывает ему, что военные триумфы фатально приводят к цезаризму. Республиканец-социалист ненавидит государственное величие, могущество и военную славу, — он предпочитает им свободу и благоденствие. Федералист во внутренней политике, он стремится и к международной конфедерации, во первых, ради торжества справедливости, во вторых, потому, что экономическая и социальная революция может осуществиться, лишь переступив через искусственные и зловредные границы государств, путем соли-

дарной деятельности всех, или по крайней мере, большей части наций, составляющих цивилизованный мир и что все, рано или поздно, должны будут соединиться под ее знаменем. Исключительно политический республиканец это — стоик; он не признает прав, а лишь обязанности, или подобно тому, как в республике Мадзини, он признает лишь одно право: право быть самоотверженным и жертвовать собой для отечества, жить лишь для служения ему и с радостью умирать за него, как говорится об этом в песне, которую Александр Дюма произвольно наделил Жирондистов: „*Умереть за отечество это самый прекрасный, самый завидный жребий*”. Напротив того, социалист опирается на свое положительное право на жизнь и на все, как интеллектуальные и моральные, так и физические жизненные наслаждения. Он любит жизнь, он хочет полностью ее использовать. Так как его убеждения составляют часть его самого и его обязанности по отношению к обществу неразрывно связаны с его правами, то, чтобы сохранить верность и тем и другим, он сумеет жить по справедливости, как Прудон, и в случае нужды умереть, как Бабеф; но он никогда не скажет, что жизнь человечества должна быть жертвой и что смерть является самым сладким жребием. Для политического республиканца свобода лишь пустой звук; это свобода быть добровольным рабом, преданной жертвой государству; готовый всегда пожертвовать ради последнего собственной свободой, политический республиканец легко пожертвует и свободой других. Итак, политический республиканизм необходимо приводит к деспотизму. Для республиканца же социалиста свобода, соединенная с благоденствием, и создающая всеобщую человечность посредством человечности каждого, это все, между тем как государство является в его глазах лишь орудием, служителем благоденствия и свободы всех и каждого. Социалист отличается от буржуа *справедливостью*, ибо он требует для себя лишь действительный плод своей работы; а от политического республиканца он отличается своим *открытым человеческим эгоизмом*: он живет откровенно и без фраз для самого себя, и знает что, делая это *согласно со справедливостью*, он служит всему обществу, а служа всему обществу, служит самому себе. Республиканец суров и часто из за патриотизма—как священник из за религии—жесток. Социалист естествен, умеренно патриотичен, но зато всегда очень человекен. — Одним словом, между республиканцем-социалистом и политическим республиканцем целая бездна: один, как *существо полу-религиозное*, принадлежит прошлому; другому, *позитивисту* или *атеисту*, принадлежит будущее.

Этот антагонизм проявился в полной мере в 1848 году. С самого начала революции, республиканцы и социалисты не смогли прийти ни к какому соглашению: их идеалы, все их инстинкты влекли их в диаметрально противоположные стороны. Все время от февраля до июня прошло в распрях и спорах, которые, внося междоусобную войну в лагерь революционеров и парализуя их силы, естественно должны были склонить весы на

сторону выросшей, до громадных размеров коалиции реакционеров всех оттенков, сплотившихся и смешавшихся с тех пор в одну общую партию под знаменем страха. В июне республиканцы, в свою очередь, соединились с реакцией, чтобы раздавить социалистов. Они полагали, что одержали победу, а на самом деле столкнули в бездну свою любимую республику. Генерал Кавеньяк, представитель чести знамени против революции, был предшественником Наполеона III. И это все тогда поняли, если не во Франции, то, по крайней мере, во всем остальном мире, ибо эта злополучная победа республиканцев над парижскими рабочими, была отпразднована, как великое торжество, всеми дворами Европы, и офицеры прусской службы, с генералами во главе, поспешили отправить адрес с братскими поздравлениями генералу Кавеньяку.

Напуганная красным призраком, европейская буржуазия впала в полное рабелепство. По природе либеральная и задорная, она не обожает военного режима, но она высказалась за него в виду угрожающей опасности народного освобождения. Пожертвовав своим достоинством и своими славными завоеваниями XVIII-го и начала этого века, она полагала, что покупает мир и спокойствие, необходимые для успеха ее торговых и промышленных предприятий: „Мы вам жертвуем своей свободой“, как бы говорила она военным властям, вновь водворявшимся на развалинах третьей революции, — „а взамен предоставьте нам возможность спокойно эксплуатировать народные массы и защитите нас от их претензий, которые могут казаться «справедливыми в теории, но которые отвратительны с точки зрения наших интересов». Буржуазии все обещали и даже сдержали слово. Почему же буржуазия, вся европейская буржуазия, в настоящее время недовольна?

Она не рассчитала, что военный режим дорого стоит, что уже в силу своего внутреннего строения, он парализует, беспокоит, разоряет народ, и что, более того, верный логике, свойственной ему и которой он никогда не изменял, он имеет неизбежным последствием *войну*: войны династические, войны честолюбия, войны завоевательные или территориальные, войны равновесия — постоянное уничтожение и поглощение одних государств другими, реки человеческой крови, сожжение деревень, разорение городов, опустошение целых провинций, — и все это, чтобы удовлетворить честолюбие царствующих лиц и их фаворитов, чтобы их обогащать, чтобы замять, дисциплинировать народы и заполнить историю.

Теперь буржуазия понимает это, и вот она недовольна режимом, установлению которого она так сильно способствовала. Она устала от него; но чем она его заменит?

Конституционная монархия отжила свое время, да она никогда и не пользовалась особым успехом на континенте Европы; даже в Англии, этой исторической колыбели современного конституционализма, побежденная под-

нимающейся демократией, она поколеблена, качается и не будет уже скоро в состоянии противостоять натиску народных страстей и требований.

Республика? Но какая республика? Политическая ли только, или демократическая и социальная? Социалистично ли настроены народы? Да, более чем когда либо.

В 1848 году, погиб не социализм, вообще, а только *государственный социализм*, тот регламентарский, деспотический социализм, который верил и надеялся, что государство сможет удовлетворить потребности и законные стремления рабочих классов, что, вооруженное своим могуществом, оно захочет и будет в состоянии установить новый социальный строй. Итак, не социализм умер в июне; напротив того, государство объявило себя банкротом перед социализмом и, признав себя неспособным заплатить ему долг, в уплате которого обязалось, попробовало его убить, чтобы наиболее легким образом освободиться от этого долга. Оно не могло его убить, но оно убило веру, которую социализм в него имел, и тем самым уничтожило все теории государственного или доктринерского социализма, из которых одни, как „Икарня“ Кабе, или „Организация труда“ Луи Блана, советовали народу положиться во всем на государство, — а другие доказали свою нелепость в ряде смехотворных опытов. Даже банк Прудона, который мог бы процветать при более счастливых условиях, погиб под давлением всеобщей враждебности буржуазии.

Социализм проиграл это первое сражение по очень простой причине: он был богат инстинктивными стремлениями к лучшему и отрицательными теоретическими идеями, он был тысячу раз прав, споря против привилегий; но ему совершенно недоставало положительных, практических идей, которые необходимы, чтобы можно было построить на развалинах буржуазной системы новую систему, систему народной справедливости. Рабочие, сражавшиеся в июне за народное освобождение, выступали, объединенные инстинктом, а не идей, — их смутные идеи составляли столпотворение Вавилонское, хаос, из которого ничего не могло выйти. Такова была главная причина их поражения. Следует ли из за этого сомневаться в будущем и во внешней мощи социализма? Христианству, поставившему своей целью основание царства справедливости на небе, нужно было несколько столетий, чтобы завоевать Европу. Нужно ли удивляться, что социализм, поставивший себе гораздо более трудную задачу — основание царства справедливости на земле, не одержал победу в несколько лет?

Господа, нужно ли доказывать, что социализм не умер? Чтобы в этом убедиться надо лишь бросить взгляд на то, что происходит в настоящее время во всей Европе. Позади всех дипломатических шашней и слухов о войне, наполняющих Европу с 1852 года, какой серьезный вопрос занимает все страны, если не вопрос социальный? Это великий незнакомец, чье приближение каждый чувствует, который всех заставляет

трепетать и о котором никто не смеет говорить... Но он сам за себя говорит и, чем дальше, тем громче. Не доказывают ли рабочие кооперативные ассоциации, банки взаимопомощи и кредита труду, трэд-унионы, международная лига рабочих всех стран, одним словом, все непрестанно усиливающееся рабочее движение в Англии, Франции, Бельгии, Германии, Италии и Швейцарии, не доказывает ли все это, что рабочие не отказались от своей цели, не потеряли веру в свое близкое освобождение? и что в то же время они поняли, что в деле приближения часа своего освобождения они не должны более рассчитывать ни на государства, ни на более или менее лицемерное содействие привилегированных классов, но на самих себя и на свои собственные, независимые, совершенно свободно возникающие ассоциации?

В большинстве европейских стран, движение это, на вид, по крайней мере, чуждо политике, сохраняет исключительно экономический, и так сказать, частный характер. Но в Англии оно отчетливо стало на жгучую почву политики и, организовавшись в огромную лигу: „Лигу Реформы“, уже одержало большую победу против политически организованных привилегий аристократии и высшей буржуазии. С чисто английским терпением и практической последовательностью, „Лига Реформы“ (Reform League) начертала перед собой план действий; она ничего не страшится, ни перед чем не пасует, и не останавливается ни перед каким препятствием. „Не далее, как через десять лет“, говорит она, беря в расчет самые большие препятствия, „мы будем иметь всеобщее избирательное право, и тогда“... тогда они сделают социальную революцию!

Как во Франции, так и в Германии, социализм, молчаливо подвигаясь вперед путем частных экономических ассоциаций, уже достиг такого могущества в среде рабочих классов, что Наполеон III с одной стороны, а с другой — граф Бисмарк, начинают искать союза с ним... В скором времени в Италии и в Испании, после плачевного фиаско всех других политических партий и в виду ужасного экономического положения обеих стран, всякий другой вопрос исчезнет перед вопросом экономическим и социальным. — А в России и в Польше есть ли в сущности другой вопрос? Это он разрушил последние надежды старой, исторической, дворянской Польши; — это он угрожает и вскоре уничтожит уже столь сильно поколебленное существование этой ужасной Всероссийской Империи. Даже в Америке, не проявился ли в полной мере социализм в предложении замечательного человека, бостонского сенатора г. Чарльса Сёмнера наделить землей освобожденных негров Южных Штатов?

Как вы видите, господа, везде проявляется социализм, несмотря на июньское поражение. Он, путем подпольной работы, постепенно проник в самые недра политической жизни всех стран, и везде дает о себе знать, как скрытая сила века. Еще несколько лет, и он выступит, как сила открытая и всемогущая.

За малым числом исключений, все народы Европы, многие даже не зная слова социализм, проникнуты в настоящее время социализмом, не знают другого знамени, кроме того, которое им возвещает, прежде всего их экономическое освобождение, и в тысячу раз охотнее отступятся от всякого другого вопроса, но не от этого. Итак, только социализмом можно увлечь их к политической деятельности, к хорошей политике.

Не достаточно ли сказанного, господа, чтобы убедиться, что нам непозволительно умолчать в своей программе о социализме, и что такое умалчивание наложило бы на все наше дело печать бессилия? Провозгласив себя в своей программе республиканцами-федералистами, мы достаточно выказали себя революционерами, чтобы отстранить от себя добрую часть буржуазии: всех, кто спекулирует на нищете и несчастиях народов, кто ухитряется извлекать выгоду даже из великих катастроф, которые ныне, более чем когда-либо, обрушиваются на народы. Если мы оставим в стороне эту деятельную, подвижную, интригантскую, спекулянтскую часть буржуазии, то у нас еще останется большинство буржуа спокойных, трудолюбивых, делающих иногда зло, но скорей по необходимости, чем по доброй воле и склонности, и которые ничего бы так не желали, как быть освобожденными от этой фатальной необходимости, ставящей их в постоянное враждебное отношение с рабочим народом и в то же время разоряющей их самих. Нельзя не отметить, что в настоящее время мелкая буржуазия, мелкая промышленность и мелкая торговля начинают бедствовать почти так же, как и рабочие массы, и если дело будет идти в том же направлении, то это почтенное буржуазное большинство, по всей вероятности, сольется в экономическом отношении с пролетариатом. Крупная торговля, крупная промышленность и в особенности крупная и бесчестная спекуляция давят его, пожирают, толкают в бездну. Итак, положение мелкой буржуазии делается все более революционным и ее идеи, бывшие слишком долго реакционными, ныне, вследствие ужасных уроков, начинают проясняться и необходимо должны будут принять противоположное направление. Самые умные начинают понимать, что для сохранившей честность буржуазии нет более другого спасения, кроме союза с народом — и что она заинтересована в социальном вопросе не менее и с той же стороны, что и народ.

Это постепенное изменение в воззрениях мелкой буржуазии Европы является фактом, столь же утешительным, как и неоспоримым. Но не надо обманываться: инициатива нового движения будет принадлежать народу, а не ей; на западе — фабричным и городским рабочим; у нас, в России, в Польше и в большинстве славянских земель — крестьянам. Мелкая буржуазия сделалась слишком трусливой, нерешительной, скептической, чтобы взять на себя инициативу чего-либо; она дает себя увлечь, но сама никого не увлечет; ибо она столь же бедна верой и страстью, как и мыслями. Та страсть, которая разбивает препятствия и творит новые

миры, находится исключительно у народа. Итак, неоспоримо, народу будет принадлежать инициатива нового движения. И мы бы умолчали о народе? И мы бы ничего не сказали о социализме, являющемся новой религией народа?

Но, скажут нам, социализм выказывает склонность заключить союз с цезаризмом. Во-первых, это клевета; напротив того, именно, цезаризм, видя на горизонте появления грозной силы социализма, стремится завладеть его симпатиями, чтобы эксплуатировать его в свою пользу. Но не является ли это для нас лишней причиной устремить сюда свою энергию, чтобы помешать этому чудовищному союзу, плодом которого явилось бы, конечно, самое большое несчастье, какое только может грозить свободе мира?

Мы должны высказаться в пользу социализма, даже и не принимая в расчет всех этих практических мотивов, ибо социализм это *справедливость*. Когда мы говорим о справедливости, мы подразумеваем не ту, которая заключена в кодексах и в римском праве, основанном в громадной степени на насильственных фактах, совершенных силой, освященных временем и благословениями какой-либо, христианской или языческой церкви, и, в качестве таковых, призванных за абсолютные принципы, из которых дедуктивно выведено все право¹⁾, — мы говорим о справедливости, основывающейся единственно на совести людей, о справедливости, которую вы найдете в сознании каждого человека и даже в сознании детей, и суть которой передается одним словом: *уравнение*.

Эта всемирная справедливость, которая, однако, благодаря насильственным захватам и религиозным влияниям, никогда еще не имела перевеса ни в политическом, ни в юридическом, ни в экономическом мире, должна послужить основанием нового мира. Без нее не может быть ни свободы, ни республики, ни благоденствия, ни мира. Она должна первенствовать во всех наших решениях, дабы мы могли деятельно способствовать установлению мира.

Эта справедливость повелевает нам взять на себя защиту интересов народа, до сих пор столь жестоко попираемых, и потребовать для него не только политической свободы, но и экономическое и социальное освобождение.

Мы не предлагаем вам, господа, ту или иную социалистическую систему. Мы лишь просим вас снова провозгласить этот великий принцип Французской Революции; каждый человек должен иметь материальные и духовные средства для развития всей своей человечности. Принцип этот, по нашему мнению, порождает следующую задачу:

¹⁾ В этом отношении юридическая наука совершенно сходна с теологией; обе эти науки равным образом исходят, одна из реального, но несогласного со справедливостью факта,—присвоения силой, завоевания; другая из факта фиктивного и нелепого,—божеского откровения, как верховного принципа. Основываясь на этой нелепости или этой несправедливости, обе науки прибегают к самой строгой логике, чтобы построить с одной стороны, юридическую, с другой, теологическую систему.

Организовать общество таким образом, чтобы каждый индивид, мужчина или женщина, находил, появляясь на свет, почти равные средства для развития своих различных способностей и для их использования своей работой: создать такое общество, которое бы поставило всякого индивида, кто бы он ни был, в невозможность эксплуатировать чужую работу, и позволяло бы ему участвовать в пользовании социальными богатствами, являющимися в сущности ничем иным, как произведением человеческой работы, лишь постольку, поскольку он непосредственно способствовал их производству.

Полное осуществление этой проблемы будет, конечно, делом столетия. Но история выдвинула ее, и отныне мы не можем оставлять ее без внимания, не обрекая себя на полное бессилие.

Мы спешим прибавить что энергично отклоняем всякую попытку организации, которая была бы чужда самой полной свободы, как индивидов, так и ассоциаций, и требовала бы установления регламентирующей власти, какого бы то ни было характера. Во имя свободы, которую мы признаем за единственную основу, единственный законный творческий принцип всякой организации, как экономической, так и политической, мы всегда будем протестовать против всего, что хоть сколько-нибудь будет похоже на государственный социализм и коммунизм.

Единственная вещь, которую, по нашему мнению, может и должно сделать государство, это видоизменить мало-по-малу наследственное право, с целью как можно скорее достичь его полного уничтожения. В виду того, что наследственное право является всецело созданием государства, является одних из существенных условий самого существования принудительного и божественно установленного государства, оно может и должно быть уничтожено свободой в государстве; другими словами, государство должно раствориться в обществе, организованном на началах справедливости. Наследственное право, по нашему мнению, необходимо должно быть уничтожено, ибо пока наследство будет существовать, будет существовать наследственное экономическое неравенство, не естественное неравенство индивидов, а искусственное неравенство классов, — а последнее необходимо будет всегда порождать наследственное неравенство в развитии и образовании умов и будет продолжать быть источником и освящением всех политических и социальных неравенств. Задачей справедливости является установить равенство для каждого, поскольку такое равенство будет зависеть от экономического и политического устройства общества, — равенство для каждого в исходной точке жизненного существования, так, чтобы каждый, руководимый собственной природой, был сыном своих собственных дел. По нашему мнению, единственным наследником умирающих должен быть общественный фонд для образования и обучения детей обоих полов, включая сюда и содержание их от рождения до совершеннолетия. В качестве славян и русских, мы можем прибавить, что у нас основной социальной

идеей, основанной на всеобщем и традиционном инстинкте населения, является идея, что земля, собственность всего народа, может быть во владении лишь тех, кто обрабатывает ее собственными руками.

Мы убеждены, господа, что этот принцип справедлив, что он является существенным и неизбежным условием всякой серьезной социальной реформы и что поэтому западная Европа непременно должна будет в свою очередь, его признать и воспринять, несмотря на трудности его реализации в некоторых странах. Так, например, во Франции большинство крестьян уже пользуется земельной собственностью, но вскоре большая часть этих самых крестьян не будет пользоваться почти ничем, вследствие того раздробление земли, которое является неизбежным последствием преобладающей в настоящее время во Франции политико-экономической системы. Впрочем, мы воздерживаемся от всякого предложения по земельному вопросу, как и вообще мы воздерживаемся от всяких предложений, затрагивающих, тот или иной научный, или политико-социальный вопрос, убежденные, что все эти вопросы должны стать в нашей газете предметом серьезного и глубокого обсуждения. — Мы ограничимся сегодня тем, что предложим вам сделать следующую декларацию:

„Убежденная, что серьезное осуществление в мире свободы, справедливости и мира невозможно до тех пор, пока огромное большинство людей остается обездоленным в отношении всех благ, лишенным образования и приговоренным к политическому и социальному ничтожеству и к фактическому, если не юридическому рабству, вследствие нищеты и необходимости работать без отдыха и передышки, производя все богатства, составляющие ныне гордость мира, и получая столь малую часть их, что ее едва достает для обеспечения хлеба на завтрашний день;

„Убежденная, что для всей массы населения, столь ужасно эксплуатируемой в продолжении столетий, вопрос хлеба является вопросом умственного освобождения, свободы и человечности;

„Убежденная что свобода без социализма, это привилегия, несправедливость, и что социализм без свободы становится рабством;

„Лига громко провозглашает необходимость коренного социального и экономического переустройства общества, которое бы вело к освобождению народного труда из под ига капитала и собственников, и было бы основано на самой строгой справедливости, но не юридической, теологической или метафизической, а просто человеческой, на позитивной науке и самой полной свободе.

„Она объявляет в то же время, что ее газета широко

откроет свои столбцы для всех серьезных статей по экономическим и социальным вопросам, если только эти статьи будут искренно воодушевлены желанием самого широкого народного освобождения, как в материальном отношении, так и с точки зрения политической и интеллектуальной”.

Изложив свои взгляды на федерализм и социализм, мы считаем, господа, своей обязанностью рассмотреть вместе с вами, еще третий вопрос, который мы считаем неразрывно связанным с двумя первыми вопросами,— т. е. *религиозный вопрос*, и мы просим у вас позволения резюмировать все наши взгляды по этому вопросу в одном слове, которое покажется вам, может быть, варварским:

III.

АНТИТЕОЛОГИЗМ.

Господа, мы убеждены, что в мире не произошло ни одного крупного политического и социального изменения, которое бы не было сопровождено и часто предупреждено аналогичным движением в философских и религиозных идеях, управляющих сознанием индивидов и общества.

Все религии со своими богами были всегда ничем иным, как созданием верующей и легковерной фантазии человека, еще не достигшего уровня чистого рассуждения и свободной, опирающейся на науку мысли. Религиозное небо было лишь миражем, в котором воспламененный верой человек, находил так долго свое собственное изображение, но увеличенное и отраженное.—т. е. *обожествленное*.

История религий, история величия и упадка следовавших друг за другом богов, является ничем иным, как историей развития ума и коллективного сознания людей. По мере того, как люди открывали в себе-ли, или вне себя, какую-нибудь силу, способность или качество, они приписывали их своим богам, чрезмерно увеличив их, расширив своей религиозной фантазией подобно тому, как это делают дети. Такими образом, благодаря великодушию и скромности людей, небо обогатилось добычей, отнятой у земли, и как естественное следствие, чем небо становилось богаче, тем беднее становилось человечество. Как только божество было признано, оно, естественно, было провозглашено господином, источником, вершителем всего: реальный мир стал существовать, как его отблеск, и человек, его бессознательный творец, пал на колени перед своим творением и объявил себя рабом, созданием божества.

Христианство является религией по преимуществу, именно потому, что оно представляет природу и сущность всякой религии, каковы: систематическое, абсолютное умаление, уничтожение и порабощение человечества в пользу божества,—высший принцип не только всякой религии, но и всякой метафизики, как деистической, так и пантеистической. Так как Бог—все, то реальный мир и человек—ничто. Так как Бог—истина, справедливость и бесконечная жизнь, то человек—ложь, неправедность и смерть. Так как Бог господин, то человек—раб. Неспособный

сам отыскать путь к справедливости и истине, он должен получить их, как откровение свыше, посредством посланников и избранников божьей милости. Если же существует откровение, должны существовать свыше вдохновленные пророки, должны существовать священники, а раз эти последние признаны за представителей божества на земле, за учителей и вождей человечества на пути к вечной жизни, то они тем самым получают миссию руководить, повелевать и управлять человечеством в его земном существовании. Все люди обязаны слепо верить им и беспрекословно им повиноваться; будучи рабами Бога, люди должны быть также рабами церкви и государства, поскольку это последнее благословлено церковью. Из всех существующих или существовавших религий, одно христианство в совершенстве это поняло, а из всех христианских сект, только римский католицизм провозгласил и осуществил этот принцип с полной последовательностью. Вот почему христианство является религией абсолютной, последней религией; вот почему апостольская римская церковь является единой последовательной, законной и божественной.

Поэтому, не во гнев будь сказано всем полу-философам, всем так называемым, религиозным мыслителям — *существование Бога логически связано с самоотречением человеческого разума и человеческой справедливости; оно является отрицанием человеческой свободы и необходимо приводит не только к теоретическому, но и к практическому рабству.*

И, если только мы не хотим рабства, мы не можем и не должны делать никаких уступок теологии, ибо, имея дело с этим мистическим и строго последовательным алфавитом, всякий, начав с А, фатально дойдет до Z: всякий, желающий обожать Бога, должен будет отказаться от свободы и достоинства человека.

Бог существует, значит человек — раб.

Человек разумен, справедлив, свободен, — значит Бога нет.

Мы смело утверждаем, что никто не сможет выйти из этого круга; и в таком случае пусть выбирают.

Да и история нам показывает, что священники всех религий, за исключением лишь религий преследуемых, всегда были в союзе с тиранией. И даже преследуемые священники, хотя и они боролись против притесняющих их властей, проклинали их, тем не менее, подчиняли своих верующих принудительной дисциплине, и тем самым готовили элементы новой тирании. Духовное рабство какого угодно характера, будет всегда иметь своим естественным последствием рабство политическое и социальное. — В настоящее время, христианство во всех его различных видах, а также вышедшая из него доктринерская и деистическая метафизика, которая сущности не что иное, как замаскированная теология, является без всякого сомнения самым громадным препятствием для освобождения общества. Поэтому то все правительства, все государственные люди Европы, кото-

рые сами не являются ни теологами ни деистами, которые в глубине души не верят ни в Бога, ни в Дьявола, со страстью, с остервенением покровительствуют метафизике и религии, какой бы то ни было религии, лишь бы она, как это, впрочем делают все религии, проповедовала смирение, подчинение и терпение.

Остервенение, с каким правительства защищают религию, показывает, насколько для нас необходимо бороться с нею и уничтожить ее.

Нужно ли вам, господа, напоминать, какое деморализующее и погубное влияние оказывает на народ религия? Она убивает в нем разум, это главное орудие человеческого освобождения, и, наполняя умы божественными нелепостями, доводит народ до отупения, главного источника всякого рабства. Она убивает в людях энергию к труду, который является для человека спасением и величайшей славой: в труде человек становится творцом, создает свой мир, создает основания и условия своего человеческого существования и завоевывает, как свободу, так и человечность. Религия убивает в людях производительную мощь, внедряя в них презрение к земной жизни в виду небесного блаженства, и уча их, что труд — это последствие проклятия или заслуженное наказание, а бездействие — божественная привилегия. — Религия убивает в людях справедливость, эту строгую хранительницу братства и необходимое условие мира, наклоня всегда весы в сторону более сильных, на которых по преимуществу изливается божественная благодать, заботливость и благословение. Наконец, она убивает в них человечность, заменяя ее в их сердцах божественного жестокостью.

Все религии основаны на крови, ибо все, как известно, существенно опираются на идею жертвоприношения, т. е. постоянного заклания человечества ради ненасытной мстительности божества. В этом кровавом таинстве, человек всегда является жертвой, а священник, тоже человек, но человек возвышенный благодатью, — божественным палачом. Это объясняет нам, почему священники всех религий, и даже самые лучшие, самые человечные, самые кроткие из них имеют почти всегда в глубине сердца, и если не в сердце, то по крайней мере, в уме и в воображении — а известно какое влияние, имеют эти последние на сердце, — нечто жестокое и кровожадное; и вот, когда повсюду возбуждался вопрос об уничтожении смертной казни, то все священники, римско-католические, московско-православные и греческие, протестантские — все единогласно высказались за ее сохранение.

Христианская религия, более чем всякая другая, была основана на крови и исторически окрещена в крови. Посчитайте миллионы жертв, которых эта религия любви и прощения заклала ради удовлетворения жестокой мести своего Бога. Вспомните пытки, которые она выдумала и применяла. И разве ныне она сделалась более кроткой? Нет, поколебленная равнодушием, она лишь сделалась бессильной, или лучше сказать, гораздо менее сильной, ибо к несчастью, она не лишена еще, даже в настоящее время,

способности вредить. И посмотрите на страны, в которых, гальванизированная реакционными страстями, она с виду воскресает; не является ли ее первым словом — мщение и кровь, ее вторым словом отречение от человеческого разума, а заключением — рабство? Покуда христианство и христианские священники, покуда какая бы то ни было божеская религия будет продолжать иметь хотя бы малейшее влияние на народные массы, до тех пор не восторжествуют на земле разум, свобода, человечность и справедливость. Ибо, покуда народные массы останутся погруженными в религиозные суеверия, до тех пор они будут послушным орудием в руках всех земных деспотизмов, соединившихся против освобождения человечества.

Вот почему нам чрезвычайно важно освободить массы от религиозных суеверий, и не только из за любви к ним, но также и из за любви к самим себе, ради спасения нашей свободы и безопасности. Но эта цель может быть достигнута лишь двумя путями: *распространением рациональной науки и пропагандой социализма.*

Мы подразумеваем под *рациональной наукой* ту, которая освободилась от всех призраков метафизики и религии, и в то же время отличается от чисто экспериментальных и критических наук. Она отличается от них, во первых тем, что не ограничивает свои изыскания тем или другим определенным предметом, но старается охватить весь доступный познанию мир, до того же, что лежит за границами познания, ей нет никакого дела. Во вторых, она отличается от экспериментальных наук тем, что не пользуется, как эти последние, исключительно аналитическим методом, но позволяет себе прибегать и к синтезу, пользуясь довольно часто аналогией и дедукцией, хотя она придает своим синтетическим выводам чисто гипотетическое значение, до тех пор, пока они не подтверждены самым строгим экспериментальным или критическим анализом.

Гипотезы рациональной науки отличаются от гипотез метафизики тем, что эта последняя, выводя свои гипотезы, как логические следствия из абсолютной системы, претендует заставить природу им подчиняться. Напротив того, гипотезы рациональной науки вытекают не из трансцендентной системы, а из синтеза, являющегося ничем иным, как резюме или общим выводом из множества доказанных на опыте фактов. Поэтому эти гипотезы никогда не могут иметь всенепременного, обязательного характера; они предлагаются в таком виде, чтобы их можно было отбросить сейчас же, как только они будут опровергнуты новыми опытами.

Рациональная философия или всемирная наука не действует авторитарно, ни авторитарно, как это делала покойница метафизика. Эта последняя, организуясь сверху вниз, путем дедукции и синтеза, на словах признавала, правда, автономию и свободу отдельных наук, но на деле страшно их стесняла, до такой степени, что заставляла их признавать законы и даже факты, которых часто нельзя было найти в природе, и притом заставляла их заниматься опытными исследованиями, результаты которых

могли бы свести в небытию все ее спекуляции. — Как видите, метафизика действовала по методу централизованных государств.

Напротив того, рациональная философия является чисто демократической наукой. Она организуется свободно снизу вверх, и опыт признает своим единственным основанием. Ничто, не анализированное и не подтвержденное опытом или самой строгой критикой, не может быть ею воспринято *она не может принять ничего, что не было бы действительно анализировано и подтверждено опытом или самой строгой критикой*. Поэтому, Бог, Бесконечное, Абсолют, — все эти столь любимые объекты метафизики, совершенно устраняются из рациональной науки. Она с равнодушием отворачивается от них, она смотрит на них, как на призраки или миражи. Но так как и призраки и миражи играют существенную роль в развитии человеческого ума, ибо человек обыкновенно достигает познания простой истины лишь после того, как он создал и пересоздал всевозможные иллюзии, и так как развитие человеческого ума является реальным предметом науки, — то естественная философия уделяет место и рассмотрению заблуждений. Она занимается ими лишь с точки зрения истории и старается в то же время показать нам как физиологические, так и исторические причины зарождения, развития и упадка религиозных и метафизических идей, а также их временную и относительную необходимость для развития человеческого духа. Таким образом, она отдает им всю справедливость, на которую они имеют право, потом отворачивается от них навсегда.

Ее предмет это реальный, доступный познанию мир. В глазах рационального философа, в мире существует лишь одно существо и одна наука. Поэтому он стремится соединить и координировать все отдельные науки в единую. Эта координация всех позитивных наук в единую систему человеческого знания образует *Позитивную философию* или всемирную науку. Наследница и в то же время полнейшее отрицание религии и метафизики, эта философия, уже издавна предчувствуемая и подготовляемая лучшими умами, была в первый раз создана в виде цельной системы, великим французским мыслителем *Огюстом Контом*, который умелой и смелой рукой начертил ее первый план.

Координация наук, устанавливаемая позитивной философией, не является простым соединением их, это своего рода органическое сцепление, начинающееся с самой абстрактной науки, с той, которая занимается фактами самого простого порядка а именно: с математики, и постепенно восходящее к наукам сравнительно более конкретным, занимающимся более сложными фактами. Таким образом, от чистой математики переходят к механике, к астрономии, потом к физике, химии, геологии и биологии, включая сюда классификацию, сравнительную анатомию и физиологию растений и затем животных и доходят до социологии, которая обнимает собой всю человеческую историю, как развитие человеческого Существа, кол-

лектива и индивида, в политической, экономической, социальной, религиозной, артистической и научной жизни. Все эти науки, начиная с математики и кончая социологией, следуют непрерывно одна за другой. Единое Существо, единая наука и в сущности единый метод, который необходимо усложняется по мере того, как факты с которыми она имеет дело, становятся более сложными. Каждая последующая наука широко и всецело опирается на предыдущую и является, насколько позволяет это усмотреть современное состояние наших реальных познаний, ее необходимым развитием.

Любопытно отметить, что порядок наук, установленный Огюстом Конттом, почти такой же, как в Энциклопедии Гегеля, величайшего метафизика настоящих и прошлых времен, который довел развитие спекулятивной философии до ее кульминационного пункта, так что движимая своей собственной диалектикой, она необходимо должна была прийти к самоуничтожению. Но между Огюстом Конттом и Гегелем есть громадная разница. Этот последний в качестве истинного метафизика, спиритуализировал материю и природу, выводя их из логики т. е. из духа. Напротив того, Огюст Конт материализировал дух, основывая его единственно на материи. — В этом его безмерная заслуга и слава.

Так, психология, эта столь важная наука, служившая базой для метафизики, и рассматриваемая спекулятивной философией, как мир почти абсолютный, свободный и независимый от всякого материального влияния, в системе Огюста Конта, основывается единственно на физиологии и является ничем иным, как дальнейшим развитием этой последней. Так что, то, что мы называем умом, воображением, памятью, чувством, ощущением и волей, является в наших глазах лишь различными свойствами, функциями или проявлениями человеческого тела.

Рассматриваемые с этой точки зрения человечество, его развитие и история представляются нам в совершенно новом свете, более естественном, более широком, более человеческом, более плодотворном в поучениях для будущего. А раньше мы рассматривали человеческий мир как проявление теологической, метафизической и юридическо-политической идеи, — и в настоящее время должны возобновить его изучение, взяв за исходную точку природу, а за путеводную нить собственную физиологию человека.

На этом пути уже предчувствуется появление новой науки: *социологии* — т. е. науки о законах, управляющих развитием человеческого общества. Социология будет последней ступенью и увенчанием позитивной философии. История и статистика доказывают нам, что социальное тело, подобно всякому другому естественному телу, повинуетя в своих эволюциях и видоизменениях общим законам, которые, повидимому, столь же неизбежны, как и законы физического мира. Выяснение этих законов из массы прошедших и настоящих исторических фактов, вот задача социологии. Помимо громадного интереса, представляемого ею для ума, она обещает в будущем большую практическую пользу; ибо подобно тому, как мы

не можем властвовать над природой и видоизменять ее, согласно нашим прогрессивным нуждам, иначе, как лишь благодаря приобретенному нами знанию: ее законов, так же точно мы будем в состоянии осуществить в социальной среде свободу и благоденствие, лишь опираясь на постоянные законы, управляющие этой средой. Раз мы признали что бездна, которая в воображении теологов и метафизиков разделяет дух и природу, не существует, мы должны рассматривать человеческое общество, как тело, разумеется, гораздо более сложное, чем другие, но столь же естественное и повинующееся тем же законам, с прибавлением законов, исключительно ему свойственных. Раз это признано, становится ясным, что знание и строгое исследование этих законов необходимы, дабы предпринимаемые нами социальные переустройства были живучи.

Но с другой стороны мы знаем, что *социология* наука едва лишь появившаяся на свет, что принципы ее еще не установлены. Если мы будем судить об этой науке, самой трудной из всех, по примеру других, то мы должны будем признать, что потребуются века, по крайней мере, одно столетие, чтобы она могла окончательно утвердиться и сделаться наукой серьезной и более или менее полной и самодовлеющей. Итак, как же поступать? Надо ли чтобы страдающее человечество ожидало избавления от давящих его несчастий столетие и более, до тех пор, пока окончательно установившаяся позитивная социология не объявит ему, что она, наконец, может дать указания и инструкции для рационального переустройства социальной жизни?

Нет, тысячу раз нет! Во-первых, чтобы ждать еще несколько столетий, нужно иметь терпение... по старой привычке, мы чуть было не сказали: терпение немцев, но вспомнили, что в настоящее время другие народы превзошли немцев в этой добродетели. Во вторых, если мы даже предположим, что у нас будет возможность и терпение ожидать, то чем бы явилось общество, представляющее собой лишь применение на практике науки, хотя бы самой полной и совершенной в мире? — Ничтожеством. Представьте себе мир, не заключающий в себе ничего, кроме того, что человеческий ум до сих пор заметил, узнал и понял, — не являлся ли бы этот мир дрянным домишкой, по сравнению с тем, который существует?

Мы полны уважения к науке: мы смотрим на нее, как на одно из самых драгоценных сокровищ, как на одну из лучших слав человечества. Наукой человек отличается от животного, своего меньшего брата в настоящем, своего предка в прошедшем, и становится способным быть свободным. Тем не менее, необходимо также признать, что у науки есть границы, и напомнить ей, что она не все, что она только часть всего и что все — это жизнь, бесконечная жизнь миров или, чтобы не потеряться в бесконечном и неведомом, жизнь нашей солнечной системы, или хотя бы нашего земного шара; наконец, еще более ограничивая себя; человеческий мир, — движение, развитие, жизнь человеческого общества на земле. Все

это несравненно шире, глубже и богаче науки и никогда не будет ею исчерпано.

Жизнь, взятая в этом всеобъемлющем смысле, не является применением той или другой человеческой или божеской теории; жизнь, это—творение сказали бы мы охотно, если бы не боялись быть неправильно понятыми. Сравнивая народы, творящие свою собственную историю, с художниками, мы спросили бы: разве ждали великие поэты для создания своих великих произведений, чтобы наука раскрыла законы поэтического творчества? Не создали ли Эсхил и Софокл свои великолепные трагедии много раньше, чем Аристотель построил на основании их творений свою первую эстетику? Теориями ли вдохновлялся Шекспир? А Бетховен? Не расширил ли он созданием своих симфоний самые основания контрапункта? И чем бы было произведение искусства, созданное по правилам самой лучшей эстетики в мире? Повторяем еще раз, — ничтожеством. Но народы, творящие свою историю, по всей вероятности не беднее инстинктом, не слабее творческой мощью, не зависимее от гг. ученых чем художники!

Если мы колеблемся употребить слово творение, то только потому, что ему припишут смысл, который мы никак не можем допустить.. Кто говорит о творении, говорит, как будто, и о творце, а мы отвергаем существование единого творца по отношению к человеческому миру так же точно, как и по отношению к физическому, которые оба составляют на наш взгляд, один нераздельный мир. Даже говоря о народах, творящих свою собственную историю, мы сознаем, что употребляем метафорическое выражение, неподходящее сравнение. Каждый народ является коллективным существом, обладающим, как психо-физиологическими, так и политико-социальными особенностями, которые индивидуализируют его в некотором роде, отличая от всех других народов. Но это не индивид, не единое и нераздельное существо, в реальном смысле слова. Как ни развито его коллективное сознание, как ни концентрирована бывает в минуту великого национального кризиса народная страсть или воля, как говорят, направленная к одной цели, никогда эта концентрация не сравняется с концентрацией сил реального индивида. Одним словом, ни один народ, как бы он ни чувствовал себя единым, не может сказать: я хочу! но должен сказать: мы хотим! Только индивид имеет обыкновение говорить: я хочу! И если вы услышите, что говорят от имени всего народа: он хочет! будьте уверены, что за этим словом скрывается какой-нибудь узрупатор: человек или партия.

Итак, мы не подразумеваем здесь под словом творение, ни теологическое или метафизическое творение, ни художественное, научное, промышленное или какое-либо другое творение, за которым скрывается творящий индивид . Мы подразумеваем под этим словом просто продукт бесконечно-сложного комплекса бесчисленного множества очень различных причин, больших или малых, из которых часть известна, но громадное большинство остается еще неизвестным, и которые, в определенный момент, скомбини-

рававшись между собой, понятно, не без причины, но без преднамерения, без предначертанного плана, создали данный факт.

Но, скажут, в таком случае, история и судьбы человеческого общества должны представлять хаос и быть игрушкой случая? Напротив, лишь когда история свободна от всякого божеского и человеческого произвола, она являет нашим глазам все подавляющее и в то-же время рациональное величие своего необходимого развития, подобно органической и физической природе, чьим непосредственным продолжением она является. Природа, несмотря на неисчерпаемое богатство и разнообразие составляющих ее существ, нисколько не представляет собой хаоса, а напротив великолепно организованный мир, где каждая часть сохраняет, так сказать, необходимое логическое соотношение со всеми остальными. Но, скажут, значит был устроитель? Нисколько; устроитель, хотя бы и Бог, мог бы лишь испортить своим личным произволом естественное устройство и логическое развитие вещей. И мы видим, что во всех религиях главное свойство божества это быть превыше, то-есть против всякой логики и всегда иметь свою собственную, особенную логику: а именно, логику естественной невозможности или нелепости ¹⁾. Ибо, что такое логика, если не естественный ход и развитие вещей, или естественный путь, посредством которого множество определяющих причин производят факт? Итак, мы можем высказать следующую простую и в то же время решительную аксиому: *Все, что естественно— логично, и все что логично — существует и должно осуществиться в реальном мире: в природе, в собственном смысле, слова и в ее дальнейшем развитии — в естественной истории человеческого общества.*

Итак, вопрос в том, что логично в природе и в истории? Это не так легко определить, как можно думать при первом взгляде. Ибо, чтобы знать это в совершенстве так, чтобы никогда не ошибаться, надо обладать познанием всех причин, влияний, действий и противодействий, определяющих природу какой-либо вещи или факта, не исключая ни одной причины, хотя бы самой отдаленной или слабой. А какая философия или наука может похвалиться, что она в состоянии обнять и исчерпать все это своим анализом? Чтобы претендовать на это, надо быть очень бедным умом или очень мало сознавать бесконечное богатство действительного мира.

Надо ли из-за этого сомневаться в науке? Надо ли отбрасывать ее потому что она дает нам лишь то, что может дать? Это было бы новым

¹⁾ Сказать, что Бог не противоречит логике, это значит утверждать, что он совершенно тождествен с логикой, что он сам ничто иное, как логика, т. е. естественный ход, развитие реальных вещей. Другими словами, это значит сказать, что Бога нет. Существование Бога может иметь значение, лишь как отрицание естественных законов. Отсюда вытекает следующая неоспоримая дилемма: Бог существует, значит нет естественных законов и мир представляет собой хаос; мир не есть хаос, он обладает внутренним устройством, — значит Бога нет.

безумием и много более зловредным, чем первое. Если вы потеряете науку, то за отсутствием света, вы возвратитесь к состоянию наших предков, горилл, и вам придется положить несколько тысяч лет на повторение всего пути, которым должно было пройти человечество, при фантазмагорическом блеске религии и метафизики, чтобы снова добраться, правда, до не совершенного, но, по крайней мере, реального света, которым мы в настоящее время обладаем.

Самым большим и решительным триумфом, достигнутым наукой в наши дни, является, как мы уже сказали, подведение психологии под биологию. Наука установила, что все интеллектуальные и моральные акты, отличающие человека от всех других пород животных, каковы мысль, проявление человеческого понимания и сознательной воли, имеют своим единственным источником чисто материальную, хотя, конечно, более совершенную организацию человека, без всякого спиритуального или нематериального воздействия. Одним словом, они являются ничем иным, как продуктами различных комбинаций чисто физиологических функций мозга.

Значение этого открытия безмерно, как для науки, так и для жизни. Благодаря ему, становится, наконец, возможной вся наука о человеческом мире, включая сюда антропологию, психологию, логику, мораль, социальную экономию, политику, эстетику, теологию с метафизикой, становится возможной история одним словом, вся социология. Между человеческим и естественным миром нет больше разрыва непрерывности. Но подобно тому, как, мир органический, являющийся непрерывным и прямым развитием неорганического мира, однако, существенно отличается от него введением нового активного элемента: *органической материи*, происшедшей, не благодаря вмешательству какой-нибудь нематериальной причины, а от неизвестных нам доныне комбинации той же самой неорганической материи, и производящей в свою очередь на основе и в условиях этого неорганического мира, высшим результатом которого она сама является, все богатство растительной и животной жизни; — также точно человеческий мир, являясь ничем иным, как непосредственным продолжением органического мира, существенно отличается от него новым элементом: *мыслью*, рожденной чисто физиологической деятельностью мозга и производящей в то же время среди этого материального мира и в органических и неорганических условиях, последним резюме, которых так сказать она является, все то, что мы называем интеллектуальным и моральным, политическим и социальным развитием человека — историю человечества.

Для людей, мыслящих действительно логично и чей ум достиг уровня современной науки, это единство Мира или Сущего является отныне установленным фактом. Но нельзя не признать, что этот простой и до такой степени очевидный факт, что все противоречащее ему представляется нам теперь уже нелепым, что этот факт находится в самом кричащем противоречии с мировым сознанием человечества. Последнее, проявляясь в истории

в самых различных формах, всегда, однако, единогласно высказывалось за существование двух различных миров: мира божеского и мира реального. Начиная с грубых фетишистов, обожавших в окружившем их мире проявление сверхъестественной силы, воплощенной в каком-нибудь материальном объекте, все народы верили, все народы верят до сего дня в существование какого то божества.

Это подавляющее единодушие имеет, по мнению многих людей, более веса, чем какие бы то ни было научные доказательства. И если логика небольшого числа последовательных, но одиноких мыслителей противоречит всеобщему мнению, — тем хуже, говорят они, для этой логики. Ибо единодушное всемирное приятие какой-нибудь идеи всегда считалось самым победоносным доказательством ее истинности, и это на том основании, что чувство, общее всем людям и всех временам, не может быть ошибочным. Оно должно иметь корень в потребности, существенно присущей природе человечества. А если правда, что, повинувшись этой потребности, человек необходимо должен верить в существование Бога, то в таком случае тот, кто не верит в Бога, является ненормальным исключением, чудовищем, хотя бы его неверие основывалось на логике.

Вот излюбленная аргументация теологов и метафизиков наших дней, и даже знаменитого Мадзини, который не может обойтись без Бога. Он нуждается в Боге, чтобы основать свою аскетическую республику, и убедить народные массы согласиться на нее, народные массы, чьей свободой и благоденствием он систематически жертвует, ради величия идеального Государства.

Таким образом, древность и общераспространенность верования в Бога являются, в противность всякой науке и всякой логике, неоспоримыми доказательствами существования Бога. Но почему же? До появления Коперника и Галилея весь мир, за исключением, может быть, Пифагорийцев, верил, что солнце обращается вокруг земли. Разве всеобщее верование доказывало истинность этого предположения? С начала появления общества в истории до наших дней, всегда и везде незначительное господствующее меньшинство эксплуатировало вынужденный труд рабочих масс, рабов или наемников. Следует ли из этого, что эксплуатация паразитами чужого труда не есть несправедливость, грабеж, воровство? Вот два примера, доказывающие, что аргументация наших современных деистов ничего не стоит.

И в самом деле, нет ничего более универсального более древнего, как нелепости; напротив того, истина, относительно гораздо моложе, являясь всегда результатом, продуктом исторического развития, а не его исходной точкой. Ибо человек, по своему происхождению, если не прямой потомок гориллы, то двоюродный брат, его начал с глубокой ночи животного инстинкта, чтобы постепенно достичь света разума. Это нам вполне объясняет все его прошедшие нелепости и утешает нас отчасти в его настоящих заблуждениях. Все историческое развитие человека ни что иное, как

прогрессивное удаление от чистой животности посредством создания своей человечности. Отсюда следует, что древность какой-нибудь идеи, не только не может говорить в пользу этой идеи, но, напротив, должна нам сделать ее подозрительной. Что касается общераспространенности заблуждения, то она доказывает лишь одно: тождественность человеческой природы во все времена и во всех климатах. И так как все народы во все эпохи верили и верят в Бога, не поддаваясь этому факту, конечно бесспорному, но который не может перевесить в наших глазах ни логику, ни науку, мы должны просто отсюда заключить, что идея божества, порожденная, без сомнения, нами самими, является необходимым заблуждением в развитии человечества. Мы должны спросить себя, каким образом, почему она родилась и почему она остается необходимой для громадного большинства человеческого рода и до сих пор?

Покуда мы не будем в состоянии дать себе отчет, каким образом родилась идея сверхъестественного или божественного мира, и должна была необходимо родиться в естественном развитии человеческого ума и человеческого общества, до тех пор, как бы мы ни были научно убеждены в нелепости этой идеи, мы никогда не сможем уничтожить ее в мнении толпы, так как, не зная источника ее происхождения, мы никогда не будем в состоянии атаковать ее в самых глубинах человеческого существа. Приговоренные к бесплодной, бесконечной борьбе, мы должны будем довольствоваться тем, что будем сражаться с ней на поверхности, в ее тысячных проявлениях, нелепость которых, едва пораженная ударами здравого смысла, будет сейчас же возрождаться в новой и не менее бессмысленной форме, ибо покуда корень верования в Бога остается невредимым, до тех пор он всегда будет давать новые отпрыски. Так, например, в некоторых кругах современного цивилизованного общества, спиритизм стремится в настоящее время занять место развалившегося христианства.

Более того, ради нас самих, нам необходимо отдать себе отчет в происхождении веры в Бога. Ибо, покуда мы не узнали причины исторического, естественного зарождения этой идеи в человеческом обществе, то, сколь бы мы не называли себя атеистами, мы всегда можем подпасть влиянию голоса этого всеобщего сознания, секрет, т. е. естественная причина которого нам неизвестна. И в виду естественной слабости индивида против окружающей его социальной среды, мы рискуем рано или поздно сделаться рабом религиозной нелепости. Примеры этих плачевных обращений не редки в современном обществе.

Господа, мы более, чем когда-либо убеждены в нетерпящей отлагательства необходимости вполне разрешить следующий вопрос:

Так как человек составляет одно целое со всей природой и являемся лишь продуктом бесконечного множества исключительно материальных причин, то каким образом могла родиться, установиться и глубоко укорениться в чело-

веческом сознании идея дуализма: предположение существования двух противоположных миров, одного духовного, другого материального, одного божественного, другого естественного?

Мы настолько убеждены, что от разрешения этого важного вопроса зависит наше окончательное и полное освобождение от цепей всякой религии, что просим у вас позволения изложить свои мысли по этому вопросу.

Многим покажется, пожалуй, странным, что в политическом сочинении, обсуждаются вопросы метафизики и теологии. Но по нашему глубочайшему убеждению эти вопросы не могут быть отдалены от вопросов социальных и политических. Реакционный мир, толкаемый непобедимой логикой, становится все более религиозным. Он поддерживает в Риме папу, он преследует в России естественные науки, он ставит во всех странах свои военные, гражданские, политические и социальные несправедливости под защиту Бога, которого он защищает в свою очередь в церквах и в школах, с помощью лицемерно религиозной, рабелепной, низко-поклонной, тяжеловесно-педантичной науки и всеми другими средствами, находящимися в распоряжении Государства. Царство Бога на небе, выражающееся в явном или тайном царстве кнута и узаконенной эксплуатации рабочих масс на земле — таков религиозный, социальный, политический и совершенно логичный идеал реакционных партий в Европе. В противность этому, революция должна быть атеистична. Ибо исторический опыт и логика доказали, что достаточно одного господина на небе, чтобы тысячи господ расплодились на земле.

Наконец, не является ли социализм по самой цели своей, которая заключается в осуществлении на земле, а не на небе, человеческого благоденствия и всех человеческих стремлений, завершением и, следовательно, отрицанием всякой религии, которая не будет более иметь никакого основания к существованию, раз ее стремления будут осуществлены?

Излагая свои мысли насчет происхождения религии, мы постараемся быть как можно более краткими и умеренно-отвлеченными.

Не углубляясь в философские размышления о природе Сущего, мы считаем возможным признать за аксиому следующее положение: *Все, что существует, все Существа, составляющие бесконечный мир Вселенной все существовавшие в мире предметы, какова бы ни была их природа в отношении качества или количества, большие, средние или бесконечно малые, близкие или бесконечно далекие — взаимно оказывают друг на друга, помимо желаний и даже сознания, непосредственным или косвенным путем, действие и противодействие. Эти то непрестанная действия и противодействия, комбинируясь в единое движение, составляют то, что мы называем всеобщей солидар-*

ностью, жизнью и причинностью. Называйте, если это вам нравится, эту солидарность Богом или Абсолютом; нам все равно, лишь бы вы не придавали этому Богу другого значения, кроме того, которое мы только что установили: значение всемирной, естественной, необходимой, но отнюдь не predeterminedенной, не предвиденной комбинации бесконечного множества частных действий и противодействий. Эту всегда движущуюся и действительную солидарность, эту всемирную жизнь мы можем разумно — предполагать, но никогда не можем охватить даже нашим воображением, и еще менее познать. Ибо мы можем познавать лишь то, что доступно нашим чувствам, а эти последние охватывают лишь бесконечно малую часть Вселенной. Само собой разумеется, мы понимаем эту солидарность, не как нечто абсолютное, как первопричину, но, наоборот, как *производное*,¹⁾ вытекающее из одновременного действия всех частных причин, которое и составляет именно всемирную причинность. Определив ее таким образом, мы можем теперь сказать, не боясь какой бы то ни было двусмысленности, что всемирная жизнь творит миры. Это она определила геологическое, климатологическое и географическое строение нашей земли, и покрыв ее поверхность всеми великолепиями органической жизни, продолжает *творить* еще человеческий мир: общество со всеми формами его прошедшего, настоящего и будущего развития.

Теперь ясно, что в творении, понятом в этом смысле, нет места ни предвзятым планам, ни предустановленным, предусмотренным законам. В действительном мире все факты, произведенные стечением бесчисленных влияний и условий, появляются прежде,—потом уже является вместе с мыслящим человеком сознание этих фактов и более или менее подробное и совершенное знание, *каким образом* они произошли. Когда мы замечаем, что в каком-нибудь ряде фактов часто или почти всегда повторяется один и тот же ход процесса, то мы называем это *законом* природы.

Под словом *природа* мы подразумеваем не какую-либо мистическую и пантеистическую идею, а просто сумму всего существующего, всех явлений жизни и процессов, их творящих. Очевидно, что в природе, определенной таким образом, одни и те же законы всегда воспроизводятся в известных родах фактов. Это происходит без сомнения, благодаря стечению тех же условий и влияний, и, может быть, также, благодаря раз на всегда установившимся тенденциям непрестанно текучего творения,—тенденциям, которые в силу частого повторения, сделалась постоянными. Только благодаря этому постоянству в ходе естественных процессов, человеческий ум мог констатировать и познать то, что мы называем механическими, физическими, химическими и физиологическими законами; только благодаря ему

¹⁾ Как и всякий человеческий индивид есть ничто иное, как производное, результат всех причин, вызвавших его появление на свет, комбинированных со всеми условиями его дальнейшего развития.

объяснимо почти постоянное повторение животных и растительных родов, пород и разновидностей производимых до сих пор органической жизнью на земле. Это постоянство и эта повторяемость выдерживаются, однако, не вполне. Они всегда оставляют широкое место для так называемых—и не вполне точно называемых—аномалий и исключений. Название это очень неправильно, ибо факты, к которым оно относится, показывают лишь, что эти общие правила, принятые нами за естественные законы, являются не более, как абстракциями, извлеченными нашим умом из действительного развития вещей, и не в состоянии охватить, исчерпать, объяснить все беспредельное богатство этого развития. Кроме того, как это превосходно доказал Дарвин, эти, так называемые аномалии, посредством частого сочетания между собой и тем самым дальнейшего укрепления своего типа, создают, так сказать, новые пути творения, новые образы воспроизведения и существования, и являются именно путем, посредством которого органическая жизнь рождает новые разновидности и породы. Таким образом, органическая жизнь начав с едва организованной клеточки и проведя ее через все видоизменения, вначале растительной, а потом животной организации, сделала из нее человека.

Остается ли человек последним и самым совершенным органическим созданием на земле? Кто может поклясться, что через несколько десятков или сотен веков от самой высшей разновидности человеческой породы не произойдет порода существ, вышших чем человек, которые будут относиться к человеку, как он относится к горилле? Во всяком случае пусть наше тщеславие успокоится. Природа действует очень медленно, а в настоящем состоянии человечества ничто не указывает, что бы оно могло породить из себя высшую породу существ. Впрочем разве природа не продолжает свой непрерывный труд непрестанного творения в историческое развитие человеческого рода? Не ее вина, если мы в нашем уме отделили мир человеческого общества от того, что мы исключительно называем естественным миром.

Причина этого разделения лежит в самой природе нашего разума; который естественным образом отличает человека от животных всех других пород. Мы должны, однако, признать, что человек не единственное земное животное, одаренное умом. Напротив того, сравнительная психология доказывает, что не существует животного, которое было бы совершенно лишено ума и что чем ближе какая-либо порода по своей организации и в особенности по строению своего мозга к человеку, тем более развит и значителен ее ум. Но только в человеке ум достигает такой степени развития, при которой его можно назвать мыслительной способностью, при которой он может комбинировать представления как внешних, так и внутренних объектов, данных нам чувствами, создавать из них группы, затем сравнивать и заново комбинировать эти различные группы, которые уже не являются реальными существами, объектами наших чувств, но лишь поня-

тиями, созданными первым действием способности, называемой рассудком, сохраненными нашей памятью, и последующее комбинирование при помощи этой самой способности образует то, что мы называем идеями. Затем, из всего этого человеческий ум выводит следствия или логически необходимые применения. Увы, мы часто встречаем людей, не достигших еще всецелого обладания этой способностью, но мы никогда не видели и даже не слышали, чтобы какое-нибудь животное низшей породы обладало этой способностью, разве что нам приведут в пример Валаамову ослицу или некоторых других животных, в которые верить и уважать которых убеждает нас религия. Итак, мы можем сказать, не боясь быть опровергнутыми, что из всех животных, существующих на земле, один человек мыслит.

Он один одарен способностью абстракции, укрепленной и развитой в человеческой породе, конечно, вековым упражнением. Способность эта, постепенно внутренне возвышая человека над всеми окружающими предметами, над всем, так называемым, внешним миром, и даже над ним самим, как индивидом, позволяет ему понять, создать идею всеобщности Существ, идею Вселенной, Бесконечного, или Абсолюта,—идею вполне абстрактную и, если хотите, лишенную всякого содержания, и тем не менее, являющуюся всемогущей и служащей причиной всех дальнейших завоеваний человека, ибо она одна отрывает человека от пресловутого блаженства и тупоумной невинности животного рая, и ведет его к триумфам и бесконечным волнениям беспредельного развития.

Благодаря этой способности абстракции, человек возвышается над непосредственным давлением, производимым всеми внешними предметами на каждого индивида, и таким образом может сравнивать одни предметы с другими и исследовать их взаимоотношения. Вот начало *анализа и экспериментальной науки*.. Благодаря этой способности, человек раздвояется в самом себе, возвышается над своими собственными побуждениями, инстинктами и различными аппетитами, поскольку они преходящи и частны, и это дает ему возможность сравнивать их между собою, подобно тому, как он сравнивает внешние предметы и движения, и становится на сторону одних против других, сообразуясь с создававшимся в нем (социальным) идеалом. Вот уже пробуждение *сознания* и того, что мы называем *волей*.

Обладает ли человек, в самом деле, свободной волей? Да и нет, в зависимости от того как понимать это выражение. Если под свободной волей подразумевается *liberum arbitrium*, т. е. предполагаемая способность человеческого индивида свободно самоопределяться, независимо от всякого внешнего влияния; если, подобно тому, как это делали все религии и все метафизики, претендуют через эту свободу воли поставить человека вне всемирной причинности, определяющей существование всех вещей и делающей их зависимыми друг от друга, то мы отбрасываем эту свободу как нелепость, ибо ничто не может существовать вне всемирной причинности.

Непрестанное действие и противодействие всего на всякую отдельную точку и всякой отдельной точки на все составляют, как мы сказали, жизнь, высший, творческий закон и всеединство миров, которое всегда в одно и то же время и производит и само является продуктом. Вечно деятельная, вечно всемогущая эта всемирная солидарность, эта взаимная причинность, которую мы будем называть, с этих пор, просто *природой*, создала, как мы сказали, среди бесчисленного множества других миров, нашу землю, со всей лестницей существ от минерала до человека. Она постоянно воспроизводит их, развивает, кормит, сохраняет: потом, когда наступает их срок, и часто даже раньше, чем он наступил, она их уничтожает или, лучше сказать, преобразует в новые существа. Итак, она, это всемогущество, по отношению к которому не может быть никакой независимости или автономии. Она, это высшее существо, обнимающее и проникающее своим непреодолимым действием все бытие существ, и между живыми существами нет ни одного, который бы не носил в себе, понятно в более или менее развитом состоянии, чувство или ощущение этого всевышнего влияния и абсолютной зависимости,— Вот это ощущение, это чувство и составляют основание всякой религии.

Религия, как видите, подобно всему человеческому, имеет свой первый источник в животной жизни. Невозможно сказать про какое бы то ни было животное, кроме человека, что оно имеет религию; ибо самая грубая религия предполагает всетаки известную степень мыслительной способности, до какой не возвышается ни одно животное, кроме человека. Но невозможно также отрицать, что в существовании всех без исключения животных заключаются все, так сказать, материальные, составные элементы религии, за исключением, конечно, ее идеальной стороны, той именно, которая рано или поздно ее уничтожит, — мысли. В самом деле, какова действительная сущность всякой религии? Это именно чувство абсолютной зависимости преходящего индивида от вечной и всемогущей природы.

Нам трудно наблюдать это чувство и анализировать все его проявления в животных низших пород. Однако, мы можем сказать, что инстинкт самосохранения, наблюдаемый в сравнительно самых простых организмах, конечно в меньшей степени, чем в высших организмах; является ничем иным, как своего рода обычной мудростью образующейся в каждом индивидуе под влиянием того чувства, которое, как мы сказали, является ничем иным, как религиозным чувством. В животных, одаренных более полной организацией и более близких к человеку, это чувство проявляется более чувствительным образом, например, в инстинктивном и паническом страхе охватывающем их иногда при приближении какой нибудь великой, естественной катастрофы, каковы землетрясение, лесной пожар, сильная буря. Вообще, можно сказать, что страх является одним из преобладающих чувств в животной жизни. Все животные, живущие на свободе, дики, и это доказывает, что они живут в непрестанном, инстинктивном страхе, что они

всегда чувствуют опасность, т. е. всемогущее влияние, которое их преследует, проникает и охватывает всегда и всюду. Этот страх, страх Бога, как сказали бы теологи, есть начало мудрости, т. е. религии. Но у животных он не становится религией, ибо им недостает той мощи мышления, которая удерживает чувство, определяет его объект и перерабатывает его в сознание, в мысль. — Итак, совершенно справедливо утверждают, что человек по природе религиозен; он религиозен подобно всем другим животным, — но он один на этой земле имеет сознание своей религиозности.

Говорят, что религия, это первое пробуждение разума: справедливо, но в форме неразумия. Религия, как мы только что видели, начинается со страха. И в самом деле, человек, пробуждаясь с первыми лучами того внутреннего солнца, которое мы называем самосознанием, и медленно, шаг за шагом, выходя из магнетического полусна, в котором находился, ведя свое чисто инстинктивное существование, когда он находился в состоянии полной невинности, т. е. в животном состоянии, — будучи к тому же рожденным, подобно всякому животному, в страхе перед внешним миром, который, правда, его производит и кормит, но который в то же время его утесняет, давит и грозит каждую минуту поглотить, — человек необходимо должен был иметь первым объектом своего зарождающегося мышления именно этот страх.

Можно предполагать, что у первобытного человека, при первом пробуждении его разума этот инстинктивный страх должен был быть сильнее, чем у животных других пород. Во первых, потому, что он рождается гораздо менее вооруженным, чем другие животные, и что его детство продолжается гораздо дольше. И затем потому, что эта самая мыслительная способность, едва расцветшая и еще не достигшая достаточной степени зрелости и силы, чтобы познавать и утилизировать внешние предметы, должна была тем не менее нарушить полное единение человека с природой, инстинктивную гармонию, в какой он находился с ней, как двоюродный брат гориллы, покада не проснулась в нем мысль.

Итак, способность мыслить изолировала его от остальной природы, которая, становясь для него таким образом чуждой, должна была ему казаться сквозь призму его воображения, ставшего менее узким и более живым, благодаря этой самой начинающейся мысли, в виде темной, таинственной силы бесконечно более враждебной и угрожающей, чем она есть в действительности.

Для нас чрезвычайно трудно, если не невозможно, отдать себе точный отчет в первых религиозных чувствах и воображениях дикого человека. Они, без сомнения, должны были быть столь же разнообразны, сколь разнообразны были характеры первобытных народностей, а также сколь разнообразны были климаты, природа местностей и все другие внешние обстоятельства, в среде которых эти чувства развивались. Но так как при всем этом, это все же были человеческие чувства и воображения, то они несмотря

на это великое разнообразие в подробностях, должны были обладать известным числом тождественных, общих для всех их черт, которые мы и пытаемся определить. Каково бы не было происхождение различных человеческих групп и их деление на расы на земном шаре, имели ли все люди родоначальником одного Адама — гориллу, или двоюродного брата гориллы, или же они произошли от нескольких, созданных природой в различных местах и в различные времена, независимо друг от друга,—это не меняет дела. Свойства которые собственно создают и составляют человечность в людях, а именно мышление, способность к абстракции, разум, мысль, одним словом, способность создавать идеи остаются, также точно, как и законы, определяющие проявление этих свойств, во все времена и во всех тождественных местностях, всегда и везде те же самые,—так что никакое человеческое развитие не может противоречить этим законам. Это дает нам право предположить, что важнейшие фазисы, наблюдаемые в первобытном развитии религиозного чувства одного какого нибудь народа, должны были повториться в развитии этого чувства у всех других народов земли.

Судя по единогласным отзывам путешественников, как тех, которые, начиная с прошлого столетия посетили острова Океании, так и тех, которые в наши дни проникли во внутрь Африки, — *Фетишизм* должен быть самой первой религией, религией всех диких племен, которые всего менее удалились от естественного состояния. Но Фетишизм является ничем иным, как *религией страха*. Он является первым человеческим выражением того ощущения абсолютной зависимости, смешанной с инстинктивным ужасом, которое мы находим в всяком животном и которое, как мы уже сказали, заключается в религиозном отношении индивидов даже самых низших пород к всемогуществу природы. Кто не знает, какое влияние и впечатление производят на всех живых существ, не исключая даже растений, великие регулярные явления природы, каковы восход и заход солнца, лунный свет, повторение времен года, чередование холода и тепла, особенные проявления жизни океана, гор, пустыни, или же естественные катастрофы, каковы бури, затмения, землетрясения, а также столь разнообразные отношения различных животных пород между собой и к растениям и их взаимное истребление. Все это составляет для каждого животного совокупность условий существования, характер, природу и, у нас почти является желание сказать, особенный культ, ибо у всех животных, у всех живых существ, вы найдете своего рода обожание природы, смешанное со страхом и радостью, надеждами и беспокойством, и которое, как чувство, очень похоже на человеческую религию. Здесь нет недостатка даже в молитвах. Посмотрите на прирученную собаку, умоляющую своего господина о ласке или взгляде; разве это не образ человека, стоящего на коленях перед своим Богом? Не переносит ли эта собака при помощи своего воображения и даже начатков мыслительной способности, которую опыт развил в ней, не переносит ли она давящее ее всемогущество природы на своего

хозяина, подобно тому, как верующий человек переносит его на Бога? В чем же различие между религиозным чувством человека и собаки? Даже не в размышлении, а лишь в степени размышления, или даже в способности фиксировать это размышление, понять его как абстрактную мысль и обобщить, назвав ее — ибо человеческая речь имеет ту особенность, что она не способна обозначить действительные предметы, непосредственно действующие на наши чувства, а может лишь выражать понятия абстрактные или обобщения. А так как речь и мысль являются двумя различными, но нераздельными формами одного и того же акта человеческого мышления, то это последнее, фиксируя предмет животного страха и обожания или первого естественного человеческого культа, его обобщает, перерабатывает его в нечто абстрактное и стремится обозначить каким нибудь именем. Предметом действительного обожания того или другого индивида всегда остается *этот* камень, *этот*, а не другой кусок дерева; но с мгновения, как он был назван словом, он становится предметом абстрактным или понятием: *камнем*, вообще, *куском дерева*, — Таким образом, с первым пробуждением мысли, проявляемой в речи, начинается собственно человеческий мир, мир отвлечений.

Благодаря этой способности к отвлечению, сказали мы, человек рожденный, созданный природой, творит для себя, среди этой самой природы и даже в ее условиях, второе существование, согласное с его идеалом и совершенствующееся вместе с ним.

Всё живущее, прибавим мы для лучшего пояснения нашей мысли, стремится к самому полному развитию. Человек, существо живое и вместе мыслящее, должен для своего полного осуществления вначале познать самого себя. Вот причина громадного опоздания, наблюдаемого нами в его развитии и благодаря которой, чтобы достигнуть современного состояния общества в самых цивилизованных странах, — состояния столь мало еще приближающегося к идеалу, к которому мы ныне стремимся, — человеку потребовалось употребить несколько сотен веков... Хочется сказать, что человек в поисках самого себя, во всех своих физиологических и исторических блужданиях должен был исчерпать всевозможные глупости, всевозможные несчастья, прежде чем он был в состоянии осуществить то малое количество разума и справедливости, что царят ныне в мире.

Последним пределом, высшей целью всего человеческого развития, является *свобода*. Ж. Ж. Руссо и его ученики ошибались, ища ее в начале истории, когда человек, еще совершенно лишенный самосознания и, следовательно, incapable заключать какой бы то ни было договор, подчинялся той фатальности естественной жизни, которой подчиняются все животные, и от которой человек мог, в известном смысле освободиться лишь благодаря последовательному пользованию разумом. Человеческий разум, развиваясь, правда, с большой медлительностью, впродолжении истории, мало по малу познавал законы, управляющие внешним

миром, а также законы, присущие нашей собственной природе, так сказать, присвоивал их себе, перерабатывая их в идеи — почти произвольное создание нашего собственного мозга — и делал то, что, *не переставая подчиняться этим законам человек подчинялся теперь лишь собственным мыслям.* По отношению природы, это является для человека единственным достоинством и единственно возможной свободой. Никогда не будет другой свободы, ибо естественные законы неизменны, фатальны; они составляют саму основу всякого существования и нашего собственного бытия, так что никто не может возмутиться против них, не впадая в нелепость, не убивая наверняка самого себя. Но познавая их и присвоивая их умом, человек возвышается над непосредственным давлением внешнего мира, и становясь в свою очередь творцом, повинуюсь с этих пор лишь собственным идеям, он более или менее перерабатывает этот мир сообразно своим возрастающим потребностям, и налагает на него как бы отражение своей человечности.

Таким образом, то, что мы называем *человеческим* миром, не имеет другого непосредственного творца кроме человека, который создает его, отвоевывая шаг за шагом от внешнего мира и от своей собственной животности свою свободу и человеческое достоинство. Он завоевывает их, движимый силой, независимой от него, непреоборимой и равно присущей всем живым существам. Эта сила—это всемирный поток жизни, тот самый, который мы называем всемирной причинностью, природой, и который проявляется во всех живых существам, растениях или животных, стремлением каждого индивида осуществить для себя условия, необходимые для жизни своей породы, т. е. удовлетворить своим потребностям. Это стремление, существенное и главное проявление жизни, составляет основу того, что мы называем *волей*. Фатальная и непреоборимая во всех животных, не исключая самого цивилизованного человека, инстинктивная, можно почти сказать, механическая в низших организмах, более сознательная в высших породах, она достигает полного самосознания лишь и человеке, который, благодаря своему разуму — возвышающему его над всеми его инстинктивными побуждениями и позволяющему ему сравнивать, критиковать и упорядочивать свои собственные побуждения — один среди всех животных земного шара обладает сознательным самоопределением, *свободной волей*.

Само собой разумеется, эта свобода человеческой воли не имеет по отношению ко всемирному потоку жизни, по отношению к этой абсолютной причинности, в которой каждая отдельная воля является как бы ручьем, другого значения, кроме того, которое ей дает ее сознательность, противопоставляя ее механическому действию или даже инстинкту. Человек понимает и сознает естественные потребности, которые, отражаясь в его мозгу, вновь возникают в нем посредством физиологического процесса, еще мало известного, как логическое следствие его собственных мыслей. Это понимание дает ему, среди его абсолютной и непрестанной зависимости, ощущение

самоопределения, сознательной, произвольной воли и свободы. — Не прибегая к полному или частичному самоубийству, ни один человек не сможет освободиться от своих естественных влечений, но он может их регулировать и видоизменять, стараясь все более согласовать их с тем, что он называет в различные эпохи своего интеллектуального и морального развития, справедливым и прекрасным.

В сущности, главные черты самого утонченного человеческого существования и самого непробудного животного существования суть и всегда останутся те же самые; рождаться, развиваться и расти, работать, чтобы есть и пить, чтобы иметь кров, и защищаться, поддерживать свое индивидуальное существование в равновесии с социальной жизнью своей породы, любить, воспроизводиться, затем умирать... К этим элементам для человека только присоединяется еще новый: мышление, познание, — способность и потребность, встречающиеся, правда в меньшей, но уже очень чувствительной степени, в породах животных, наиболее близких по организации к человеку, ибо, как кажется, в природе не существует абсолютных качественных различий, и все различия сводятся в последнем анализе к различию в количестве, — но которые только в человеке достигают такой повелительной и преобладающей силы, что мало по малу переделывают всю жизнь. Как прекрасно заметил один из величайших мыслителей наших дней, Людвиг Фейербах: человек делает все, что делают животные, но только он делает это, все более и более *человечно*. В этом все различие, но оно громадно¹⁾. Оно заключает в себе всю цивилизацию, со всеми чудесами промышленности, науки и искусств; со всеми развитиями человечества: религиозным, эстетическим, философским, политическим, экономическим и социальным — одним словом, всю всемирную историю. Человек создает этот исторический мир посредством действенной силы, которую вы найдете во всех живых существах и которая составляет самую сущность всей органической жизни, и стремится ассимилировать себе и переработать, согласно потребностям каждого, внешний мир. Сила эта, конечно, инстинктивна и фатальна, ибо она предшествует всякой

¹⁾ Никогда не будет лишним повторять это многим приверженцам современного натурализма или материализма, которые — в виду того, что человек в наши дни открыл свою полную и всецелую родственную связь со всеми другими породами животных и свое непосредственное и прямое происхождение из земли и в виду того, что он отказался от нелепых и пустых претензий спиритуализма, который, под предлогом дарования ему абсолютной свободы, приговаривал его к вечному рабству, — воображают, что это дает им право отбросить всякое уважение к человеку. Этих людей можно сравнить с лакеями, которые, открыв плебейское происхождение человека, заставившего себя уважать своими личными достоинствами, считают себя вправе относиться к нему как к равному, по той простой причине, что они не понимают другого благородства, кроме того, которое производит в их глазах аристократическое происхождение. Другие столь счастливы, открыв родственную связь человека с гориллой, что хотели бы всегда сохранить его в животном состоянии и отказываются понять, что все историческое назначение, все достоинство и свобода человека заключаются в том, чтобы удалиться от этого состояния.

мысли, но, при свете человеческого разума и определенная сознательной волей, она перерабатывается в человеке и для человека в *сознательный свободный труд*.

Единственно благодаря мысли, человек достигает сознания своей свободы в породившей его естественной среде; но только посредством *труда* он эту свободу осуществляет. Мы сказали, что деятельность, составляющая труд, т. е. *медленная работа трансформирования поверхности нашей планеты физической силой каждого живого существа, согласно с потребностями каждого*, встречается, более или менее развитой, на всех ступенях органической жизни. Но она начинает быть *собственно человеческим трудом* только тогда, когда, направленная человеческим разумом и сознательной волей, она перестает служить одним лишь недвижимым и фатально ограниченным потребностям исключительно животной жизни, но начинает еще служить потребностям *мыслящего существа, которое завоевывает свою человечность, утверждая и осуществляя в мире свою свободу*.

Осуществление этой безмерной, бесконечной задачи не является только делом интеллектуального и морального развития, но также делом материального освобождения. Человек становится, в самом деле, человеком, он завоевывает возможность своего развития и внутреннего совершенствования лишь при условии, что он до некоторой степени, до крайней мере, разорвал рабские цепи, налагаемые природой на своих детей. Цепи эти — голод, всякого рода лишения, физическая боль, влияние климатов, времен года и вообще тысячи условий животной жизни, удерживающих человеческое существо в почти абсолютной зависимости от окружающей его среды. Эти цепи — это постоянные опасности, которые, в виде естественные явлений, со всех сторон угрожают и давят человека, это непрестанный страх, который лежит в глубине всякого животного существования, и который до того подавляет человека в естественном состоянии дикаря, что он ничего в себе не находит, что могло бы противустоять этому страху, чем бы можно было бороться с ним... одним словом, не отсутствует ни один элемент самого полного рабства. Первый шаг человека по пути к освобождению от этого рабства состоит,....как мы уже сказали, в акте абстрактного мышления, которое, внутренне возвышая человека над окружающими предметами, позволяет ему исследовать их взаимоотношения и законы. Но вторым шагом является непременно материальный акт, определенный волей и, направленный более или менее глубоким знанием внешнего мира: это применение мускульной силы человека к пересозданию этого мира, согласно своим прогрессирующим потребностям. Эта борьба человека, сознательного труженника, против матери—природы, не является бунтом против нее или ее законов. Человек пользуется приобретенными им познаниями этих законов лишь с целью укрепить себя и обезопасить от грубых нападений и случайных катастроф, а также от периодических,

правильных явлений физического мира. Только самое внимательное исследование и изучение законов природы делает его способным покорить ее в свою очередь, заставить ее служить своим целям и иметь возможность видоизменять поверхность земного шара, во все более и более благоприятную среду для развития человечества.

Как видите, способность к отвлечению, источник всех наших знаний и идей, является также единственной причиной всякого человеческого освобождения. Но первое пробуждение этой способности, являющейся ничем иным, как разумом, не производит немедленно свободу. Когда она начинает действовать в человеке, медленно освобождаясь от пелены животных инстинктов, она вначале проявляется не в виде логического мышления, имеющего сознание и познание о своей собственной деятельности, но в виде *мышления вообразительного*, или неразумного рассуждения. Как таковая, она освобождает человека, от естественного рабства, тяготеющего над ним с колыбели, лишь ценой немедленного подчинения его новому рабству — рабству религии.

Именно вообразительное мышление человека перерабатывает естественный культ, элементы и следы которого мы нашли у всех животных, в культ человеческий, в его элементарной форме — в форме фетишизма. Мы указали на животных, инстинктивно обожающих великие явления природы, действительно оказывающие непосредственное и могущественное влияние на их существование, но мы никогда не слышали о животных, обожающих безобидный кусок дерева, клубок тряпки, кость или камень. Между тем, мы находим этот культ в первобытной религии дикарей и даже в католицизме. Как объяснить эту, повидимому, столь странную аномалию, представляющую нам, с точки зрения здравого смысла и понимания действительных вещей, человека стоящим гораздо ниже, чем самые скромные животные?

Эта нелепость является продуктом вообразительного мышления дикого человека. Он не только чувствует, подобно другим животным, всемогущество природы, он делает его предметом своих непрерывных размышлений, он его закрепляет и обобщает, давая ему какое нибудь наименование, он делает из него центр, вокруг которого группируются все его детские фантазии. Еще неспособный охватить своей бедной мыслью вселенную, и даже земной шар, и даже то весьма ограниченное пространство, в котором он родился и живет, он повсюду ищет, где же именно местопребывание этого всемогущества, ощущение которого, теперь уже основанное и закрепленное, его тяготит. И игрою своей невежественной фантазии, которую нам было бы очень трудно в настоящее время понять, он переносит это всемогущество на этот кусок дерева, этот сверток тряпок, этот камень... это чистый фетишизм, самая религиозная, т. е. самая нелепая из всех религий.

Вслед за фетишизмом и часто в одно время с ним, идет *культ*

колдунов. Это культ, если не более разумный, то во всяком случае более естественный, и который удивляет нас меньше чистого фетишизма, ибо мы к нему привыкли. Мы ведь еще сегодня окружены колдунами, каковы спириты, медиумы, ясновидящие со своими магнетизерами, и даже священники римско-католической, а также восточно-греческой церкви, которые утверждают, что они имеют власть заставить Бога, с помощью каких-то таинственных формул, сойти на воду или же воплотиться в хлеб и вино.

Не являются ли все эти *поработители* божества, покоряющегося их заклинаниям, настоящими колдунами? Правда, их божество, продукт более чем тысячелетнего развития, гораздо более сложно, чем божество первобытного колдовства, единственным предметом которого является уже закрепленное, но еще неопределенное представление всемогущества, без какого-либо другого интеллектуального или морального атрибута. Различие добра и зла, справедливого и несправедливого, здесь еще неизвестно. Неизвестно, что такое божество любит и что оно ненавидит, что оно хочет и чего не хочет; оно ни добро, ни зло, — оно всемогуще и больше ни-чего. Однако, характер божества уже начинает обрисовываться; оно эгоистично и тщеславно, оно любит лезть, коленопреклонение, унижение и заклятие людей, их обожание и жертвоприношения, — и оно преследует и жестоко наказывает тех, которые не хотят покоряться ему: бунтующих, горделивых, нечестивых. Как известно, это основная черта божественной натуры во всех древних и современных богах, созданных человеческим неразумием. Существовало ли когда-нибудь в мире столь завистливое, тщеславное, эгоистическое, кровавое существо как Егова евреев или Бог-отец христиан?

В культе первобытного колдовства, божество или это неопределимое всемогущество, является вначале нераздельной с личностью колдуна; он сам Бог, подобно Фетишу. Но с течением времени, роль сверхестественного человека, человека-Бога, становится невозможной для реального человека и в особенности для дикаря, который еще не имеет никаких средств укрыться от нескромного любопытства верующих и остается с утра до вечера открытым для наблюдений. Здравый смысл, практически ум, продолжающие развиваться в диком народе наряду с его религиозным воображением, в конце концов показывает ему невозможность, чтобы человек, доступный всем человеческим слабостям и немощам, был Богом. — Колдун остается для народа сверхестественным существом, но только в некоторые минуты, когда он одержим духом. Но каким духом?

Духом всемогущества, Богом... Итак, божество находится в обыкновенное время, вне колдуна. — Где его искать? — Фетиш, Бог-вещь уже не удовлетворяет, колдун, человек-Бог, также. — Все эти видоизменения могли в первобытную эпоху длиться века. — Дикарь, уже сильно подвинувшийся вперед, развившийся, обогатившийся опытом и традициями мно-

гих веков, ищет теперь уже божество вдали от себя, но все еще среди реально существующих предметов: в солнце, в луне, в звездах. — Религиозная мысль начинает уже обнимать вселенную.

Как мы сказали, человек мог достигнуть этого лишь после длинного ряда веков. Его способности к абстракции, его разум, развились, укрепились, изошрились в практическом познании окружающих его предметов и в исследовании их отношений и взаимной причинности. Периодическое возвращение известных явлений природы дало ему первое понятие о некоторых естественных законах. Человек начинает интересоваться совокупностью явлений и их причинами; он ищет их объяснения. В то же время он начинает познавать самого себя, и благодаря той же способности к абстракции, которая позволяет ему внутренне подниматься мыслью над самим собой и делать себя объектом размышления, он начинает отделять свое материальное и живое существо от своего мыслящего существа, свою внешность от своего внутреннего существа, свое тело от своей души. — Но раз это различие сделано им и закреплено в его мысли, то он естественно, необходимо переносит его в своего Бога и начинает искать невидимую душу этого видимого мира. — Таким образом, должен был родиться религиозный пантеизм индусов.

Мы должны остановиться на этом пункте, ибо именно здесь начинается собственно религия в полном смысле этого слова, и вместе с ней настоящая теология и метафизика. До сих пор религиозное воображение человека, одержимое непрестанным представлением всемогущества, двигалось естественным путем, ища причину и источник этого всемогущества путем экспериментального исследования, вначале в самых близких предметах, в фетишах, потом в колдунах, еще позже в звездах; но всегда приписывая всемогущество какому-нибудь действительному и видимому, хотя бы и отдаленному предмету. Теперь он предполагает существование духовного внемирного невидимого Бога. С другой стороны, до сих пор его боги были ограниченными, определенными существами, среди множества других небожественных существ, не одаренных всемогуществом, но не менее реально существующих. Теперь он первый раз полагает всемирное божество: Существо Существ, сущность и творец всех ограниченных и обособленных Существ, всемирная душа всей вселенной, Великое Все. Начинается настоящий Бог и вместе с ним настоящая религия.

Мы должны теперь исследовать, каким путем человек достиг этого результата, дабы познать по самому его историческому происхождению истинную природу Божества.

Весь вопрос сводится к следующему: каким образом зарождается в человеке представление о мире и идея его единства? Начнем с констатирования, что представление о вселенной для животного не может существовать, ибо это не есть предмет, непосредственно воспринимаемый

чувствами, подобно всем реальным предметам, большим и малым, далеким или близким, — это понятие абстрактное, и которое, следовательно, может существовать лишь для способности отвлекательной, — т. е. для одного лишь человека. Рассмотрим же, каким образом это представление образуется в человеке. Человек видит себя окруженным внешними предметами; он сам, поскольку он живое тело, является таким предметом для своей собственной мысли. Все эти предметы, которые он постепенно и медленно начинается распознавать, находятся между собой в правильных взаимоотношениях, которые он также более или менее уясняет себе; и тем не менее, несмотря на эти взаимные отношения, сближающие их, но не соединяющие, не сливающие их в одно целое, предметы эти остаются вне друг друга.

Итак, внешний мир представляется человеку лишь бесконечным разнообразием предметов, действий и отдельных отношений без малейшей видимости единства, — это бесконечные нагромождения, но не единое целое. Откуда является единство? Оно заложено в уме человека. Человеческий ум одарен способностью к абстракции, которая позволяет ему, после того, как он медленно и по отдельности исследовал, один за другим, множество предметов, охватить их в мгновение ока в едином представлении, соединить их в одной и той же мысли. — Таким образом, именно мысль человека создает единство и переносит его в многообразии внешнего мира.

Отсюда вытекает, что это единство является вещью не конкретной и реальной, но абстрактной, созданной единственно способностью человека абстрактно мыслить. Мы говорим абстрактно мыслить, ибо для того, чтобы объединить столько различных предметов в единое представление, наша мысль должна отвлечься от всего, что составляет различие между этими предметами, и удержать лишь то, что они имеют общего; отсюда вытекает, что чем более предметов об'емлет мыслимое нами единство, чем более оно возвышается, чем более разрастается то общее, что заключается в нем, что его определяет, составляет его содержание, — тем более абстрактным и лишенным реальности оно становится. Жизнь со всеми своими переходящими избытками и великолепиями находится внизу, в разнообразии, — смерть со своей вечной и несравненной монотонностью находится вверху, в единстве. — Поднимитесь, в силу той же способности к абстракции, выше и выше, уйдите за пределы земного мира, охватите в одной мысли солнечный мир, представьте себе это высшее единство; что же вам останется для его заполнения? — Дикарь был бы очень затруднен в ответе на этот вопрос! Но мы ответим за него: останется материя с тем, что мы называем силой абстракции, движущаяся материя со своими различными проявлениями, каковы свет, теплота, электричество и магнетизм, которые, как это теперь доказано, суть различные проявления одной и той же вещи. — Но если в силу той же способности к отвлечению, не имеющей пре-

делов, вы поднимаетесь выше нашей солнечной системы и объедините в своей мысли не только эти миллионы солнц, видимые нами на небосклоне в виде светящихся точек, но еще бесконечное множество других солнечных систем, которые мы не видим и никогда не увидим, но существование которых мы предполагаем, ибо наша мысль по той самой причине, что она не знает пределов своей способности к абстракции, отказывается верить, чтобы вселенная, т. е. совокупность всех существующих миров могла иметь предел или конец, — потом отвлекшись все тою же мыслью, от отдельных существований каждого из существующих миров, если вы попытаетесь представить себе единство этого бесконечного мира — что вам останется, для его определения и заполнения? Одно слово, одна абстракция: *неопределенное Существо*, т. е. неподвижность, пустота, абсолютное небытие — Бог.

Итак, Бог—это абсолютная абстракция, это собственный продукт человеческой мысли, которая, как сила абстракции, поднялась над всеми известными существами, всеми существующими мирами, и освободившись тем самым от всякого реального содержания; сделавшись уже ничем иным, как абсолютным миром, не узнавая себя в этой величественной обнаженности, становится перед самой собой—как *единственное и высшее Существо*.

Нам могут возразить, что мы сами утверждали, на предыдущих страницах, *реальное единство вселенной* и определили его, как всемирную связность и причинность, как единственное всемогущество, управляющее всеми вещами и ощущаемое более или менее всеми живыми существами, а теперь как будто бы отрицаем его. Но нет, мы его вовсе не отрицаем; мы лишь утверждаем, что между этим реальным всемирным единством и идеальным единством, к которому приходит путем абстракции религиозная и философская метафизика, нет ничего общего. Мы определили первое, как бесконечную сумму предметов или лучше, как сумму непрестанных видоизменений всех реальных существ, также как их постоянных действий и противодействий, которые, комбинируясь в одно движение, образуют, как мы сказали, так называемую всемирную солидарность или причинность. Мы прибавили, что мы понимаем эту солидарность не как первичную и абсолютную причину, но напротив того, как *производную*, как результат, постоянно повторяющийся, одновременного действия всех частных причин — действия, которое и составляет собственно *всемирную причинность*—вечно творящую и творимую. Определив ее таким образом, мы сочли возможным сказать, не боясь более никакого недоразумения, что эта всемирная причинность творит миры. И хотя мы очень настойчиво прибавляли, что она это делает без какой-либо предшествующей мысли или воли, без какого-либо плана, без какой-либо преднамеренности или предопределенности со своей стороны—ибо она сама не имеет никакого отдельного и предшествующего существования вне своей непрестанной

реализации и является ничем иным, как абсолютной производной—тем не менее мы теперь видим, что это выражение—*творит*, не является ни счастливым, ни точным и что, несмотря на все прибавленные объяснения, оно может еще дать повод к недоразумениям,—до того мы привыкли связывать с этим словом *творение* мысль о сознательном творце, о творце, отдельном от своего произведения.—Мы должны были бы сказать, что каждый мир, каждое существо бессознательно, непроизвольно происходит, рождается, развивается, живет, умирает и переходит в новое существо под влиянием всемогущей, абсолютной всемирной солидарности,—и, чтобы выразить нашу мысль еще более точно, мы прибавим теперь, что *реальное единство вселенной является ничем иным, как абсолютной связностью и бесконечностью ее реальных трансформаций, ибо непрестанная трансформация каждого отдельного существа составляет единственную, подлинную реальность каждого, так как вселенная ничто иное, как история без грани, без начала и без конца.*

Подробности этой истории бесконечны. Человеку всегда придется ограничиваться только познанием ее бесконечно малой части. Наше звездное небо со своим множеством солнц, образует лишь незаметную точку в неизмеримости пространства, и хотя мы обнимаем его взглядом, мы никогда о нем почти ничего не узнаем. Мы принуждены ограничиваться некоторым познанием нашей солнечной системы, относительно которой мы предполагаем, что она в совершенной гармонии с остальными частями вселенной; ибо если бы не было этой гармонии, то или она должна бы была установиться, или же наша солнечная система погибла бы. Эту последнюю мы знаем уже очень недурно, с точки зрения небесной механики, и начинаем знакомиться с ней также, с точек зрения физической, химической и даже геологической. Наша наука с трудом перейдет этот предел. Если мы ищем более конкретных познаний, мы должны придерживаться нашего земного шара. Мы знаем, что он создан во времени, и мы предполагаем, что через некоторое, неизвестное нам число веков он должен погибнуть,—как рождается и погибает или лучше трансформируется все, что существует.

Каким образом наш земной шар, бывший вначале раскаленной, газобразной, несравненно более легкой чем воздух, материей,—охладился, образовался, чрез какой нескончаемый ряд геологических переворотов должен он был пройти, прежде, чем был в состоянии произвести на своей поверхности все это бесконечное богатство органической жизни, начиная с первой и самой простой клеточки и кончая человеком? Как он видоизменялся, и продолжает ли он свое развитие в историческом и социальном мире человека? Куда мы направляемся, толкаемые верховным фатальным законом непрестанного видоизменения?

Вот единственно доступные нам вопросы; единственные, вопросы, которые могут и должны быть действительно охвачены, детально разработаны

и разрешены человеком. Являясь, как мы уже сказали, лишь незаметной точкой в безграничном и неопределимом вопросе вселенной, эти вопросы являются тем не менее нашему уму истинно бесконечный мир—не в божественном, т. е. абстрактном смысле этого слова, не в смысле верховного существа,—создания религиозной абстракции; напротив того, бесконечный по богатству своих подробностей, которых никогда не будут в состоянии исчерпать никакое наблюдение и никакая наука.

И для того, чтобы познать *этот* мир, *наш* бесконечный мир, недостаточно одной абстракции. Она бы снова привела нас к Богу, к Верховному Существу, к небытию. Необходимо, не переставая применять нашу способность к абстракции, без которой мы бы никогда не смогли возвыситься от более простого рода вещей к более сложному роду и, следовательно, никогда не смогли бы понять естественную иерархию существ,—необходимо, говорим мы, чтобы ум с уважением и любовью занимался тщательным изучением деталей и бесконечно малых подробностей, без которых нам невозможно представить себе живую реальность существ. Итак, только соединяя эти две способности, эти две, на вид столь противоположные тенденции: абстракцию и внимательный, добросовестный, терпеливый анализ, можем мы возвыситься до реального понятия *о нашем не внешне, но по существу бесконечном мире* и составить себе до некоторой степени достаточное представление *о нашей* вселенной—о нашем земном шаре или, если хотите, о нашей солнечной системе. Теперь, очевидно, что если наше чувство и наше воображение и могут дать нам образ, представление по необходимости более или менее ложное об этом мире, если они и могут даже, посредством своего рода интуитивной догадки, дать нам почувствовать тень, отдаленное подобие истины, то чистую и всецелую истину может нам дать только наука.

В чем же причина этой властной любознательности, толкающей человека к познанию окружающего его мира, к преследованию с неутомимой страстью открытия тайн этой природы, последним и самым совершенным созданием которой на нашей земле, он сам является? Является ли эта любознательность простой роскошью; приятным времяпрепровождением или же одной из существенных необходимостей нашей природы? Мы, колеблясь, утверждаем, что из всех потребностей, присущих природе человека, это наиболее человеческая, и что он действительно становится человеком, что он действительно отличается от животных всех других пород, лишь благодаря этой неутомимой жажде знания. Дабы проявить себя во всей полноте своего существа, человек должен, как мы сказали, себя познать, а он никогда себя действительно не познает, пока он не познает окружающую его природу, продуктом которой он сам является.—Если человек не хочет отказаться от своей человечности, он должен *знать*, он должен проникнуть мыслью в видимый мир, и, не предаваясь надежде постичь когда-нибудь его сущность, углубляться все более и более в изучение его

законов, ибо наша человечность приобретает лишь этой ценой. Человеку нужно познать все низшие, предшествовавшие и современные ему области, все механические, физические, химические, геологические и органические эволюции на всех ступенях развития растительной и животной жизни,— т. е. все причины и условия его собственного рождения и его существования, дабы он мог понять свою собственную природу и свое назначение на земле—его отечестве и единственном местожительстве,—дабы в этом мире слепой фатальности он мог основать царство свободы.

Такова задача человека: она неисчерпаема, она бесконечна и совершенно достаточна для удовлетворения самых честолюбивых умов и сердец. Мимолетное и неприметное существо среди безбрежного океана всемирной видоизменяемости, с неведомой вечностью позади него и такой же неведомой вечностью впереди, человек мыслящий, деятельный, сознающий свое человеческое назначение остается гордым и спокойным в сознании своей свободы, которую он сам завоевывает, просвещая, подкрепляя, освобождая и в случае нужды бунтуя окружающий его мир. Вот его утешение, его награда, его единственный рай. Если вы его спросите после этого, каково его внутреннее убеждение и последнее слово относительно реального единства вселенной, то он вам скажет, что оно заключается в *вечной и всемирной видоизменяемости* в безграничном движении без начала и без конца.— А это абсолютная противоположность всякому учению о Провидении,—отрицание Бога.

Во всех религиях, делящих между собой мир и обладающих, более или менее, развитой теологией—за исключением, впрочем, Буддизма, странной и совершенно непонятая несколькими сотнями миллионов последователей доктрина которого устанавливает религию без Бога, во всех системах метафизики Бог является сам, как верховное существо, предвечно существовавшее и все предопределившее, все в себе содержащее, являющееся само—мыслью и действенной волей, началом всего существующего и предшествовавшее всему существующему, являющееся источником и вечной причиной всякого творения и пребывающее неподвижным и вечно равным самому себе во всемирном движении сотворенных миров. Как мы видели, этот Бог не находится в действительном мире, по крайней мере, в той его части, которая доступна человеку. Будучи не в состоянии найти его вне самого себя, человек должен был найти его в себе самом. Каким образом он его искал?—Отвлекаясь от всех живых, реальных вещей, от всех видимых известных миров.—Но мы видели, что в конце этого бесплодного путешествия, абстракция находит единственный предмет,—себя самую но уже без всякого содержания и лишенную всякого движения,—как образ неподвижности и пустоты. Мы бы сказали: полнейшее небытие. Но религиозная фантазия называет это Высшим Существом—Богом.

Впрочем, как мы уже заметили, она наведена на это примером того различия или даже противоположения, которые, уже в значительной мере

развитое мышление начинает делать между внешней оболочкой человека—телом и его внутренним миром, заключающим в себе его мысль и волю—словом, человеческую душу. Не подозревая, что это последняя является ничем иным, как продуктом и последним, вечно возобновляемым и воспроизводимым выражением человеческого организма; видя, напротив, что в повседневной жизни тело кажется всегда повинующимся внушениям мысли и воли; предполагая, следовательно, что душа есть, если не творец, то, по крайней мере, всегдашний господин тела, для которого не остается, другого назначения, как служить ей и проявлять ее, — религиозный человек,—с момента, как он благодаря своей способности к абстракции дошел описанным нами образом, до идеи всемирного и всевышнего существа, которое, как мы доказали, является ничем иным, как абстракцией,—естественно принимает его за душу всей вселенной—за Бога.

Таким образом, появился первый раз в истории настоящий Бог—всемирное, вечное, неизменное существо, созданное игрою религиозного воображения и абстрактным мышлением человека. Но с того момента, как Бог был таким образом познан и утвержден, человек, забывая или скорее даже не зная об умственной деятельности своего мозга, которая и была единственным творцом Бога, и не узнавая себя более в своем собственном творении: *всемирной абстракции*, начал его обожать. Роли тотчас же переменялись: сотворенный стал предполагаемым творцом, а настоящий творец, человек, занял место между множеством других несчастных тварей, в качестве бедной твари, еле-еле привилегированной по сравнению с остальными.

Раз Бог был признан, то дальнейшее прогрессивное развитие различных теологий естественно объясняется, как отражение исторического развития человечества. Ибо, раз идея сверхъестественного и всевышнего существа завладела воображением человека и установилась в нем как религиозное убеждение, до того, что реальность этого существа кажется ему более несомненной, чем реальность действительных вещей, которые он видит и осязает руками,—то естественно, эта идея должна сделаться главным основанием всего человеческого существования, что она видоизменяет его, проникает и властвует над ним исключительным и абсолютным образом. Верховное существо тотчас же представляется, как абсолютный господин, как мысль, воля, источник, как творец и управитель всех вещей. Ничто не может более соперничать с ним, и все должно исчезнуть в его присутствии, так как истина лишь в нем одном и каждое отдельное существо, сколь бы ни было оно могущественно, и даже сам человек, могут с этих пор существовать лишь с божьего соизволения. Все это, впрочем, совершенно логично, ибо в противном случае Бог не был бы всевышним, всемогущим, абсолютным существом, т. е. его совсем бы не было.

С этих пор, как естественное следствие, человек приписывает Богу все качества, все силы, все добродетели, которые он постепенно открывает

в себе или в окружающей среде. Мы видели, что Бог, полагаемый, как верховное существо, и являющийся в действительности ничем иным, как лишь абсолютной абстракцией,—совершенно лишен всякого содержания и атрибутов, гол и пуст, как само небытие. И как таковой, он наполняется и обогащается всеми реальностями существующего мира, и являясь лишь абстракцией его, представляется Господом и Владыкой религиозной фантазии человека. Отсюда вытекает, что Бог это абсолютный грабитель, и что, так как антропоморфизм составляет самую сущность всякой религии, небо, местопребывание бессмертных Богов, является ничем иным, как неверным зеркалом, которое отсылает верующему человеку его собственное изображение в обратном и увеличенном виде.

Ибо действие религии заключается не только в том, что она отнимает у земли естественные богатства и силы, а у человека его способности и добродетели по мере того, как он открывает их в своем историческом развитии, чтобы тотчас же перенести их на небо и превратить в божества или божественные атрибуты. Сделав это превращение, религия еще коренным образом изменяет характер этих сил и качеств, она их извращает, портит, давая им направление, диаметрально противоположное их первоначальному направлению.

Таким образом, человеческий разум, единственный орган, которым мы обладаем для познания истины, становясь божественным разумом, делается для нас совершенно непонятным и внедряется в сознание верующих, как откровение нелепого. Таким образом, уважение к небу переходит в презрение к земле, а обожание божества в унижение человечества. Человеческая любовь, эта громадная естественная солидарность, которая связывающая всех индивидов, все народы, и делая счастье и свободу каждого зависящими от свободы и счастья всех других, несмотря на различия цвета кожи и рас, должна соединить рано или поздно всех людей во всеобщем братстве,—эта любовь, сделавшись божественной любовью и религиозным милосердием, тотчас же становится бичем человечества: вся кровь, пролитая во имя религии, с начала истории, все эти миллионы человеческих жертв, закланные ради большей славы Богов, свидетельствуют об этом... Наконец сама справедливость, эта будущая мать равенства, раз только она перенесена религиозной фантазией в небесные области и переделана в божественную справедливость, тотчас же возвращается на землю уже под теологической формой благодати, и становясь всегда и везде на сторону самых сильных, сеет среди людей лишь насилия, привилегии, монополии и все чудовищные неравенства, освященные историческим правом.

Мы не претендуем отрицать историческую необходимость религии, мы не утверждаем, что она была абсолютным злом в истории. Если она зло, то она была и, к несчастью и поныне, остается для громадного большинства невежественного человечества злом неизбежным, подобно всяким вообще ошибкам и уклонениям в сторону, неизбежным в развитии всякой челове-

ческой способности. Религия, как мы сказали, это первое пробуждение человеческого разума в форме божественной неразумности, это первый проблеск человеческой истины сквозь божественные покровы лжи: это первое проявление человеческой морали, справедливости и права сквозь исторические несправедливости божественной благодати; наконец, это школа свободы под унижительным и тягостным игом божества, игом, которое, в конце концов необходимо надо будет свергнуть, чтобы на самом деле завоевать разумный разум, настоящую истину, полную справедливость и действительную свободу.

В религии, человек животное, выйдя из звериного состояния, делает первый шаг к человечности; но откуда он останется религиозным, он никогда не достигнет своей цели, ибо всякая религия присуждает его к нелепости, и, ведя его по ложному пути, заставляет искать божественное вместо человеческого. В религии народы, едва освободившись от естественного рабства, в котором остаются животные других пород, тотчас же впадают в новое рабство, в рабство к сильным людям и кастам, привилегированным, благодаря божественному избранию.

Один из главных атрибутов, бессмертных Богов, это, как известно, быть законодателями человеческого общества, основателями Государства. Человек, по уверению почти всех религий, был бы неспособен распознать, что хорошо и что дурно, что справедливо и что несправедливо, если бы он был предоставленным собственным силам. Итак, необходимо было, чтобы само божество, тем или другим способом, спустилось на землю, чтобы просветить человека и основать в человеческом обществе политический и социальный порядок. Отсюда вытекает следующее торжествующее заключение: все законы и все преобладающие власти освящены небом и им должно всегда и во что бы то ни стало оказывать слепое повиновение.

Это очень удобно для правителей и очень неудобно для управляемых. А так как мы принадлежим к последним, то все наши интересы требуют ближайшего рассмотрения основательности этого утверждения, которое всех нас обратило в рабов. Мы должны найти средство освободиться от его ига.

Вопрос теперь для нас чрезвычайно упростился. Бог, не существующий или являющийся ничем иным, как продуктом нашей способности к абстракции, соединенной с религиозным чувством, доставшимся нам по наследству от животных; Бог, являющийся лишь всемирным абстрактумом, лишенным всякого движения и самостоятельного действия,—это абсолютное Небытие, представляемое в виде всевышнего существа и награжденное жизнью одной лишь религиозной фантазией, абсолютно лишенное всякого содержания и обогащающееся всеми реальностями земли; возвращающее

человеку в извращенном, испорченном виде то, что оно раньше у него отняло. Бог не может быть ни добр, ни зол, ни справедлив, ни несправедлив. Он не может ничего желать, ничего устанавливать, ибо, в сущности, он ничто, и становится всем лишь благодаря религиозному легковерию. Поэтому, если это последнее нашло в нем идеи справедливости и добра, то только потому, что раньше само вложило их в него, не подозревая этого; думая, что получает, оно само вкладывало. Но, чтобы вложить эти идеи в Бога, человек должен был их иметь! Где он их нашел? Конечно, в себе самом. Но все, что он имеет, он поручил сперва в своем животном состоянии,—ибо его дух ничто иное, как выявление, слово его животной природы. Итак, идеи справедливости и добра должны иметь, подобно всем другим человеческим вещам, корень в самой животности человека.

И в самом деле, элементы того, что мы называем *моралью*, находятся уже в животном мире. Во всех породах животных, без малейшего исключения, и лишь с громадной разницей в отношении развитости, мы встречаем два противоположных инстинкта; инстинкт сохранения индивида и инстинкт сохранения породы, или, говоря человеческим языком, *эгоистический инстинкт и инстинкт социальный*. С точки зрения науки, как и с точки зрения самой природы, эти два инстинкта равно естественны и следовательно законны, и что всего важнее, равно необходимы в естественной экономии существ. Индивидуальный инстинкт является основным условием сохранения породы; ибо если бы индивиды не защищались всеми силами против всех лишений, всех внешних опасностей, непременно угрожающих их существованию, то не могла бы существовать и сама порода, которая живет лишь в индивидах и через индивидов. Но если бы мы захотели судить об этих двух стремлениях, стоя лишь на точки зрения исключительного интереса породы, то мы сказали бы, что социальный инстинкт хорош, а индивидуальный, поскольку он ему противоположен, дурен. У муравьев, у пчел добродетель преобладает над пороком, ибо у них социальный инстинкт, как кажется, совершенно подавляет индивидуальный инстинкт. Совершенно противоположное видим мы у диких зверей, и мы не ошибемся, если скажем, что в животном мире, вообще, преобладает эгоизм. Напротив того, инстинкт породы пробуждается лишь на короткий срок и длится лишь столько времени, сколько необходимо для воспроизведения и воспитания семьи.

Иначе обстоит дело с человеком. Повидимому, и это одно из доказательств великого превосходства человека над всеми другими породами животных,—оба противоположные инстинкта, эгоизм и общественность в человеке и гораздо могущественнее и гораздо нераздельнее друг от друга, чем во всех животных низших пород. Человек в своем эгоизме свирепее самых кровожадных зверей, и в то же время он более обществен, чем пчелы и муравьи.

Проявление в каком-либо животном большей силы эгоизма, т. е. большей индивидуальности, является несомненным доказательством сравнительно большого совершенства его организма и знаком более развитой сознательности. Каждая порода животных подчинена, как таковая, специальному естественному закону, т. е. развивается и сохраняется особыми, только ей свойственными путями, которые отличают ее от всех прочих животных пород. Закон этот не имеет реального существования, помимо живых индивидов, принадлежащих к управляемой им породе; вся реальность этого закона в этих индивидах, но он абсолютно управляет ими и они являются его рабами. В самых низших породах этот закон проявляется скорей как процесс растительной, чем животной жизни; он почти совершенно чужд им, являясь почти внешним законом, которому индивиды, если только к ним можно применить это название, повинуются, так сказать, механически. Но чем более усложняются породы, приближаясь прогрессивно все более к человеку, тем более индивидуализируется управляющий ими специальный, родовой закон, тем более он осуществляется и проявляется в каждом индивиде, который тем самым приобретает более определенный характер, более обособленную физиономию, так что, продолжая повиноваться этому закону также фатально, как и другие, индивид раз этот закон проявляется в нем больше под видом его собственного стремления, под видом скорей внутренней, чем внешней необходимости,—несмотря на то, что эта внутренняя необходимость всегда является в нем продуктом множества внешних причин, *о чем он не подозревает*,—чувствует себя более свободным, более автономным, более самостоятельным, чем индивиды низших пород. Он начинает ощущать *свою свободу*.

Мы можем, стало быть, сказать, что сама природа в своих прогрессивных видоизменениях стремится к освобождению, и что уже большая индивидуальная свобода внутри природы является несомненным знаком превосходства. Существом, сравнительно, *самым индивидуальным и самым свободным*, с точки зрения животного царства, является бесспорно человек.

Мы сказали, что человек это самое индивидуальное из земных существ,—но он является и самым *социальным* из всех существ. Большой ошибкой со стороны Ж. Ж. Руссо было предположение, что первобытное общество было основано посредством свободного договора, заключенного дикарями, между собой. Но не один Руссо это утверждает. Большинство современных юристов и публицистов, из школы Банта, или из всякой другой индивидуалистической и либеральной школы, не признающие ни общества, основанного на божественном праве теологов, ни общества, определяемого гегелианской школой, как более или менее мистическую реализацию объективной морали, ни первобытно-животного общества натуралистов, берут *volens volens* и за неимением другого основания,—за свою исходную точку *молчаливый договор*. Молчаливый договор! Т. е. контракт без слов и,

следовательно, без мысли, без воли,—возмутительная нелепость! Бессмысленная фикция и, что хуже, злая фикция. Недостойное надувательство! Ибо оно предполагает, что в то время, когда я еще не был в состоянии ни желать, ни думать, ни говорить только тем, что я давал себя обирать без протеста, я уже дал согласие на вечное рабство как свое, так и всего своего потомства!

Последствия *общественного договора* поистине злополучны, ибо они приводят к абсолютному властвованию Государства. И, однако, взятый за исходную точку, принцип кажется чрезвычайно либеральным. Индивиды, до заключения этого контракта, предполагаются пользующимися всецело свободой, ибо, согласно этой теории, только естественный человек, дикарь, и обладает полной свободой. Мы высказали свое мнение об этой естественной свободе, которая является ничем иным, как абсолютной зависимостью человека—гориллы от постоянного влияния внешнего мира. Но предположим, что человек действительно свободен в исходной точке своей истории; зачем бы тогда, спрашивается, образовываться обществу? Для того, отвечают, чтобы гарантировать индивиду безопасность от возможных вторжений этого самого внешнего мира, включая сюда всех других людей, живущих обществами или нет, но которые не принадлежат к этому новому образующемуся обществу.

Итак, вот каковы эти первобытные люди, совершенно свободные, каждый сам по себе и для себя самого, но которые пользуются этой безграничной свободой лишь покуда не встретятся друг с другом, лишь поскольку остаются погруженными в абсолютное индивидуальное одиночество. Свобода одного не нуждается в свободе другого; напротив того, каждая из этих индивидуальных свобод довольствуется сама собой, существует сама по себе, так что свобода каждого необходимо представляется отрицанием свободы всех других, и все свободы, встречаясь одна с другой, должны взаимно ограничивать друг друга и уменьшать, должны противоречить одна другой и взаимно уничтожать друг друга...

Дабы не уничтожить друг друга совершенно, они заключают между собой явный или молчаливый *договор*, посредством которого они отдают часть самих себя, чтобы обеспечить остальное. Этот договор становится основанием общества или лучше сказать Государства; ибо надо заметить, что в этой теории нет места для общества, в ней существует только Государство, или лучше сказать общество в ней совершенно поглощено Государством.

Общество, это естественный образ существования человеческого коллектива, независимо от всякого договора. Оно управляется правами и традиционными обычаями, но не законами. Оно медленно прогрессирует, движимое импульсами индивидуальной инициативы, а не мыслью и волей законодателя. Существует много законов, управляющих обществом без его ведома, но это законы естественные, присущие социальному телу, как физи-

ческие законы присущи материальным телам. Большая часть этих законов до сих пор не открыта, а между тем они управляли человеческим обществом с его рождения, независимо от мысли и воли составлявших его людей. Отсюда вытекает, что их не надо сравнивать с законами политическими и юридическими, которые, провозглашенные какой-нибудь законодательной властью в разбираемой нами теории, признаются логическими выводами первого договора, сознательно заключенного людьми.

Государство не является непосредственным продуктом природы; оно не предшествует, как общество, пробуждению мысли в человеке, и мы пытаемся в дальнейшем показать, каким образом *религиозное сознание создает его в естественном обществе*. По мнению либеральных публицистов, первое Государство было создано свободной и сознательной волей людей; по мнению абсолютистов, оно является созданием божества. В обоих случаях оно главенствует над обществом и стремится его совершенно поглотить.

Во втором случае это поглощение понятно само собой: божественное учреждение необходимо должно пожрать всякую естественную организацию. Любопытнее всего то, что индивидуалистическая школа со своим свободным договором приходит к тому же результату. И в самом деле, эта школа начинает с отрицания самого существования естественного общества, предшествовавшего заключению договора—ибо подобное общество предполагает между индивидами естественные отношения и, следовательно, *взаимное ограничение их свобод*, что противоречило бы абсолютной свободе, которою каждый, согласно этой теории, пользуется до заключения договора, и что было бы ни более ни менее, как этот самый договор, существующий как естественный факт и даже предшествующий свободному договору. Согласно этой теории, стало быть, человеческое общество начинается лишь с заключения договора. Но тогда что такое это общество? Это чистое, логическое осуществление договора со всеми его предначертаниями и законодательными и практическими следствиями,—это Государство.

Рассмотрим его поближе. Что оно из себя представляет? Сумму отрицаний индивидуальных свобод всех его членов; или же сумму жертв, приносимых всеми его членами, отказывающимися от доли своих свобод в пользу общего блага. Мы видели, что согласно индивидуалистической теории, свобода каждого составляет границу или естественное отрицание свободы всех других. Так вот это абсолютное ограничение, это отрицание свободы каждого во имя свободы всех или общего права,—это и есть Государство. Стало быть, там, где начинается Государство, кончается индивидуальная свобода и наоборот.

Мне ответят, что Государство, представитель общественного блага или всеобщего интереса, отнимает у каждого часть его свободы, лишь для того, чтобы обеспечить ему остальное. Но это остальное, это, если хотите, безопасность, но никак не свобода. Свобода неделима: нельзя урезать

ее, не убивая целого. Та малая часть, которую вы урезываете, составляет самую сущность моей свободы, она все. В силу естественного, необходимого и непреборимого влечения, вся моя свобода концентрируется именно в той части, которую вы урезаете, сколь бы ни была мала эта часть. Это история жены Синей Бороды, которая имела в своем распоряжении целый дворец с полной и всецелой свободой проникать всюду, видеть и трогать все, за исключением маленькой комнатки, которую всевластная воля ее ужасного мужа запретила ей открывать под страхом смерти. И вот, отвернувшись от всех великолепий дворца, все ее внимание сосредоточилось на этой плохой, маленькой комнатке: она открыла ее и была права, открывая ее, ибо это был необходимый акт ее свободы, между тем, как запрещение входить туда было вопиющим нарушением этой самой свободы. Это также история грехопадения Адама и Евы: запрещение вкушать плод от дерева познания добра в зла на том только основании, что такова была воля Господа, являлись со стороны Бога актом ужасного деспотизма, и если бы наши прародители послушались, весь человеческий род остался бы погруженным в самое унижительное рабство. Напротив, их непослушание нас освободило и спасло. Это было, говоря мифически, первым актом человеческой свободы.

Но, скажут мне, Государство, демократическое Государство, основанное на свободном всеобщем избирательном праве всех граждан, не может быть отрицанием их свободы. А почему же нет? Это будет вполне, зависеть от назначения и власти, какие граждане предоставят Государству. Республиканское Государство, основанное на всеобщем избирательном праве, может быть очень деспотичным, более даже деспотичным, чем монархическое Государство, если под тем предлогом, что оно является представителем всеобщей воли, оно будет давить волю и свободное движение каждого из своих членов всею тяжестью своего коллективного могущества.

Но Государство, скажут еще, ограничивает свободу своих членов лишь постольку, поскольку эта свобода направлена к несправедливости, ко злу. Оно мешает им убивать друг друга, грабить друг друга и оскорблять друг друга и вообще делать зло, но оно, наоборот, предоставляет им полную ж всецелую свободу делать добро. Это опять все та же история Синей Бороды или запретного плода: что такое зло, что такое добро?

С точки зрения разбираемой нами системы, до заключения договора не существовало различия между добром и злом, тогда каждый индивид одиноко пользовался своей свободой и своим абсолютным правом и не оказывал никакого внимания к свободе других, за исключением тех случаев, когда этого требовала его слабость или относительная сила,—другими словами, его благоразумие и личный интерес¹⁾). Тогда, согласно все той же

¹⁾ Подобные отношения, которые, впрочем, никогда не могли существовать между первобытными людьми, ибо социальная жизнь предшествовала пробуждению индивидуаль-

теории, эгоизм был верховным законом, единственным правом: добро определялось успехом, зло—одной только неудачей, и справедливость была ничем иным, как признанием совершившегося факта, как бы он ни был ужасен, жесток и отвратителен,—совсем, как в политической морали, преобладающей в настоящее время в Европе.

Различие между добром и злом, начинается, согласно этой системе, лишь по заключении общественного договора. Тогда все, что было признано составляющим общее благо, было провозглашено добром, а все, что было противно этому благу,—злом. Договаривающиеся члены, сделавшись гражданами, связав себя более или менее торжественным обещанием, тем самым наложили на себя обязанность подчинять свои частные интересы общему благу, неразделенному интересу всех, и свои личные права отделили от общественного права, единственный представитель которого, Государство, было тем самым облечено властью подавлять всякий бунт индивидуального эгоизма, но с обязанностью защищать неприкосновенность прав каждого из своих членов, пока эти права не вступают в противоречие с правом общим.

Теперь мы рассмотрим, что должно из себя представлять таким образом устроенное Государство, как в его отношениях к другим, подобным ему, Государствам, так и в его отношениях к управляемому им населению. Это исследование представляется нам тем более интересным и и полезным, что Государство, как оно определяется в этой теории, есть именно современное Государство, поскольку оно отбросило религиозную идею; это *светское или атеистическое Государство*, провозглашенное современными публицистами. Посмотрим же, в чем состоит его мораль? — Это, как мы сказали, современное Государство, освободившееся из под ига церкви, и, следовательно, отбросившее всемирную или космополитическую мораль христианской религии, и, прибавим мы, еще не дошедшее до гуманитарной идеи, не проникшееся гуманитарной моралью, что, впрочем, ему невозможно сделать, не уничтожая себя, ибо в своем обособленном существовании и обособленной концентрации, государство является слишком узким, чтобы быть в состоянии охватить, вместить интересы всего человечества и, следовательно, и всечеловеческую мораль.

Современные Государства достигли именно вышеописанного состояния. Христианство служит им лишь предлогом и фразой, или средством обманывания

ного сознания и сознательной воли людей и потому что вне общества ни один человеческий индивид никогда не мог пользоваться ни абсолютной, ни даже относительной свободой,—подобные отношения, совершенно тождественны с теми, которые существуют в настоящее время между современными Государствами, каждое из которых считает себя облеченным абсолютной свободой, властью и правом, исключающими свободу всех других Государств. Поэтому, оно оказывает всем другим Государствам лишь то внимание, которого требует его собственный интерес,—что и производит между всеми государствами постоянную скрытую или открытую войну.

вать простецов, ибо они преследуют цели, не имеющие никакого отношения к религиозным идеям. И великие государственные люди наших дней: Пальмерстоны, Муравьевы, Кавуры, Бисмарки, Наполеоны очень бы посмеялись, если бы ктонибудь принял в серьез их религиозные убеждения. Они бы посмеялись еще более, если бы им приписали гуманитарные чувства, намерения и стремления, которые они не пропускают случая публично обозвать глупостью. Что же им остается для образования морали? Единственно, государственный интерес. С этой точки зрения, которая, впрочем, за очень малыми исключениями, была точкой зрения государственных людей, *сильных людей* всех времен и всех стран, все что служит к сохранению, возвеличению и укреплению государства, как бы это ни было святотатственно с религиозной точки зрения, как бы это ни казалось возмутительным с точки зрения человеческой морали, — является *добром*, и, наоборот, все что противоречит государственному интересу, хотя бы в других отношениях это было самой святой и самой человечески-справедливой вещью, — является *злом*. Такова в своей неподдельности мораль и вековая практика всех Государств.

Такова же мораль Государства, основанного на теории общественного договора. Согласно этой системе, добро и справедливость начинают существовать лишь с заключения договора и являются ничем иным, как содержанием и целью договора т. е. *общим благом* и *общественным правом* всех заключивших его индивидов, — *Исключаются все не принимавшие участия в заключении договора*. Следовательно, под добром в этой системе понимается лишь *наибольшее удовлетворение коллективного эгоизма частной и ограниченной ассоциации*, которая, будучи основана на частичном пожертвовании индивидуальным эгоизмом с стороны каждого из ее членов, выключает из своей среды, как иностранцев и естественных врагов, огромное большинство человеческого рода, входящее или не входящее в подобные же ассоциации.

Существование одного какогонибудь ограниченного Государства предполагает и, в случае нужды, вызывает образование нескольких других Государств, ибо, естественно, индивиды, находящиеся вне его и угрожаемые с его стороны в своем существовании и свободе, соединяются, в свою очередь, против него. И вот человечество разбивается на бесконечное число Государств, чуждых, враждебных и угрожающих друг другу. Между ними нет общественного договора, нет общего права, ибо в противном случае они бы перестали быть абсолютно независимыми друг от друга Государствами и сделались бы составными частями одного великого Государства. Но если только это великое Государство не охватит все человечество, оно будет иметь против себя другие великие, внутренне федеративные Государства, которые необходимо будут относиться к нему с тою же враждебностью, и война останется верховным законом и внутренней необходимостью в жизни человечества.

Каждое государство, федеративно или нет его внутреннее устройство, должно стремиться, под страхом гибели, сделаться самым могущественным. Оно должно пожирать, дабы не быть пожранным, завоевывать, чтобы не быть завоеванными, порабощать, чтобы не быть порабощенным, ибо две равные, но в то же время противоположные силы не могут существовать, не уничтожая друг друга.

Государство, — это самое вопиющее, самое циничское и самое полное отрицание человечества. Оно разрывает всемирную солидарность всех людей на земле, и соединяет часть их лишь с целью уничтожения, завоевания и порабощения всех остальных. Оно берет под свое покровительство лишь своих собственных граждан, признает человеческое право, человечность и цивилизацию лишь внутри своих собственных границ; не признавая вне себя самого никакого права, оно логически присваивает себе право самой свирепой бесчеловечности по отношению ко всем чужим народностям, которых оно может по своему произволу громить, уничтожать или порабощать. Если оно и выказывает по отношению к ним великодушие и человечность, то никак не из чувства долга; ибо оно имеет обязанности, во первых, лишь по отношению к самому себе; и, во вторых, к тем из своих членов, которые его свободно основали, которые продолжают его свободно составлять, или же, как это всегда в конце концов случается, сделались его подданными. Так как международное право не существует, *так как оно никак не может существовать серьезным и действительным образом, не подрывая в самом основании принцип абсолютной верховности Государств,* то Государство не может иметь никаких обязанностей по отношению к чужим народностям. Если оно, стало быть, гуманно обращается с покоренным народом, если оно лишь на половину его обирает и уничтожает, если оно не низводит его до последней степени рабства, то оно поступает так из политики, может быть, из осторожности или по чистому великодушию, но никогда не по долгу, — ибо оно имеет абсолютное право располагать покоренными народами по своему произволу.

Это вопиющее отрицание человечности, составляющее сущность Государства, является с точки зрения последнего высшим долгом и самой большой добродетелью: оно называется *патриотизмом* и составляет *наивысшую мораль* Государства. Мы называем ее наивысшею трансцендентной моралью, потому что она обыкновенно превосходит уровень человеческой, частной или общественной морали и справедливости, и тем самым чаще всего становится в противоречие с ними. Так например, оскорблять, угнетать, грабить, считается с точки зрения обыкновенной человеческой морали, преступлением. Наоборот, в общественной жизни и с точки зрения патриотизма, когда это делается для большей славы Государства, для сохранения или расширения его могущества, все это становится долгом и добродетелью. И эта добродетель, этот долг обязательны для каждого гражда-

вина-патриота; каждый считается обязанным их исполнять не только против иностранцев, но даже против своих собственных соотечественников, подобных ему членов и подданных Государства, всякий раз, как того требует благо Государства.

Это объясняет, нам почему с самого начала истории, т. е. с зарождения Государств, политический мир всегда был и продолжает быть ареной высшего мошенничества и несравненного разбоя, — разбоя и мошенничества, впрочем, высоко ценимых, ибо они предписаны патриотизмом, высшею моралью и верховным интересом государства. Это объясняет нам, почему вся история древних и современных государств является лишь рядом возмутительных преступлений; почему короли и министры в прошедшем и настоящем, во все времена и во всех странах, государственные люди, дипломаты, бюрократы и военные, являются, если их судить с точки зрения простой морали и человеческой справедливости, достойными сто раз, тысячу раз виселицы или каторги; ибо не существует ужаса, жестокости, святотатства, клятвопреступления, обмана, низкой сделки, цинического воровства, бесстыдного грабежа и грязной измены, которые бы не совершались, которые бы не продолжали ежегодно совершаться представителями государств, без всякого другого извинения, кроме эластичного, столь удобного и вместе с тем столь страшного слова: *государственный интерес*.

Истинно ужасное слово! Оно развратило и обесчестило больше людей в официальных сферах и правящих классах общества, чем само Христианство. Как только это слово произнесено, все замолкает, все исчезает; добросовестность, честь, справедливость, право, само сострадание и вместе с ними исчезает логика и здравый смысл; черное становится белым, а белое черным, отвратительное — человеческим, а самые подлые обманы, самые ужасные преступления становятся достойными поступками.

Великий итальянский философ и политик, Макиавелли, был первым, произнесшим это слово, или, по крайней мере, первым, придавшим ему его настоящее значение и огромную популярность, которую оно еще и доселе пользуется в правящем мире. Мыслитель, реалист и позитивист в высшей степени Макиавелли первый понял, что крупные и могущественные Государства могут быть основаны и поддерживаемы лишь преступлениями, множеством больших преступлений и самым крайним презрением ко всему, называемому честностью. Он это написал, объяснил и доказал со страшной откровенностью. И так как идея человечества была в то время совершенно неведома; так как идея братства, не человеческого, а религиозного, проповедываемая католической церковью, была в то время, как и всегда, ничем иным, как ужасной иронией, которую Церковь разоблачала каждое мгновение своими же мероприятиями; так как во время Макиавелли никому бы не пришло даже в голову, что существует какое то народное право, — ибо народы всегда рассматривались, как инертная и тупая масса, приговоренная к бесконечному послушанию, как своего рода мясо для государств, как

предмет для стрижки и обирания; так как нигде, ни в Италии, ни вне ее не было решительно ничего, что бы было выше государства, — то Макиавелли заключил с большой логичностью, что Государство есть высшая цель всего человеческого существования, что надо служить ему во что бы то ни стало, и что хороший патриот не должен останавливаться, служа ему, ни перед каким преступлением, ибо интерес Государства перевешивает все остальное. Макиавелли советует преступление, он предписывает его и объявляет, что оно необходимое условие политической мудрости и истинного патриотизма. Называется ли государство монархией или республикой, преступление равно необходимо для его торжества и для его сохранения. Преступление изменит, конечно, свое направление и цель, но характер его останется тот же. Это будет всегда мощное, непрестанное поправление справедливости, сострадания и честности — ради блага Государства.

Да, Макиавелли прав; мы не можем в этом сомневаться после опыта трех с половиной столетий, прибавившегося к его опыту. Да, вся история говорит нам это: тогда как мелкие государства добродетельны лишь благодаря своей слабости, могущественные государства поддерживаются лишь преступлением. Только вывод наш будет совершенно иной, чем вывод Макиавелли и это по очень простой причине: мы дети Революции и мы наследовали от нее Религию человечества, которую мы должны основать на развалинах Религии божества; мы верим в права человека, в достоинство и необходимое освобождение человеческого рода; мы верим в человеческую свободу и в человеческое братство, основанное на человеческой справедливости. — Одним словом, мы верим в победу человечества на земле. Но это торжество; которое мы страстно призываем и которое мы хотим приблизить нашими общими усилиями, являющееся по самой природе своей, отрицанием преступления, которое само ничто иное, как отрицание человечества, может осуществиться лишь когда преступление перестанет быть тем, чем оно является более или менее в настоящее время повсюду: *самым основанием политического существования народов, поглощенных, поработанных государственной идеей.* — И так как теперь уже доказано, что никакое государство не может существовать, не совершая преступлений, или во крайней мере, не мечтая о них, не обдумывая их исполнение, если оно по бессилию и не может выполнять их на деле, — то мы заключаем, *что безусловно необходимо уничтожение Государств* или, если хотите, их полное и коренное переустройство, в том смысле, чтобы они перестали быть централизованными и организованными сверху вниз державами, основанными на насилии или на авторитете какого-нибудь принципа, и реорганизовались бы снизу вверх, с абсолютной свободой для всех частей, входить в союз или нет и с сохранением для каждой части свободы всегда выйти из этого союза, даже если бы она вошла в него по доброй воле; реорганизовались бы согласно действительным интересам и естественным

стремлениям всех частей, через свободную федерацию индивидов и ассоциаций, коммун, областей, провинций и наций в единое человечество.

Таковы выводы, к которым нас необходимо приводит исследование внешних отношений даже так называемого свободного Государства к другим государствам. В дальнейшем мы увидим, что Государство, основывающееся на божественном праве или религиозной санкции, приходит совершенно к тем же результатам. Рассмотрим теперь отношение Государства, основанного на свободном договоре, к своим собственным гражданам или подданным.

Мы видели, что выбрасывая огромное большинство человеческого рода из своей среды, что ставя его вне сферы обязательств и взаимного долга морали, справедливости и права, Государство отрицает человечество и посредством громкого слова: Патриотизм, обязывает своих подданных к несправедливости и жестокости, как к высшему долгу. Оно ограничивает, убивает в них человечность, дабы перестав быть людьми, они сделались только гражданами, или — с точки зрения исторической последовательности фактов справедливей сказать, — чтобы они не поднялись выше гражданина, не достигли до высоты человека. — Мы видели, впрочем, что всякое государство, под страхом гибели и поглощения соседними государствами, должно стремиться к всемогуществу, и, сделавшись могущественным, должно завоевывать другие государства. Кто говорит о завоевании, говорит о завоеванных, угнетенных, обращенных в рабство народах, под какой бы это ни делалась формой или названием. Итак, рабство является необходимым следствием существования Государства.

Рабство может изменить формы и название, но суть его остается неизменной. Эта суть выражается в следующих словах: *быть рабом, значит быть принужденным работать для другого, — также как быть господином, это значит пользоваться работой другого.* В древнем мире, подобно тому, как теперь в Азии, в Африке и даже еще в части Америки, рабы назывались прямо рабами. В средних веках они получили имя крепостных, в настоящее время их называют *наемниками*. Положение этих последних гораздо более достойно и менее тяжело, чем положение рабов, но тем не менее голод, а также политические и социальные учреждения принуждают их выполнять очень тяжелую работу, для того, чтобы дать возможность другим проводить жизнь в полном или относительном бездействии. Следовательно, они рабы. И вообще, ни одно древнее или современное государство никогда не могло обойтись без принудительного труда наемных и поработанных масс, как главного и абсолютно необходимого условия досуга, свободы и культурного развития политического класса — *граждан*. — В этом отношении, даже Соединенные Штаты Северной Америки не составляют исключения.

Таковы внутренние условия жизни государства, необходимо вытекающие из его внешнего положения, т. е. из его естественной, постоянной

и неизбежной враждебности по отношению ко всем другим государствам. Посмотрим теперь, каковы условия, непосредственно вытекающие для граждан из свободного договора, на котором они строят государство.

Назначение государства не ограничивается обеспечением безопасности своих членов против всех внешних нападений, оно должно еще во внутренней жизни защищать их друг от друга и *каждого от самого себя*. Ибо государство, — и это его характерная и основная черта, — всякое государство, как и всякая теология, основывается на предположении, что человек существенно зол и дурен. В государстве, нами теперь рассматриваемом, *добро*, как мы видели, начинается лишь с заключения общественного договора и является, следовательно, лишь следствием этого договора и даже его содержанием. Оно не является порождением свободы. Напротив, покуда люди остаются уединенными в своей абсолютной индивидуальности, пользуясь всей своей естественной свободой, не знающей других границ, кроме границ возможности, а не права, до тех пор они следуют лишь одному закону, — своему естественному эгоизму, они оскорбляют друг друга, взаимно друг друга обкрадывают, обируют, убивают и пожирают, каждый соразмерно своему уму, своей хитрости, своим материальным силам, подобно тому как поступают, как мы это уже видели, в настоящее время, государства. — Следовательно, человеческая природа рождает не *добро*, а *зло*; человек по природе дурен. Каким образом он таким сделался? Объяснить это — дело теологии. Факт тот, что государство, при своем возникновении находит человека уже дурным и берется сделать его хорошим, т. е. пересоздать естественного человека в гражданина.

На это можно возразить, что так как государство является продуктом свободно заключенного людьми договора, а добро является продуктом государства, то, следовательно, оно — продукт свободы! Подобный вывод совершенно неверен. Государство даже по этой теории не является продуктом свободы а, наоборот, жертвы и добровольного отречения от свободы. Люди в естественном состоянии совершенно свободны с точки зрения *права*, но *на деле* они подвержены всем опасностям, которые каждую минуту угрожают их жизни и безопасности. И вот, чтобы обеспечить эту последнюю, они отрекаются от большей или меньшей части своей свободы, и поскольку они пожертвовали ею ради своей безопасности, поскольку они стали гражданами, постольку они сделались *рабами Государства*. Поэтому, мы правы, утверждая, что *с точки зрения Государства добро рождается не из свободы, но, наоборот, из отрицания свободы*.

Замечательная вещь это подобие между теологией — наукой Церкви, и политикой — теорией Государства, эта встреча двух столь различных по внешности родов мыслей и фактов в одном и том же убеждении: *убеждении в необходимости заклания человеческой свободы ради*

насаждения в людях нравственности и пересоздания их, согласно Церкви — в святых, согласно Государству — в добродетельных граждан. — Что касается до нас, мы несколько этому не удивляемся, ибо мы убеждены и постараемся ниже доказать, что политика и теология, родные сестры, имеющие одно происхождение и преследующие одну цель под разными именами; это всякое государство является земной церковью, подобно тому как в свою очередь всякая церковь вместе со своим небом — местопребыванием блаженных и бессмертных Богов, является ничем иным, как небесным Государством.

Государство, стало быть, как и церковь, исходит из того основного предположения, что люди существенно дурны и что предоставленные своей естественной свободе, они бы раздирали друг друга и являли бы зрелище самой ужасной разнузданности, где самые сильные убивали бы или эксплуатировали самых слабых. — Не правда ли, это было бы нечто совершенно противоположное тому, что происходит в настоящее время в наших образцовых государствах? Далее, государство возводит в принцип положение, что для того, чтобы установить общественный порядок, необходима высшая власть; что для того, чтобы руководить людьми и подавлять их дурные страсти, необходим руководитель и узда; но что эта власть должна принадлежать человеку гениальному и добродетельному ¹⁾ законодателю своего народа, как Моисей, Ликург и Солон, — и что тогда этот вождь и эта узда будут воплощать в себе мудрость и карающую мощь государства.

Во имя логики мы бы могли поспорить об уместности законодателя, ибо в рассматриваемой нами теперь системе речь идет не о кодексе законов, налагаемом какой нибудь властью, а о взаимном договоре, свободно заключенном свободными основателями государства. И так как эти основатели, согласно разбираемой системе, были ни более ни менее, как дикарями, которые до тех пор жили в самой полной естественной свободе и, следовательно, должны были не знать различия между добром и злом, то мы могли бы спросить, каким образом они вдруг стали различать их и отделять? Правда, нам могут возразить, что дикари заключили вначале свой взаимный договор с единственной целью обеспечить свою безопасность; поэтому то, что они называли *добром* было ничто иное, как несколько немногочисленных пунктов, внесенных в договор, как например: не убивать друг друга, не грабить имущество друг у друга и взаимно оказывать друг другу помощь при всех нападениях извне. Но впоследствии, законодатель, гениальный и добродетельный человек, родившийся уже в таком образом организованном обществе, и поэтому воспитанный, в некотором роде, в его

¹⁾ Это идеал Мадзини. — См. *Doveri dell'uomo* (Napoli 1860), стр. 83 и А. Рио IX Пара, стр. 27: „Мы признаем святость Власти, освященной гением и добродетелью, этими единственными священнослужителями будущего, и проявляющей великую способность жертвовать: она проповедует добро и добровольно ведет к нему видимым образом“...

духе, мог расширить и углубить условия общественной жизни и таким образом создать первый кодекс нравственности и законов.

Но сейчас же возникает другой вопрос. Предположим, что человек, одаренный необычайными гениальными способностями и рожденный в среде этого еще весьма первобытного общества, был в состоянии, при помощи очень грубого воспитания, которое он получил в этом обществе, и благодаря своему уму, возвыситься до создания кодекса нравственности. Но каким образом мог он добиться, чтобы этот кодекс был принят его народом? Силою одной логики? — Это невозможно. Логика в конце концов всегда торжествует, даже над самыми затверделыми умами; но для этого надо много больше времени, чем срок жизни одного человека, а имея дело с мало развитыми умами потребовалось бы, пожалуй, даже несколько столетий. С помощью силы принуждения? Но тогда это уже будет общество, основанное не на свободном договоре, а на завоевании, на порабощении. Последнее предположение приведет нас прямо к действительным историческим обществам, в которых все вещи объясняются, правда, гораздо более естественно, чем в теориях наших либеральных публицистов, но исследование и изучение которых не только не служат к прославлению государства, о котором так заботятся эти господа, но напротив того, заставляют нас, как мы это позже увидим, желать в возможно скором времени, его полного и коренного уничтожения.

Остается третий способ, посредством которого великий законодатель мог бы заставить своих сограждан принять свой кодекс: а именно божественный авторитет. И в самом деле, мы видим, что величайшие из известных законодателей, от Моисея до Магомета включительно, прибегли к этому средству. Оно очень действительно среди народов, в которых верования и религиозное чувство имеют еще большое влияние, и, конечно, очень могущественно среди дикарей. Но общество, основанное таким путем, не является уже обществом, основанным на свободном договоре. Основанное благодаря непосредственному, воздействию божественной воли, оно необходимо будет государством теократическим, монархическим или аристократическим, но ни в коем случае не демократическим. А так как с богами торговаться нельзя, так как они столь же могущественны, как и деспотичны, то приходится слепо принимать все, что они налагают и подчиняться их воле, во чтобы то ни стало. Отсюда вытекает, что в законодательстве, диктуемом богами, нет места для свободы. Оставим пока предположение, впрочем очень верное, об основании государства путем прямого или косвенного воздействия божественного всемогущества и, пообещав себе рассмотреть его впоследствии, возвратимся теперь к исследованию свободного государства, основанного на свободном договоре. Хотя мы и пришли к убеждению в совершенной невозможности объяснить противоречивый в себе самом факт законодательства, порожденного гением одного человека и единогласно принятого целым народом дикарей доб-

ровольно, так что законодатель не должен был прибегать к грубой силе или к какомунибудь божественному надувательству, но мы соглашаемся допустить это чудо и просим теперь объяснения другого чуда, не менее трудного для понимания, чем первое: предположим, что новый кодекс нравственности и законов провозглашен и единогласно принят, но каким образом осуществляется он на практике, в жизни? Кто наблюдает за его исполнением?

Можно ли предположить, чтобы после этого единогласного принятия, все или, хотя бы, большинство дикарей, составляющих первобытное общество и которые, до того, как новое законодательство было провозглашено были погружены в самую полную анархию, вдруг все сразу, в силу одного провозглашения его и свободного принятия, до такой степени переменялись, что начали по собственному почину и без другой побудительной причины, кроме своих собственных убеждений, добросовестно соблюдать и правильно выполнять все предписания и законы, налагаемые на них неведомой до сих пор для них моралью.

Допущение возможности такого чуда было бы равносильно признанию бесполезности государства, признанию, что естественный человек способен понимать, желать и делать добро, побуждаемый единственно своей собственной свободой; а это было бы столь же противно теории так называемого свободного государства, как и теории государства религиозного или божеского. В основании обеих теорий лежит предположение, что человек неспособен возвыситься до добра и делать его по собственному, естественному побуждению, ибо это побуждение, согласно этим самым теориям, непреодолимо и непрестанно влечет людей во зло. Итак, обе теории нас учат, что для того, чтобы обеспечить соблюдение принципов и выполнение законов в каком бы то ни было человеческом обществе, необходимо, чтобы во главе государства стояла бдительная, правящая и, в случае нужды, карающая власть.

— Остается узнать, кто должен, и кто может ею обладать?

Относительно государства, основанного на божеском праве и через вмешательство какогонибудь Бога, ответ очень легок: власть должна принадлежать, во первых, священникам, во вторых, светским властям, освященным священниками. Гораздо более затруднителен ответ, при теории государства, основанного на свободном договоре. В самом деле, в чистой демократии, где царит свобода, кто должен быть стражем и исполнителем законов, защитником справедливости и общественного порядка, против злых помыслов каждого? — Ведь, каждый признан неспособным управлять и обуздывать самого себя в той мере, в какой это необходимо для блага государства, ибо свобода каждого имеет естественное влечение ко злу. — Тогда кто же будет выполнять обязанности Государства?

Скажут: самые лучшие из граждан, самые умные и добродетельные, те, которые лучше других поймут общие интересы общества и необходи-

мость для каждого, долг каждого подчинять им свои частные интересы. В самом деле, необходимо, чтобы эти люди были столь же умны, как и добродетельны, ибо если они будут только умны без добродетели, они могут вести общественные дела в своих личные интересах, а если они будут добродетельны, но не умны, они неизбежно провалят общественное дело, несмотря на всю свою добросовестность. Стало быть, чтобы республика не погибла, необходимо, чтобы она обладала во все эпохи известным-количеством такого рода людей; надо, чтобы во все продолжение ее существования следовал, так сказать, непрерывный ряд добродетельных и в то же время умных граждан.

А условие это осуществляется не легко и не часто. В истории каждой страны эпохи, дающие значительное число выдающихся людей, отмечаются, как эпохи необыкновенные, блещущие сквозь мглу веков. Обыкновенно в правящих сферах преобладает посредственность, преобладает серый цвет, и часто, как мы это видим из истории, черный и красный цвета, т. е. торжествующие пороки и кровавое насилие. Мы могли бы отсюда заключить, что если бы была правда, как это с очевидностью вытекает из теории так называемого рационального или либерального государства, что сохранение и существование всякого политического общества зависят от непрерывного ряда следующих друг за другом замечательных, как по уму, так и по добродетели людей, — то из всех в настоящее время существующих обществ, нет ни одного, которое не должно бы было уже давно погибнуть. Если мы к этой трудности, чтоб не сказать невозможности, прибавим те, которые возникают из совершенно особого развращающего действия, оказываемого на человека обладанием властью, если мы прибавим чрезвычайные искушения, которым неизбежно подвержены все люди, облеченные властью, прибавим влияние честолюбия, соперничества, зависти и гигантской жадности, которые осаждают так сказать день и ночь именно самых высокопоставленных лиц, и против которых не обеспечивают ни ум, ни даже добродетель, ибо добродетель отдельного человека хрупкая вещь, — то мы думаем, что имеем полное право считать чудом существование стольких обществ. Но оставим это.

Предположим, что в идеальном обществе находится, в каждую эпоху, достаточное число людей равно умных и добродетельных, которые могут достойно выполнять государственные функции. Кто их отыщет, кто их различит, кто вложит в их руки бразды правления? Или они сами их захватят в сознании своего ума и добродетели, подобно тому, как это сделали два греческие мудреца Клеобул и Периандр, которым, несмотря на их великую, предполагаемую мудрость, греки, тем не менее дали имя тиранов? Но каким образом они захватят власть? Посредством убеждения или посредством силы? Если посредством убеждения, то мы заметим что можно хорошо убеждать лишь в том, в чем сам убежден, и что именно лучшие люди бывают всего менее убеждены в своем собственном досто-

инстве; а если даже они и сознают его, то им обыкновенно неприятно говорить об этом другим, между тем, как люди дурные и посредственные вечно собой удовлетворенные, не испытывают никакого стеснения в самохвальстве. Но предположим, что желание служит своему отечеству, заставило замолчать в истинно достойных людях эту чрезмерную скромность, они выступают перед избирательным собранием своих сограждан. Будут ли они однако всегда выбраны, всегда предпочтены народом честолюбивым, красноречивым и ловким интриганам? Если же, напротив того, они хотят достичь власти силой, то им необходимо иметь в своем распоряжении достаточно силы чтобы сломить сопротивление целой партии. Они достигнут власти через междоусобную войну, после которой останется непримиренная, а лишь побежденная и враждебная партия. Чтобы сдерживать ее, им будет необходимо продолжать пользоваться силой. Тогда это не будет уже свободное общество, но деспотическое государство, основанное на насилии и в котором вы, может быть, найдете много вещей, которые покажутся вам восхитительными, но никогда не найдете свободы.

Для сохранения функции свободного государства, имеющего в своей исходной точке общественный договор, нам нужно предположить, что большинство граждан обладает всегда необходимым благоразумием, прозорливостью и справедливостью, чтобы во главе правления ставить самых достойных и самых способных людей. Но для того, чтобы народ проявлял, и не раз и не случайно, а всегда, во всех производимых им выборах, в продолжение всего своего существования, эту прозорливость, эту справедливость, это благоразумие, надо чтобы он сам взятый в целом, достиг той степени нравственного развития и культуры, при которой правительство и государство уже совершенно бесполезны. Такой народ должен только жить, предоставляя полную свободу всем своим влечениям. Справедливость и общественный порядок возникнут сами по себе и естественно из его жизни, и Государство, перестав быть провидением, опекуном, воспитателем, управителем общества, отказавшись от всякой карательной власти и ниспав до подчиненной роли, какую ему указывает Прудон, сделается ничем иным, как простым бюро, своего рода центральной конторой, предназначенной для услуг обществу.

Без сомнения, такая политическая организация, или, лучше сказать, такое ослабление политической деятельности в пользу свободы общественной жизни, было бы для общества великим благодеянием, но оно бы несколько не удовлетворило сторонников необходимости государства. Им непременно нужно Государство-провидение, Государство управитель общественной жизни, Государство, чинящее суд и поддерживающее общественный порядок. Другими словами, сознаются ли они себе в этом или нет, называются ли они республиканцами, демократами или даже социалистами, — им всегда нужно, чтобы управляемый народ был более или менее невежествен, несовершеннолетен, неспособен, или, называя вещи

их собственными именами, чтобы народ был более или менее — „черню“. Это необходимо им, конечно, для того, чтобы поборов в себе бескорыстие и скромность, они могли бы оставаться на первых местах для того, чтобы иметь всегда возможность пожертвовать собой ради общественной пользы и чтобы, сильные добродетельным самоотвержением и своим исключительным умом, будучи привилегированными стражами человеческого стада, толкая его к его благу и ведя его к его спасению, они могли бы также и обирать его немного.

Всякая последовательная и искренняя теория государства существенно основана на принципе *высшей власти*, т. е. на той теологической, метафизической и политической идее, что массы, оставаясь вечно неспособными к самоуправлению, должны всегда пребывать под благодетельным игом мудрости и справедливости, подчиняться которым, тем или иным способом им вменяется сверху. Но во имя чего и кем вменяется им это подчинение? Власть, признаваемая и уважаемая массами, может иметь лишь три источника: силу, религию или превосходство ума. В последствии мы будем говорить о Государствах, основанных на двойной власти религии и силы; теперь, рассматривая теорию государства, основанного на свободном договоре, мы должны выключить оба эти фактора. Нам остается, стало быть, в данном случае, власть, основанная на превосходстве ума, которое как известно, всегда составляет удел меньшинства.

И в самом деле, что мы видим во всех прошлых и настоящих государствах, даже если они обладают самыми демократическими учреждениями, как, например Соединенные Штаты Северной Америки и Швейцария? „Народоправство“, несмотря на внешний вид народного всемогущества, остается почти всегда фикцией. В действительности меньшинство является правящим классом. В Соединенных Штатах до последней войны за освобождение рабов и отчасти даже до сих пор — например, вся партия нынешнего президента Джонсона — правительственной партией были и остаются, так называемые демократы, крайние сторонники рабства и свирепой олигархии плантаторов, бессовестные, продажные демагоги, готовые все закласть ради своей жадности, своего зловредного честолюбия и которые своей отвратительной деятельностью и влиянием, которым они беспрепятственно пользовались около пятидесяти лет кряду, сильно способствовали извращению политических народов Соединенных Штатов. В настоящее время истинно просвещенное, великодушное меньшинство, но все же и опять-таки *меньшинство*, — партия республиканцев, с успехом борется с зловредной политикой демократов. Будем надеяться, что его торжество будет полным, будем на это надеяться ради блага человечества; но как бы ни была велика искренность этой партии свободы, как бы ни были возвышены и великодушны провозглашаемые ею принципы; не следует надеяться, что достигнув власти, эта партия откажется от исключительного положения правящего меньшинства и что народное самоуправление

сделалось, наконец, действительным фактом. Для этого понадобилась бы революция более глубокая, чем все те, которые до сих пор потрясли старый и новый мир.

В Швейцарии, несмотря на все совершившиеся демократические революции, управляет все еще имущий класс, буржуазия, т. е. меньшинство привилегированное в отношении имущества, досуга и образования. Верховная власть народа, — слово которое нам, впрочем, ненавистно, ибо на наш взгляд всякая верховная власть достойна ненависти, — народное самоуправление в Швейцарии тоже является фикцией. Народ обладает здесь верховной властью по праву, но не на деле, ибо, поглощенный ежедневной работой, не оставляющей ему совсем досуга, и если не совершенно невежественный, то во всяком случае сильно уступающей в образовании буржуазному классу, он принужден отдавать в руки буржуазии свою фиктивную власть. Единственная выгода, которую он из нее извлекает, как в Соединенных Штатах Северной Америки, так и в Швейцарии, это что честолюбивое меньшинство, политические классы не могут добиться власти иначе, как ухаживая за ним, льстя его временным, иногда очень дурным страстям и чаще всего обманывая его.

Да не подумают, что мы хотим указать преимущество монархии перед демократическими учреждениями. Мы твердо убеждены, что самая несовершенная республика в тысячу раз лучше, чем самая просвещенная монархия, ибо в республике есть минуты, когда народ, хотя, и вечно эксплуатируемый, по крайней мере не угнетен, между тем как в монархиях он угнетен постоянно. И кроме того, демократический режим возвышает мало по малу массы до общественной жизни, а монархия никогда этого не делает. Но хотя мы и отдаем предпочтение республике, все же мы принуждены признать и провозгласить, что какова бы ни была форма правления, все же, пока вследствие *наследственного* неравенства занятий, имущественного, образования и прав, человеческое общество останется разделенные на различные классы, до тех пор, будет править исключительно меньшинство и будет неизбежная эксплуатация этим меньшинством большинства.

Государство есть ничто иное, как эти систематизированные главенство и эксплуатация. Мы попробуем это доказать, рассматривая следствия управления народными массами какимнибудь меньшинством, сколь угодно просвещенным и самоотверженным, в идеальном Государстве, основанном на свободном договоре.

Раз условия договора определены, остается лишь провести их на практике. Предположим, что народ, достаточно мудрый, чтобы признать свою собственную неспособность, имеет еще необходимую прозорливость, чтобы вверять управление общественными делами лишь самым лучшим гражданам.

Эти привилегированные индивиды, привилегированы вначале не с точки зрения права, а лишь на деле. Они были выбраны народом потому, что они самые просвещенные, самые искусные, самые мудрые самые мужествен-

ные и самые самоотверженные. Взятые из массы граждан, которые по предположению все между собой равны, они не образуют еще пока собой отдельного класса, но лишь отдельную группу, привилегированную лишь природой, и вследствие этого отличенную народным избранием. Число их необходимо весьма ограничено, ибо во всякой стране и во всякое время число людей, одаренных такими выдающимися качествами, что они словно вынуждают всеобщее уважение народа, бывает, как это показывает нам опыт, весьма незначительным. Итак из боязни плохо выбрать, народ должен будет всегда избирать своих правителей из этого незначительного числа.

И вот общество уже разделяется на две категории, чтобы не сказать еще на два класса, из которых одна, составленная из громадного большинства граждан, добровольно подчиняется правлению своих выборных; другая, состоящая из незначительного числа даровитых натур, признанных и избранных народом в качестве таковых, уполномочена народом управлять им. Завися от народного избрания, эти люди вначале не отличаются от массы граждан ничем иным, кроме как теми самыми качествами, которые снискали им доверие своих соотечественников, и являются среди всей массы граждан естественно, самыми полезными и самоотверженными. Они не присваивают еще себе никакой привилегии, никакого особенного права, за исключением права выполнять, покуда этого желает народ, специальные обязанности, которые на них возложены. Во всем прочем, в образе жизни, в условиях и средствах своего существования, они нисколько не отличаются от народа, так что между всеми продолжает царить совершенное равенство.

Но может ли это равенство долго продолжаться? Мы утверждаем, что нет, и это очень легко доказать.

Нет ничего более опасного для личной нравственности человека, как привычка повелевать. Самый лучший, самый просвещенный, бескорыстный, великодушный, чистый человек неизбежно испортится при этих условиях. Власти присущи два чувства, которые обязательно производят эту деморализацию: *презрение к народным массам и преувеличение своего собственного достоинства.*

Массы, сознав свою неспособность к самоуправлению, выбрали меня в вожди. Тем самым они открыто признали мое *превосходство* и свое *сравнительное ничтожество*. Из всей этой толпы людей, в которой есть лишь два, три человека, могущих быть признанными мной за равных, я один способен управлять общественными делами. Народ во мне нуждается, он не может обойтись без моих услуг, между тем как я довольствуюсь самим собой. Итак народ должен повиноваться мне для собственного своего блага, и снисходя до управления им, я создаю его счастье.

Неправда ли, этого всего совершенно достаточно, чтобы потерять голову и обезуметь от гордости? — Таким образом, власть и привычка

повелевать становятся даже для самых просвещенных и добродетельных людей источником интеллектуального и морального самообождения.

Всякая человеческая мораль, — немного ниже мы постараемся доказать абсолютную истину этого принципа, развитие, объяснение и самое широкое применение которого составляют главную цель этого сочинения, — всякая коллективная и индивидуальная мораль существенно покоится на *человеческом уважении*. Что подразумеваем мы под человеческим уважением? — Признание человечности, человеческого права и человеческого достоинства в каждом человеке, какова бы ни была его раса, цвет его кожи, степень развития его ума и даже нравственности. Но могу ли я уважать человека, если он глуп, зол, презретен? Конечно, если он обладает этими качествами, то мне невозможно уважать в нем его подлость, тупоумие, глупость. Эти качества меня возмущают и вызывают во мне отвращение; я приму против них в случае надобности самые энергичные меры, и даже убью этого человека, если у меня не останется других средств защитить свою жизнь, свое право или то, что мне дорого и мной уважаемо. Но во время самой энергичной, ожесточенной и в случае нужды смертельной борьбы с этим человеком, я должен уважать в нем его человеческую природу. — Только этой ценой я могу сохранить свое собственное человеческое достоинство. Однако, если этот человек не признает ни в ком этого достоинства можно ли признавать его в нем? Если он своего рода дикий зверь, или, как это иногда случается, хуже чем зверь, можно ли признавать в нем человеческую природу, не будет ли это значить вдаваться в фикцию. Нет, ибо каково бы ни было его интеллектуальное и моральное падение, если органически он не является ни идиотом, ни безумным, — в каких случаях с ним надо было бы обращаться не как с преступником, а как с больным, — если он в полном обладании своими чувствами и данным ему от природы умом, его человеческая природа, среди самых чудовищных уклонений, все же весьма реально существует в нем, *в качестве всегда открытой для него, покуда он жив, возможности возвыситься до сознания своей человечности, — если только произойдет коренная перемена в социальных условиях, делающих его тем, чем он есть.*

Возьмите самую умную, самую способную обезьяну, поставьте ее в самые лучшие человеческие условия, — и все же вы никогда не сделаете из нее человека. Возьмите самого закоренелого преступника и самого бедного умом человека; если только ни в одном из них нет какого нибудь органического дефекта, определяющего его идиотизм или неизлечимую манию, то прежде всего вы должны будете признать, что если один сделался преступником, а другой еще не возвысился до сознания своей человечности в своих человеческих обязанностях, то *виноваты в этом не они сами, а социальная среда, в которой они родились и развились.*

Здесь мы касаемся самого важного вопроса социальной науки о человеке, вообще. Мы уже повторяли неоднократно, что мы *абсолютно отрицаем свободу воли*, в том смысле, какой приписывают этому слову теология, метафизика и наука о праве, т. е. в смысле произвольного самоопределения индивидуальной воли человека, независимо от всяких естественных и социальных влияний.

Мы отрицаем существование души, существование духовной субстанции независимой и отделимой от тела. Напротив того, мы утверждаем, что, подобно тому как тело индивида, со всеми своими способностями и инстинктивными предрасположениями, является ничем иным, как производной всех общих и частных причин, определивших его индивидуальную организацию, — что неправильно называется душой; интеллектуальные и моральные качества человека являются прямым продуктом или, лучше сказать, естественным, непосредственным выражением этой самой организации, и именно степени органического развития, которой достиг мозг, благодаря стечению независимых от воли причин.

Всякий даже самый ничтожный индивид, является продуктом веков: история причин, способствовавших его образованию не имеет начала. Если бы мы имели дар, которым никто не обладает и не будет никогда обладать, дар познать и охватить бесконечное многообразие трансформаций материи или Существа, которые фатально происходили от рождения нашего земного шара до его рождения, то мы бы могли, никогда даже не видев, сказать с почти математической точностью, какова, его органическая природа, определить до малейших подробностей степень и характер его интеллектуальных и моральных способностей, — одним словом его *душу*, какова она в минуту его рождения. Но нам невозможно анализировать и охватить все эти последовательные трансформации, хотя мы можем сказать без страха ошибиться, что *всякий человеческий индивид, в момент своего рождения, является всецело продуктом исторического т. е. физиологического и социального развития его расы, народа и касты, — если в его стране существуют касты, — его семьи, его предков и индивидуальной природы его отца и матери, передавших ему непосредственно, путем физиологического наследства, — в качестве исходного пункта для него и определения его индивидуальной природы, — все фатальные последствия их собственного предыдущего существования, как материального так и нравственного, как индивидуального, так и социального, включая сюда все их мысли, чувства и поступки, включая все разнообразные события их жизни и все крупные или мелкие происшествия, в которых они принимали участие, включая сюда равным образом бесконеч-*

ное многообразие случайностей, которым они могли подвергаться¹⁾ и со всем тем, что они наследовали тем же способом от своих собственных родителей.

Нам нет надобности напоминать, чего никто впрочем не отрицает, что различия рас, народов и даже классов и семей, определяются причинами географическими, этнографическими, физиологическими, экономическими— (включая сюда два крупных пункта: вопрос занятий, т. е. вопрос разделения коллективного труда общества и распределения богатства, и вопрос питания, как в отношении количества, так и в отношении качества) — а также причинами историческими, религиозными, философскими, юридическими и социальными; и что все эти причины, комбинируясь различным образом для каждой расы, каждой нации и чаще всего, для каждой провинции и для каждой коммуны, для каждого класса и для каждой семьи, придают каждой особенную физиономию, т. е. различный физиологический тип, совокупность особенных предрасположений и способностей, — независимо от воли индивидов, входящих в состав групп и являющихся всецело их продуктом.

Таким образом, каждый человеческий индивид, в момент своего рождения, является *материальной, органической производной* всего разнообразия причин, которые, скомбинировавшись, произвели его. Его душа, — т. е. его органическое предрасположение к развитию чувств, идей и воли, — является лишь продуктом. Она вполне определяется физиологическим, индивидуальным качеством его мозговой и нервной системы, которая, как и все его остальное тело, совершенно зависит от более или менее счастливой комбинации этих причин. Она составляет собственно то, что мы называем *отличительной, первоначальной природой индивида.*

Существует столько же различных характеров, сколько и индивидов. Эти индивидуальные различия проявляются тем яснее, чем более они развиваются, или, лучше сказать, они не только проявляются с большей силой, *они действительно увеличиваются, по мере того, как индивиды развиваются, потому что различные вещи, внешние*

¹⁾ Случайности, которым подвержен зародыш во время своего развития в чреве матери, вполне объясняют различие, часто существующее между детьми тех же родителей и делают для нас понятный, каким образом у умных родителей может быть дитя-идиот. Но это всегда лишь несчастное исключение, происшедшее вследствие какой-нибудь случайной, минутной причины. Природа, благодаря несуществованию Бога, никогда не бывает капризной, ничего не делает без достаточной причины, и никогда не меняет раз принятого направления и стремления, если только она не принуждена к этому силой обстоятельств, так что закон воспроизведения человеческого рода путем следующих друг за другом брачных пар, составляющих семью, выражается так: *если бы каждая пара прибавляла к физиологическому наследию от своих родителей новое физическое, интеллектуальное и моральное развитие, то—так как каждое духовное усовершенствование является усовершенствованием мозга, — каждое вновь рождающееся существо должно бы быть во всех отношениях выше своих родителей.*

условия, — одним словом, тысячи, по большей части неуловимых причин, воздействующих на развитие индивидов, — сами по себе весьма различны. Это обуславливает то, что чем более подвигается в жизни какой нибудь индивид, тем более обрисовывается его индивидуальная природа, тем более он отличается, как своими достоинствами так и недостатками от всех других индивидов.

До какой степени индивидуальный характер или душа, т. е. индивидуальные особенности мозгового и нервного устройства развиты в новорожденном ребенке? Разрешение этого вопроса является делом физиологов. Мы знаем лишь, что все эти особенности должны быть необходимо наследственными в том смысле, который мы пытались объяснить, т. е. определенными бесконечностью самых разнообразных причин: материальных и моральных, механических и физических, органических и духовных, исторических, географических, экономических и социальных, больших и малых, постоянных и случайных, непосредственных и очень отдаленных в пространстве и во времени, и совокупность которых комбинируется в единое живое Существо и индивидуализируется в первый и в последний раз, в ряде всемирных видоизменений, единственно лишь в этом ребенке, который в чисто индивидуальном применении этого слова, никогда не имел и никогда не будет иметь себе подобного.

Остается узнать до какой степени и в каком смысле этот индивидуальный характер является действительно определенным, в тот момент, когда ребенок выходит из чрева матери. Является ли это определение лишь материальным, или же в то же время духовным и моральным, хотя бы в качестве лишь естественной способности и тенденции или инстинктивного предрасположения? Рождается ли ребенок умным или глупым, добрым или злым, одаренным или лишенным воли, предрасположенным к развитию того или другого таланта? Может ли он унаследовать характер, привычки, недостатки или интеллектуальные и моральные качества своих родителей и предков?

Вот вопросы, разрешение коих чрезвычайно трудно, и мы не думаем, чтобы физиология и экспериментальная психология были в настоящее время достаточно зрелыми и развитыми, чтобы быть в состоянии ответить на них с полным знанием дела. Наш известный соотечественник г. Сеченов говорит в своем замечательном труде о деятельности мозга, что в громадном большинстве случаев 999/1000 частей психического характера индивида ¹⁾...

.....
..... конечно, более или менее заметные в человеке до его смерти. „Я не утверждаю“, говорит он, чтобы

¹⁾ Здесь недостает нескольких строчек в оригинале (Прим. изд.)

можно было посредством воспитания переделать дурака в умного человека. Это также невозможно, как дать слух индивиду, рожденному без акустического нерва. Я думаю лишь, что взяв с детского возраста по природе умного негра, японца или самоеда, можно из них сделать при помощи европейского воспитания, в самой среде европейского общества, людей, очень мало отличающихся в психическом отношении от цивилизованного европейца.

Устанавливая это отношение между 999/1000 частями психического характера, принадлежащими, согласно ему, воспитанию, и только одной тысячной, оставляемой им на долю наследственности, г. Сеченов не подразумевал, конечно, исключений: гениальных и необыкновенно талантливых людей, или идиотов и дураков. Он говорит лишь о громадном большинстве людей, одаренных, обыкновенными или средними способностями. Они являются с точки зрения социальной организации самыми интересными, мы сказали бы даже, единственно интересными, — ибо общество создано ими и для них, а не для исключений и не гениальными людьми, как бы ни казалось безмерным могущество этих последних.

Что нас особенно интересует в этом вопросе, это узнать: могут ли, подобно интеллектуальным способностям, также и *моральные качества* — доброта или злость, храбрость, или трусость, сила или слабость характера, великодушие или жадность, эгоизм или любовь к ближнему и другие положительные или отрицательные качества этого рода, — могут ли они быть физиологически унаследованы от родителей, предков, или независимо от наследства, образоваться в силу какой-либо случайной, известной или неизвестной причины, которой подвергся ребенок во чреве матери? — Одним словом, может ли ребенок принести, рождаясь, какие нибудь *готовые моральные предрасположения*?

Мы этого не думаем. Чтобы лучше поставить вопрос, заметим во первых, что если бы существование *врожденных* моральных качеств было допустимо, то это могло бы быть лишь при условии, что они связаны в новорожденном ребенке с какой нибудь физиологической, чисто материальной особенностью его организма: ребенок выходя из чрева матери, не имеет еще ни души, ни ума, ни даже инстинктов; он рождается для всего этого; он, стало быть, лишь физическое существо, и его способности и качества, если он их имеет, могут быть лишь анатомическими и физиологическими. Поэтому, для того, чтобы ребенок мог родиться добрым, великодушным, самоотверженным, смелым или злым, скупым, эгоистом и трусом, надо, чтобы каждое из этих достоинств или недостатков соответствовали какой нибудь материальной и, так сказать, местной особенности его организма и именно его мозга, а такое предположение вернуло бы нас к системе Галля который думал, что он нашел для каждого качества и для каждого недостатка соответствующие шишки и впадины на черепе. Система эта, как известно, единогласно отвергнута современными физиологами.

Но если бы она была основательна, что бы отсюда вытекало? Раз недостатки и пороки, также как и хорошие качества врожденны, то остается узнать, могут ли они быть искоренены воспитанием или нет? В первом случае вина во всех преступлениях, сделанных людьми, падала бы на общество, не сумевшее дать им надлежащее воспитание, а не на них, которые могут, напротив, быть рассматриваемыми, как жертвы социальной непродуманности. Во втором случае, раз *врожденные* предрасположения признаны фатальными и непоправимыми, обществу не остается ничего другого, как отделаться от всех индивидов, запечатленных каким нибудь естественным, врожденным пороком. Но, дабы не впасть в отвратительный порок лицемерия, общество должно тогда признать, что оно делает это единственно в интересах своего сохранения, а не справедливости.

Есть еще одно соображение, могущее способствовать уяснению этого вопроса: в мире интеллектуальном и моральном, как и в мире физическом, существует только положительное; отрицательное не существует, оно не есть что-нибудь само по себе, а лишь более или менее значительное уменьшение положительного. Так, например, холод является лишь известным состоянием тепла, это лишь относительное отсутствие, лишь очень значительное уменьшение тепла! Так же обстоит дело с мраком, являющимся лишь светом уменьшенным донельзя... Мрак и холод не существуют. В мире интеллектуальном глупость является ничем иным, как слабостью ума, а в нравственности недоброжелательство, жадность, трусость являются лишь доброжелательством, великодушием и храбростью, доведенными не до нуля, а до очень малого количества. Как бы оно мало ни было все же оно положительное количество, которое может быть развито, усилено, и увеличено воспитанием в положительном смысле, — что было бы невозможно, если бы пороки или отрицательные качества являлись отдельными свойствами. Тогда их надо было бы убивать, а не развивать, ибо развитие их могло бы в таком случае произойти лишь в отрицательном смысле.

Наконец, не позволяя себе предрешать эти важные физиологические вопросы, в которых мы не скрываем своего полного невежества, прибавим лишь, опираясь на единогласный авторитет всех современных физиологов, последнее соображение. Констатировано и доказано, что в человеческом организме нет отдельных областей и органов для инстинктивных, аффективных, моральных и интеллектуальных способностей и что все вырабатываются *в одной и той же части мозга посредством одного и того же нервного механизма* ¹⁾. Отсюда с очевидностью вытекает, что не может

¹⁾ См. замечательную статью Литтре: „О методе в психологии“ в журнале: „Позитивная Философия“. Физиологически установлено, говорит знаменитый позитивист, *что мозг ничего не создает; он лишь воспринимает*. Его функции заключаются в переработывании того, что ему передается (чувствами), в желания и идеи; *но сам он не приносит ничего своего в то, что составляет сущность этих идей и этих чувств*. По правде сказать, все дается ему извне, ибо органические состояния, без кото-

быть вопроса о различных нравственных или безнравственных предрасположениях, фатально определяющих в самом организме ребенка наследственные и врожденные достоинства или пороки, и что *моральная врожденность*, никоим образом не обособляется от *интеллектуальной врожденности*, ибо и та и другая сводятся к большей или меньшей степени совершенства, достигнутого вообще развитием мозга.

„Раз призваны анатомические и физиологические свойства ума“, говорит Литтре (стр. 355), „то можно проникнуть в самую глубь его истории. Покуда ум не был переделан и обогащен цивилизацией, покуда он обладал лишь простыми идеями ¹⁾, производимыми как внутренними, так и внешними впечатлениями ²⁾, он находился на самой низшей ступени развития; для того, чтобы подняться на самую высшую ступень ум обладает лишь способностью задерживать впечатления и способностью ассоциации ³⁾, но этого достаточно. Мало по малу образуются *сложные*

рых не поддерживается ни индивидуальная, ни коллективная жизнь и без которых не было бы и чувства, являются *внешними* (для человека), и природа осуществляет их независимо от всякого мозга и всякой психики, в растениях и в особенности в низших животных. Отсюда вытекает, что надо отчасти изменить смысл слова: *субъективное*. Субъективное не может означать нечто, что предшествует развитию человеческого существа, как-то я, идея, чувство, идеал. Оно может лишь означать *перерабатывающую способность нервных клеток*; за исключением этого смысла, субъективное всегда смешано с объективным“ (№ 111, стр. 302).— А на стр.343—344, Литтре говорит еще: „Рассудок не является способностью, витающей над принесенными ему впечатлениями, его единственное дело (чисто физиологическое) состоит в сравнении их между собой, чтобы вывести заключение: но он не имеет над ними никакой высшей власти. *Галлюцинации* доказывают это; галлюцинации это продукт впечатлений, не вызванных ничем объективным. В силу болезненной деятельности нервных клеток, приспособленных в передаче впечатлений, призрачные впечатления притекают к интеллектуальному центру („серое вещество оболочки той части мозга, которая занимает всю верхнюю и нижнюю часть черепного углубления или мозга в собственном смысле“), как будто бы они, были реальными. Рассудок, воспринимаемая их, по необходимости работает над фиктивным материалом, и вот являются воображаемые представления. Впрочем, за исключением патологических явлений, совершенно подобное же доказательство, даст нам развитие человеческих идей в истории.. *Вначале наблюдения,— за исключением самых простых,—ошибочны, и суждения тоже ошибочны.* Люди видят, что солнце встает на востоке и заходит на западе и, основываясь на этом, рассудок построяет неверное заключение, которое впоследствии исправляется лишь благодаря другим лучшим наблюдениям. *Если бы рассудок был первичной, а не вторичной способностью, то человеческая история была бы иной* (человечество не имело бы предком двоюродного брата гориллы). *Тогда бы великие истины были познаваемы, раньше всего, и из них бы дедуктивным путем вытекали второстепенные истины; такова и есть геологическая гипотеза...*“ Г. Литтре мог бы прибавить: а также метафизическая и юридическая.

¹⁾ Мы сказали бы первичными понятиями или даже простыми представлениями предметов.

²⁾ Чувственные впечатление, получаемые индивидом посредством нервов от внешних и внутренних предметов.

³⁾ Удержание простых идей в памяти и ассоциация их самой деятельностью мозга.

комбинации, увеличивающие силу и поле мозговой деятельности¹⁾; наконец, подвигаясь все вперед, человеческий мозг начинает совершать более крупную умственную работу. Умственная машина увеличивается и совершенствуется, а без машины нельзя сделать ничего значительного ни в интеллектуальной области, ни в области промышленности.

„По мере того, как совершается эта работа мозга, она призывает к себе на помощь важное свойство жизни, а именно наследственность, которая способствует закреплению полученного результата в настоящем и облегчению дальнейшего усовершенствования. Раз приобретены новые умственные способности, они передаются — это экспериментальный факт — потомкам под видом врожденностей; врожденностей вторичных, третичных, которые, в умственной области, создают усовершенствованные, человеческие породы и расы. Это заметно, когда сталкиваются друг с другом народности, шедшие по разным путям развития; низшая или исчезает или лишь медленно достигает до уровня высшей“.

Ниже процитировав слова Люиса: „Мозговая сфера, где царят чувственные впечатления и та, где происходят чисто интеллектуальные проявления, тесно соединены между собой“, Литтре прибавляет²⁾:

„Это совершенное подобие между интеллектом и чувством, а именно источником, где нервы черпают³⁾, и центром, где то, что они черпают перерабатывается⁴⁾, вместе с тождественностью обоих центров, это означает, что физиология чувства не может разниться от физиологии интеллекта.“

„Следовательно, пришлось отказаться искать в мозгу органы для влечений и страстей и признать, что в нем происходят лишь впечатлительные процессы, которые надлежит определить.“

¹⁾ Посредством ассоциации простых идей.

²⁾ Стр. 357.

³⁾ Источник, где нервы почерпают как чувственные так и инстинктивные впечатления, или *sensorium commune* это, по мнению Литтре и Люиса, *оптический слой* куда стекаются все, как внешние, так и внутренние впечатления, — т. е. произведенные внешними предметами, или же явившиеся изнутри организма — и который (оптический слой) „системой волокон и их соединений передает эти впечатления серому веществу оболочки мозга-центра, как аффективных, так и интеллектуальных способностей“ (стр. 340 —341).

⁴⁾ Серое вещество мозга, состоящее из нервных клеток: „Установлено, что нервные клетки, составляющие вещество мозга, являясь, анатомически, окончанием нервов, куда стекаются все внутренние впечатления, служат для переработки этих впечатлений в идеи; затем, по образовании идей, для суждения о сходстве или различии их, для задержания их в памяти, для соединения их путем ассоциации. Ни более, ни менее. Все интеллектуальное развитие человека имеет своей исходной точкой эти анатомические и физиологические условия“ (стр. 352).

„Источником идей являются чувственные впечатления, источником чувств — впечатления *инстинктивные*. Дело нервных клеток, заключается в перерабатывании в чувства инстинктивных впечатлений. Проблема происхождения чувств совершенно параллельна проблеме происхождения идей.

„Этот род деятельности мозга происходить над двумя сортами инстинктивных впечатлений, над теми, которые принадлежат *инстинктам поддержания индивидуальной жизни* и теми, которые принадлежат к *инстинктам поддержания жизни рода*. Первая категория перерабатывается в мозгу в *себялюбие*, вторая в *любовь к другим*, в первичной форме, половой любви, любви матери к ребенку и ребенка к матери.

„В этом отношении, не лишнее будет бросить беглый взгляд на сравнительную физиологию. У рыб, стоящих в мозговом отношении на самой нижней ступени лестницы позвоночных и не знающих ни семьи, ни детенышей, инстинкт остается чисто половым. Но чувства, порождаемые им, начинают проявляться у некоторых млекопитающих и у птиц; устанавливается настоящее сожителство, но по большей части оно лишь временно. Также точно обстоит дело с зачатками семейных отношений между родителями и детенышами. Наконец, у некоторых животных, и между прочим у человека, между различными семьями образуются такого же рода отношения, как между членами одной и той же семьи; там и сям, среди животных зарождается общественность. Раз фундамент, таким образом, заложен, то нетрудно понять, что *первичные чувства*, по мере осложнения жизни, как для индивида, так и для общества, *переходят во вторичные чувства и в комбинации чувств, которые становятся столь же нераздельными, как нераздельны в интеллекте ассоциированные идеи*" (стр. 357).

Таким образом, повидимому, установлено, что в мозгу не существует *специальных органов*, ни для различных интеллектуальных способностей, ни для различных моральных качеств, аффектов и страстей, добрых или злых. Следовательно, ни достоинства, ни недостатки не могут быть унаследованы, врожденны, ибо, как мы сказали, эта наследственность и врожденность может быть в новорожденном лишь физиологической, материальной. В чем же может заключаться прогрессивное исторически передаваемое совершенствование мозга, как в интеллектуальном, так и в моральном отношении? Единственно в гармоническом развитии всей мозговой и нервной системы, т. е. как в верности, тонкости и живости нервных впечатлений, так и в способности мозга перерабатывать эти впечатления в чувства, в идеи и комбинировать, охватывать и удерживать все более и более широкие ассоциации чувств и идей.

Весьма вероятно, что если у какой-нибудь расы, нации, у какого-нибудь класса или в какой-нибудь семье, вследствие их отличительной

природы, всегда обусловленной их географическим и экономическим положением, характером их занятий, количеством и качеством пищи, также как их политической и социальной организацией, одним словом, всей их жизнью и большей или меньшей степенью интеллектуального и морального развития, — что если, вследствие всех этих условий, одна или несколько систем органических функций, совокупность которых образует жизнь человеческого тела, будут развиты в ущерб всем другим системам, в родителях, — весьма вероятно, почти несомненно, говорим мы, что их ребенок унаследует в той или иной степени ту же плачевную дисгармонию, — с возможностью, только, исправить ее до некоторой степени, благодаря своей собственной будущей работе над самим собой, а иногда, также благодаря социальным революциям, без которых установление более полной гармонии в физиологическом развитии индивидов, взятых в отдельности, может быть часто невозможным.

Во всяком случае, надо сказать, что абсолютная гармония в развитии человеческих мускульных, инстинктивных, интеллектуальных и моральных способностей, является идеалом, который никогда нельзя будет осуществить; во первых, потому, что история физиологически тяготеет более или менее (и да придет время, когда можно будет сказать: все менее и менее) — над всеми народами и над всеми индивидами; и затем потому, что всякая семья и всякий народ всегда поставлены в различные условия между которыми, по крайней мере, некоторые будут всегда противоречить полному и моральному развитию людей.

Итак, то, что передается наследственным путем из поколения в поколение, то, что может быть *физиологически врожденным* в индивидах, рождающихся к жизни, это не достоинства их или недостатки, не идеи или ассоциации чувств и идей, а единственно лишь мускульный и нервный механизм, *более или менее усовершенствованные органы*, посредством которых человек движется, дышит, ощущает себя, получает внешние впечатления и удерживает их, воображает, судит, комбинирует, ассоциирует и понимает чувства и идеи, являющиеся, ничем иным, как теми же самыми, как внешними, так и внутренними впечатлениями, сгруппированными и переработанными вначале, в конкретные представления, затем в абстрактные понятия, при помощи чисто физиологической и, прибавим еще, совершенно произвольной деятельности мозга.

Ассоциации чувств и идей, последовательное развитие и видоизменение которых составляют всю интеллектуальную и моральную часть истории человечества, не обуславливают образование в человеческом мозгу новых органов, соответствующих каждой отдельной ассоциации, и следовательно не могут быть переданы индивидам путей физиологической наследственности. Физиологически наследуется, лишь все более и более усиленная, расширенная и усовершенствованная способность понимать их и создавать новые. Но сами ассоциации и представляющие их сложные идеи, как

например, идея бога, отечества, нравственности и т. д., не могут быть врожденными и передаются индивидам лишь *путем общественной традиции и воспитания*. Они овладевают ребенком с первого дня его рождения, и так как они уже воплотились в окружающей его жизни, во всех, как материальных, так и моральных деталях общественной среды, в которой он родился, то они проникают тысячами различных способов в его, сначала детское, затем отроческое и юношеское сознание, которое рождается, растет и формируется под их всеильным влиянием.

Беря воспитание в самом широком смысле этого слова, понимая под ним не только обучение и уроки нравственности, но и, главным образом, примеры, являемые ребенку всеми окружающими лицами; влияние всего, что он слышит, что он видит; понимая под этим словом, не только умственное образование ребенка, но также развитие его тела посредством питания, гигиены, физических упражнений, — мы скажем с полной уверенностью, что никто нам серьезно не будет противоречить, что всякий ребенок, всякий юноша и, наконец, всякий взрослый человек является всецело продуктом среды, которая вскормила его и воспитала, — продуктом фатальным, произвольным и, следовательно, безответственным.

Человек рождается без души, без сознания, без тени какойнибудь идеи или чувства, но с организмом, индивидуальная природа которого определена бесконечным числом обстоятельств и условий, предшествовавших самому появлению воли, и которая, в свою очередь, обуславливает большую или меньшую способность человека к восприятию и присвоению чувств, идей и ассоциаций чувств и идей, выработанных веками и переданных каждому как *общественное наследие*, при помощи полученного каждым воспитания. Плохо это воспитание или хорошо, оно навязано человеку обстоятельствами, он в нем несколько не ответствен. Оно формирует человека, насколько позволяет более или менее счастливая индивидуальная природа последнего, так сказать, по своему образу, так что человек думает, чувствует и желает то же самое, что думают, чувствуют и хотят все его окружающие.

Но, в таком случае, спросят, может быть, как же объяснить, что воспитание, по внешности, по крайней мере, почти тождественное, часто дает самые различные результаты что касается развития характера, ума и сердца? А разве не различны при рождении индивидуальные организмы? Это природное и врожденное различие, сколь бы ни было оно мало, является однако положительным и реальным: различие в темпераменте, в жизненной энергии, в преобладании одного чувства, одной группы органических функций над другой, в природных живости и способности. Мы постарались доказать, что пороки так же, как и моральные качества, — факты индивидуального и общественного сознания, — не могут быть фактически унаследованы и что человек ни может быть предопределен физиологически быть непоправимо злым, неспособным к добру; но мы не думали

отрицать, что есть очень различные индивидуальные организмы, из которых одни, более счастливо одаренные, способны к более широкому гуманному развитию, чем другие. Правда, мы думаем, что в настоящее время слишком преувеличиваются естественные различия между индивидами, и что наибольшую часть ныне существующих различий, надо приписать не столько природе, сколько различному воспитанию, полученному каждым.

Для разрешения этого вопроса надо было бы во всяком случае, чтобы две науки, могущие его разрешить а именно: физиологическая психология, или наука о мозге, и педагогика, или наука о воспитании и общественном развитии мозга, вышли из детского состояния, в котором они обе еще пребывают. Но раз установлено физиологическое различие между индивидами, в какой бы то ни было степени, то с совершенной очевидностью вытекает, что какая-нибудь система воспитания, сама по себе превосходящая, как абстрактная система, может быть хороша для одного и дурна для другого.

Для того, чтобы быть совершенным, воспитание должно бы было быть гораздо более индивидуализированным, чем оно является теперь; индивидуализировано в духе свободы и основано на уважении свободы, даже и в детях. Оно должно стремиться не к *дрессировке* характера, ума и сердца, а к их пробуждению к независимой и свободной деятельности. Оно не должно иметь другой цели, как развитие свободы, другого культа, или лучше сказать, другой морали, другого объекта уважения, как свободу каждого и всех; как простую справедливость, не юридическую, а человеческую; простой разум, не теологический, не метафизический, а научный; и труд как мускульный, так и нервный, — как первую и обязательную для всех основу всякого достоинства, всякой свободы и права. Такое воспитание, широко распространенное на всех, на женщин, как и на мужчин, при экономических и социальных условиях, основанных на справедливости, заставило бы исчезнуть много так называемых естественных различий.

Нам могут возразить: как бы ни было несовершенно воспитание, но во всяком случае им одним нельзя объяснить тот неоспоримый факт, что довольно часто в семьях, наиболее лишенных нравственного чувства, можно встретить личностей, поражающих нас благородством своих инстинктов и чувств, и что, напротив того, еще чаще в семьях, самых развитых в нравственном и интеллектуальном отношении, встречаются индивиды, низкие по уму и по сердцу. Но это лишь видимое противоречие. В самом деле, хотя мы и сказали, что в огромном большинстве случаев, человек является всецело продуктом социальных условий, в среде которых он развивается; хотя мы и оставили сравнительно малую долю влиянию физиологического наследства естественных качеств, с которыми человек уже рождается, тем не менее, мы не отрицали этого влияния. Мы признали даже, что в некоторых исключительных случаях, в людях гениальных или очень талантливых,

напр., так же, как в идиотах и в людях нравственно очень испорченных, это влияние естественного определения на развитие индивида — столь же фатального, как и влияние воспитания и общества, — может быть даже очень велико. Последнее слово относительно всех этих вопросов принадлежит физиологии мозга, а эта последняя еще не достигла той степени развития, которая дала бы ей возможность разрешить их даже приблизительно. Единственная вещь, которую мы можем в данный момент с уверенностью утверждать, это то, что все эти вопросы бьются между двумя фатализмами: фатализмом естественным, органическим, физиологически наследственным, и фатализмом наследственности, общественной традиции, воспитания, общественного, экономического и политического устройства каждой страны. В этих двух фатализах нет места для свободы воли.

Но помимо естественного, положительного или отрицательного, определения индивида, которое может поставить его в большее или меньшее противоречие с духом, царящим в его семье могут существовать для каждого отдельного случая еще другие скрытые, причины, которые в большинстве случаев всегда остаются неузнанными, но которые должны быть нами приняты, тем не менее, в расчет. Стечение особых обстоятельств, неожиданное событие, иногда даже очень незначительный сам по себе случай: нечаянная встреча какого нибудь человека, книга, попавшая в руки данному индивиду в надлежащий момент — все это, в ребенке, в подростке или в юноше, когда воображение кипит и еще совершенно открыто для впечатлений жизни, может произвести коренной переворот как к добру, так и ко злу. Прибавьте упругость, свойственную всем молодым характерам, в особенности когда они одарены известной естественной энергией, которая заставляет их реагировать против слишком повелительных и настойчиво-деспотичных влияний, и благодаря которой иногда даже избыток зла может породить добро.

Может ли в свою очередь породить зло избыток добра или то, что обыкновенно называется этим именем? Да, когда добро вменяется, как деспотический, абсолютный закон, — религиозный, доктринерно-философский, политический, юридический, социальный или семейно-патриархальный, — одним словом, когда, как бы оно ни казалось добром, или на самом деле было добром, оно налагается на индивида как отрицание свободы, а не является ее продуктом. Но в таком случае, бунт против добра, навязываемого таким способом, является не только естественным, но и законным; восстание это, не только не зло, а, напротив, добро; ибо не существует добра вне свободы, а свобода является источником и абсолютным условием всякого добра, которое истинно достойно этого слова: *ведь добро—это ничто иное как свобода.*

Развить и доказать эту истину, которая нам лично представляется совершенно простой и ясной,—единственная цель этой статьи. Возвратимся теперь к нашему вопросу.

Пример того же самого видимого противоречия или аномалии мы часто имеем в более широком масштабе в истории народов. Например, как объяснить, что в еврейском народе, бывшем когда-то самым узким и односторонним народом на свете, до того односторонним и узким, что признавая, так сказать, абсолютную привилегированность, божественное избрание, главным основанием своего существования, — этот народ считал, что он один угоден богу, что его бог, Иегова — бог отец христиан — доведя свою заботливость о еврейском народе до самой дикой жестокости ко всем другим народам, приказал ему уничтожить огнем и мечем все племена, занимавшие раньше Обетованную Землю, для того, чтобы очистить место для своего народа-Мессии; — как объяснить, что в среде этого народа мог родиться Иисус Христос, основатель всечеловеческой мировой религии, и тем самым разрушитель самого существования еврейской нации, как политического и социального тела? Каким образом этот исключительно национальный мир мог породить такого реформатора, религиозного революционера, как апостол¹⁾

¹⁾ Продолжение этой статьи утеряно, если только оно когда нибудь было написано.

Содержание.

	Стр.
Предисловие Дж. Гильома	3
Бернские Медведи и Петербургский Медведь	9
Речи и статьи по славянскому вопросу:	
I. Речь произнесенная 29 ноября 1847 г. в Париже на банкете в годовщину польского восстания 1830 г.	39
II. Воззвание к славянам.	47
III. Основы новой славянской политики.	64
IV. Основы славянской федерации.	66
V. Внутреннее устройство славянских народов.	68
VI. Программа славянской секции интернационала в Цюрихе (1872)	70
Народное дело:	
Романов, Пугачев или Пестель	75
В России.	92
Наша программа.	96
Речи на конгрессах Лиги Мира и Свободы:	
I. Речь 1867 г.	100
II. Речь 1868 г.	103
Федерализм, Социализм и Антитеологизм.	126

Его-же.—Коммунизм и Анархия	Ц.	8 р.	— к.
Его-же.—К молодому поколению	Ц.	4	„ — „
Его-же.—Политические права	Ц.	1	„ — „
Его-же.—Новый Интернационал	Ц.	1	„ — „
Н. К. Лебедев.—Элизе Реклю, как человек ученый и мыслитель	Ц.	—	„ — „
Э. Малатеста.—Избранные сочинения	Ц.	48	„ — „
Его-же.—Анархизм	Ц.	13	„ — „
Его-же.—Краткая Система Анархизма	Ц.	20	„ — „
Его-же.—Крестьянские речи	Ц.	12	„ — „
М. Неттлау.—Жизнь и деятельность Михаила Бакунина	Ц.	40	„ — „
Его-же.—Взаимная ответственность и солидарность в борьбе рабочего класса	Ц.	6	„ — „
Ф. Пеллутье.—История Бирж Труда	Ц.	63	„ — „
В. Траутман, Дж. Эттор и В. Сэнт-Джон.—Производственный Синдикализм (Сборник статей об индустриализме, с предисловием А. Шапиро)	Ц.	30	„ — „
М. Р—ский.—Франциско Феррер и его Новая Школа	Ц.	54	„ — „
С. Фор.—Преступления Бога (второе изд.)	Ц.	10	„ — „
В. Черкезов.—Предтечи Интернационала; Доктрины Марксизма; Распад среди социалистов государственников; Наконец-то сознались (ответ Каутскому)	Ц.	65	„ — „

Печатаются и в скором будущем выйдут в свет;

М. Бакунин.—Избранные сочинения.

СОДЕРЖАНИЕ:

4-го тома: Организация Интернационала; Политика Интернационала; Письма о Патриотизме; Письма к французам; Парижская Коммуна и понятие о Государственности и др.

5-го тома: Интернационал и Мадзини; „Альянс“ и Интернационал.

П. Кропоткин.—Речи бунтовщика (новый пересвод, с предисловием и послесловием автора к новому изданию).

Его-же.—Современная Наука и Анархия (перевод под редакцией автора с предисловием к русскому изданию).

Э. Пато и Э. Пуже.—Как мы совершим революцию.

Элизе Реклю.—Избранные сочинения (с биографическим очерком Н. К. Лебедева и предисловием П. А. Кропоткина).

Книгоиздательство
СОЮЗА АНАРХО - СИНДИКАЛИСТОВ

„ГОЛОС



ТРУДА“.

Петербург. Пр. Володарского, 56. Москва. Тверская, 70.

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ:

Серия биографических очерков;

Виктор Дав и Жорж Ивто о Фер. Пеллутье. П. А. Кропоткин, Фриц Брунбахер и др. о Дж. Гильоме.

К Н И Г И;

- А. Беркман.—Воспоминания Анархиста.
Дж. Гильом.—Интернационал (Воспоминания и Материалы).
Э. Гольдман.—Анархизм.
Ж. Грав.—Реформы и Революция.
Его-же.—Свободная Земля (роман).
Ж. Дежак.—Гуманисфер (утопия).
Х. Корнелиссен.—Вперед к новому обществу.
П. Кропоткин.—Поля, Фабрики и Мастерская.
Его-же.—Взаимная Помощь.
Ф. Домела Ньювенгаус.—Социализм в опасности.
П.-Ж. Прудон.—Философия нищеты.
Его-же.—О правосудии.
Эли Реклю.—Парижская Коммуна изо дня в день (двевник событий 1871 года).

Б Р О Ш Ю Р Ы;

- П. Кропоткин.—Парижская Коммуна.
Его-же.—Экспроприация.
Его-же.—Государство, его роль в истории.
Его-же.—Правосудие и нравственность.
Элизе Реклю.—Богатство и Нищета.

Цена 150 руб.